

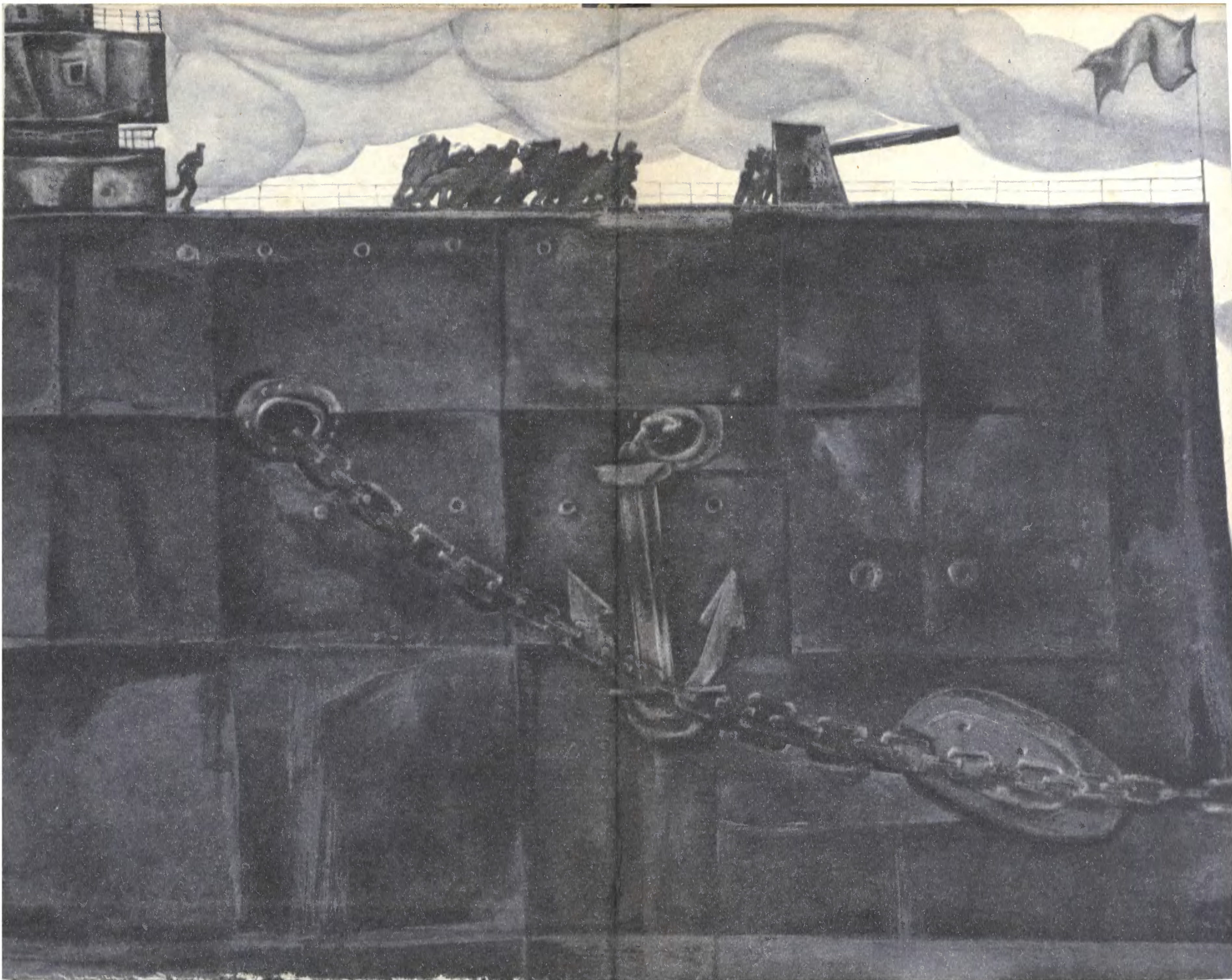


ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ
ГЕРОИЧЕСКИЕ
ПОВЕСТВОВАНИЯ

„АВРОРА“

Г. Халилецкий

УХОДИТ В БОЙ



ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ
ГЕРОИЧЕСКИЕ
ПОВЕСТВОВАНИЯ



Г. Халилецкий

**„АВРОРА“
УХОДИТ
В БОЙ**

повесть

Дальневосточное книжное издательство
Владивосток
1971

Р 2
Х 17

Переиздание
Печатается по изданию Военного
издательства Министерства обороны
Союза ССР, Москва, 1957 г.

Художники Ф. Зинатулин
и С. Черкасов

7-6-3
34-72

Самодержавие именно по-авантюристски бросило народ в нелепую и позорную войну. Оно стоит теперь перед заслуженным концом. Война вскрыла все его язвы, обнаружила всю его гнилость, показала полную разъединенность его с народом... Война оказалась грозным судом. Народ уже произнес свой приговор над этим правительством разбойников. Революция приведет этот приговор в исполнение.

В. И. ЛЕНИН

В С Т У П Л И Н И Е

— По местам стоять, с якоря сниматься!..

Есть что-то очень волнующее, торжественное в этой привычной морякам предпоходной команде, и редкое матросское сердце не дрогнет, заслышав ее.

Но в раннее августовское утро тысяча девятьсот сорок пятого года команда эта, прозвучавшая над озаренной солнцем широкой бухтой Золотой Рог, была исполнена еще и особого смысла. В то утро боевые корабли Тихоокеанского военно-морского флота выходили в историческое плавание, которое завершало войну Советского Союза против империалистической Японии. Остались позади дни ожесточенных боев в портах Северной Кореи, дни стремительного броска морских пехотинцев на острова Курильской гряды и на Южный Сахалин — корабли держали теперь курс в овейный легендарной славой далекий Порт-Артур.

Путь кораблей был опасен и труден. Он лежал через три моря — Японское, Восточно-Китайское и Желтое. Впереди кильватерной колонны фрегатов шли, переваливаясь с волны на волну, неповоротливые, медлительные работяги — тральщики. Они отыскивали мины, густо расставленные японцами на морских дорогах. Артиллеристы с фрегатов расстреливали эти мины, и после каждого залпа до самого неба взметался столб воды и грохот сотрясал море до горизонта...

Это замедляло движение эскадры, но все-таки она неуклонно продвигалась вперед, миля за милей, и не нашлось бы силы, способной повернуть ее вспять.

На третий день пути, к вечеру, на горизонте начали сгущаться громоздкие мрачные тучи; вскоре они заняли полнеба, и с флагманского корабля был передан приказ: крепить все по-штормовому.

Всю ночь свирепствовал шторм. Косматые гривастые волны взлетали почти до мостиков, обрушивались на невидимую во тьме скользкую палубную гладь. Казалось, невозможно было и полчаса устоять под этим каскадом тяжелой соленой воды, и только впередсмотрящие в черных клеенчатых накидках, промокшие, усталые, но гордые сознанием своего высокого долга, продолжали вглядываться и вслушиваться в густо-лиловую, кипящую, разноголосо ревущую темень.

Это были крепкие, спокойные парни, и у каждого из них маленьким флажком теплел на груди, под клеенкой плаща, комсомольский значок. Внуки и правнуки извечных русских мореходов, они понимали, в какой особенный поход отправила их Родина.

Лишь к рассвету шторм начал утихать. Утром море лежало уже

спокойное, почти неподвижное, все в розовых, пурпурных, оранжевых отсветах зари, и только вдалеке, у края неба, еще раскачивались, на-ползали друг на друга беспокойные гребни волн.

И вот тогда-то на горизонте возник остров Цусима. Своими причудливыми очертаниями он был похож на древнюю, давно уже разрушенную, мрачную, угрюмую крепость. К самой воде подступали отвесные черные скалы, тут и там проглядывали щели брошенных японцами, некогда грозных дотов; даже волны у острова, набегая на камни, рокотали как-то по-особенному: басовито и неприветливо.

Корабли подходили к месту, где сорок лет назад разыгралась цусимская трагедия. Здесь 14(28) мая 1905 года русские военные корабли, совершив беспрецедентный переход из Балтийского моря в Тихий океан, встретились с превосходящими силами противника. В составе русской эскадры было двенадцать броненосцев, девять крейсеров, столько же миноносцев и восемь транспортов. На стороне японцев имелось сто сорок боевых кораблей: пять броненосцев, двадцать четыре крейсера, девять канонерских лодок, свыше ста миноносцев.

И все же русские моряки приняли бой — бой, итог которого был предрешен заранее. Чудеса отваги и самоотверженности проявили они в этом бою. Оценивая последствия русско-японской войны, в которой Цусима была решающим моментом, В. И. Ленин писал:

«Не русский народ, а русское самодержавие начало эту колониальную войну, превратившуюся в войну старого и нового буржуазного мира. Не русский народ, а самодержавие пришло к позорному поражению»*.

...На всех кораблях был сыгран «большой сбор», эскадра спустила флаги, и один за другим прокатились над Цусимским проливом гулкие, будто тугие залпы артиллерийского салюта. Советские военные моряки воздавали сыновнюю честь сынам России — тем, кто погиб здесь когда-то...

— А знаете ли вы, — произнес пожилой капитан второго ранга, историограф флота, когда остров Цусима остался позади и мы возвратились в кают-компанию, — знаете ли вы, что ведь и «Аврора» участвовала при Цусиме? Да-да, та самая «Аврора», всемирно известный крейсер. И еще как участвовала! Это — одна из славных страниц ее истории.

Это было продолжением нашего, начавшегося часа за два до того, разговора о преемственности традиций в советском военном флоте — разговора, навеянного близостью исторических мест.

Признаться, для многих из нас фраза историографа оказалась откровением, и вот тогда-то, вдалеке от родных берегов, мы впервые узнали некоторые подробности истории участия ныне Краснознаменного крейсера «Аврора» в походе Второй Тихоокеанской эскадры и в Цусимском сражении.

Несколько лет спустя, в Ленинграде, на борту «Авроры» автор этих строк вспомнил о рассказе историографа-тихоокеанца, когда знакомился с экспонатами корабельного музея. На стене, в рамке под стеклом, выделялся большой снимок: «Аврора» на Манильском рейде, вскоре после Цусимского сражения, когда, выдержав схватку с девятью вражескими кораблями, она наконец-то вырвалась из кольца огня...

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., том. 9, стр. 158.

Собрать и хотя бы первоначально систематизировать документы, связанные с этим периодом в истории «Авроры», оказалось делом не совсем легким. Большинства моряков, служивших когда-то на крейсере и участвовавших в русско-японской войне, уже давно нет в живых: ведь прошло полвека! Музей корабля до самого последнего времени документами тех лет почти не располагал. В архивах и музеях страны сохранилось очень немного.

Но и это немного представляло несомненный интерес.

Революционная история «Авроры», и в частности ее участие в Октябрьском вооруженном восстании 1917 года, с известной полнотой отображены и в художественной литературе, и в кинематографии, и в живописи. А вот цусимская страница летописи крейсера, как ни странно, до сих пор оставалась почти непрочитанной.

Есть упоминание об «Авроре» в издававшейся до революции документальной трилогии участника Цусимского сражения В. Семенова «Расплата», во всемирно известной «Цусиме» А. С. Новикова-Прибоя. Имя «Авроры» можно встретить в мемуарной книге бывшего матроса крейсера «Олег» А. Магдалинского «На морском распутье», еще в двух-трех исследованиях советских военных историков, — но все это между другим, не специально, несколькими страницами, а иногда и строчками.

Дневник командира крейсера капитана первого ранга Е. Р. Егорьева, опубликованный его сыном В. Е. Егорьевым вскоре после русско-японской войны, стал в наши дни библиографической редкостью.

А между тем, как показывает знакомство с документами (в их числе приобретенный в 1955 году Государственной публичной библиотекой имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде «Исторический журнал крейсера I ранга «Аврора» за 1904—1906 гг.», почти пятьдесят лет остававшийся в неизвестности), и эта страница в истории корабля изобилует примерами мужества, бесстрашия и отваги русских моряков.

Она вместе с тем интересна еще и потому, что дает все основания утверждать, что именно в те дни начали складываться революционные традиции «Авроры».

В самом деле, разгром русского флота при Цусиме, тяжело отразившийся в сердцах не только участников этой битвы, но и миллионов тружеников России, обнаженно выявившаяся в ходе русско-японской войны экономическая, политическая и военная отсталость самодержавной России, наконец, отголоски событий первой русской революции, доходившие до слуха матросов, — все это не могло не сказываться на сознании той части моряков, которая уцелела в бою 14—15 мая 1905 года.

К этому следует добавить, что сама обстановка жизни и службы на русских военных кораблях (а «Аврора» не была исключением в этом смысле), все, что претерпевали «нижние чины», — мордобои и издевательства со стороны некоторых офицеров, глумление унтер-офицеров, бессмысленные строгости службы — все это также революционизирующе сказывалось на матросской массе, понуждая ее к активному протесту.

Однако надо сразу оговориться, что во время перехода Второй Тихоокеанской эскадры и к моменту Цусимского сражения на «Авроре» вряд ли существовала уже сложившаяся революционная организация. Во всяком случае, ни документами музея самого корабля, ни документальными материалами Центрального Государ-

ственного исторического архива СССР, Центрального военно-морского музея и Военно-морского архива СССР, ни, наконец, воспоминаниями старых моряков «Авроры» это не подтверждается.

Это, на взгляд автора, важное обстоятельство, так как оно-то и определило стихийный, неорганизованный характер многих событий на крейсере и во время перехода эскадры и позже, после Цусимской битвы.

В основе повести «Аврора уходит в бой» — почти целиком подлинные исторические факты, почерпнутые из документов, а также из личных воспоминаний тех старых моряков крейсера «Аврора», с которыми автору удалось установить связь. Разумеется, автор оставлял за собой право домысливать при этом некоторые детали и обстоятельства. Лишь несколько фамилий в повести изменено.

За большую помощь, оказанную в его работе, автор приносит сердечную и искреннюю благодарность коллективам работников Центрального Государственного архива Военно-Морского Флота СССР и Ленинградской Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, а также контр-адмиралу в отставке доктору военно-морских наук профессору В. Е. Егорьеву, капитану первого ранга в отставке М. М. Карпинскому и старым морякам крейсера «Аврора» Т. И. Липатову, А. С. Неволину, Г. Г. Шатило и А. П. Подлесному.

А в т о р.

Г Л А В А 1

1.

Осенняя мгла висела над Петербургом.

Туман по утрам так плотно прижимался к земле и стоял так недвижно, что даже фонари, не гасившиеся почти до полудня, были в нем едва различимы. Сырость проникала повсюду. Она блестела ртутными капельками на гранитных плитах фасадов, тяжело срывалась с неопавшей листвы деревьев, ложилась на ресницы, на брови прохожих. От нее не спасали ни одежда, ни толща стен; она разъедала легкие и вызывала приступы удушья, она была везде и во всем.

В одно такое сырое, туманное утро пожилой военный моряк вышел из подъезда Главного морского штаба и, дойдя до Невского проспекта, в нерешительности остановился. Собственно говоря, ему надо было бы еще заглянуть домой, прежде чем отправляться на свой корабль, но дома — он это знал — никого, кроме прислуги, нет, писем от сына тоже, верно, нет, а за книгами он и потом сможет прислать матроса. Главное, так не хотелось оставаться одному, наедине со своими тревогами и сомнениями...

Постояв минуту в раздумье, моряк решительно зашагал в сторону гавани, на ходу поплотнее застегивая отвороты шинели. Какой-то лихач с высоких козел окликнул его: «Прокачу, ваше высокбродие?» — но он, кажется, даже не расслышал этого.

Капитан первого ранга Евгений Романович Егорьев считал себя «вечным балтийцем», хотя морская биография его начала складываться вдалеке от Балтики, на Тихом океане. Служба его начиналась в водах Дальнего Востока, на шхуне «Ермак»; плавал он там и на клипере «Абрек», хаживал в Китай. Там-то, на Дальнем Востоке, он и женился на сероглазой девушке-иркутянке, необычно женился: увидел, полюбил с

первого взгляда, а через неделю уже сделал предложение. Она усмехнулась — что-то уж слишком быстро, вроде бы не полагалось так, но согласилась.

Многое, очень многое у него связано с тем далеким краем, но все-таки это была молодость, а настоящие-то годы, зрелые, с раздумьями и сомнениями, с поисками и радостью открытий, были отданы Балтике. И по внутренней, душевной потребности, а совсем не по привычке, как самому ему это иногда кажется, называет он себя балтийцем, и мысленно у него давно решено: теперь уж до глубокой старости напрочно обосноваться под этим холодным, неприветливым балтийским небом.

Ведь и так рассудить: человек он уже немолодой, грузноватый — вон и лысинка заметно пробилась, — ему ли мечтать о скитаниях, о манящей восточной экзотике! Давным-давно переболел он морскими романтическими увлечениями молодости, когда и в снах-то виделись тропические знойные страны; и в память о тех годах остались только щепетильность во всем, что касается формы офицера, да выработанная не одним десятилетием способность никогда не выходить из терпения, при любых обстоятельствах оставаясь спокойным и сдержанным, как это и предписывается истинному моряку.

Сдержанным!.. А вот сейчас — поди же ты — разволновался, изменил этому многолетнему правилу. И все из-за разговора, состоявшегося там, под адмиралтейским шпилем, каких-нибудь час-полтора назад.

Когда ему сказали там о новом назначении, он разгладил свои пушистые, холеные усы, провел ладонью по гладко выбритому подбородку, что делал всегда в минуту взволнованности, и уже совсем было собрался заявить, что, конечно, дорожит оказанным доверием, но просил бы принять во внимание, — а что принять, он и сам толком не знал, — как вдруг на пороге появился знакомый капитан первого ранга.

Соученик и соплаватель Егорьева в молодые годы, он теперь волею судеб был вознесен до штабных недосыгаемых высот.

— А-а, мон шер, — не то покровительственно, не то дружески фамильярно воскликнул он. — Рад видеть, рад!..

В кабинете, усадив Егорьева в мягкое кожаное крес-

ло и пододвинув ящичек с сигарами, он зорко посмотрел на бывшего своего однокашника:

— Нуте-с, нуте-с, поглядим, как тебя коснулась печать неумолимого времени... Та-ак, морщинки, мешки под глазами. Да вот и лысинка, вижу. Стареем, а?

Егорьев чуть приметно поморщился: его всегда немного раздражала нарочитая развязность людей, полагающих, будто служебное превосходство дает им право на подобный снисходительный тон. И хотя гримаса была мимолетной, совсем, как легкое облачко, проскользнувшее в ультрамариновом весеннем небе, — оно, это облачко, отразилось в глазах собеседника. Тот вдруг отодвинулся от Егорьева, словно от всего прошлого отгораживая себя необъятной шириною полированного письменного стола, и перешел на суховатый, деловой тон:

— Значит, принимаешь «Аврору»?

Он сказал это так, будто вопрос давно решен и вспомнано о нем только случайно, между прочим, — мало ли о чем люди могут говорить при встрече.

Егорьев поднялся.

— Как раз об этом я и хотел бы поговорить. — Он старательно избегал местоимений: ни «ты», ни «вы», и собеседник это тоже немедленно отметил. — Уход с «Океана» крайне нежелателен для меня...

Штабной начальник изумленно поглядел на Егорьева: это еще что за чудачество?

— Учебное судно дороже первоклассного боевого корабля? — Он усмехнулся: — А помнишь: «В морях твои дороги...»

Это были строки пушкинских стихов, которые в юности Егорьеву особенно нравились.

— Не понимаю. И... не одобряю, — жестко закончил начальник.

Евгений Романович почувствовал, как мучительно краснеет. Ну как объяснить, что дело ведь не в том только, что он свыкся с «Океаном» и что даже не представляет себе, как это можно сойти с мостика, тысячекратно измеренного вдоль и поперек, как это вообще можно расстаться с кораблем, которому отдано столько в жизни? Тут все сразу: и годы сказываются, и привычки, и еще что-то такое, подсознательное, чему он сам и имени, пожалуй, не сумел бы найти. Нет, об этом не

скажешь словами, все они будут звучать неубедительно...

Собеседник между тем помедлил, бесстрастно пожевал губами:

— В твоём положении, мон шер, прямо скажу, надобно считать за честь подобное назначение.

Он сделал нажим на словах «за честь».

Егорьев вспыхнул, но усилием воли сдержал себя. Намек на то, что в его карьере уже давно произошла какая-то заминка, был слишком недвусмысленным.

С поразительной отчетливостью Евгению Романовичу вдруг вспомнилось его детство: и то, как мать, унижаясь, хлопотала, чтобы его приняли в морской кадетский корпус, и все нажимала на «морскую родословную», и то, как потом, в корпусе, а позже среди гардемарин и молодых морских офицеров, сплошь знатных фамилий, считался он, разночинец, чем-то вроде белой вороны, и все сторонились его, хотя втайне и завидовали успехам, которые одерживал он в учебе.

Это было как раз то, о чем он, Егорьев, старался всегда не думать, не вспоминать: прошло — и ладно. Но теперь оно вновь предстало перед ним.

— Да и... в толк я что-то не возьму, — продолжал собеседник. — Где причины отказа? Сжился с кораблем? Привык, тысячи миль избороздил на нем? Э, Женчик, оставим эти красивые фразы для тех, кто помо-
ложе.

Как и пушкинская строка, Женчик — тоже было напоминанием о кадетском корпусе. Так Егорьева называли там самые близкие друзья-товарищи, и сейчас понимать это следовало вот как: «Хоть ты и невежлив, но я тебе, по старой памяти, видишь, прощаю. Чего не бывает между друзьями-однокашниками...»

Но Евгений Романович продолжал упорствовать, и это начинало выводить его собеседника из терпения: черт знает что, другой скакал бы от радости, руки бы целовал, а этот еще и упрямится!

Понизив голос, он доверительно добавил:

— Тебе о самом главном-то сказали или нет? Главное — вот что: по совершенно достоверным сведениям, со дня на день ожидается приказ об отправке эскадры в Тихий океан. Адмирал Рожественский уже вовсю занимается подготовкой к этому походу. Его флага-

ном назначают. И уж не буду таить: нам для этого похода смелые, волевые командиры вот как нужны!

Он провел ребром ладони возле края белоснежного воротничка: штабной начальник любил при случае щегольнуть демократическим жестом.

— А ты после такой блестящей проводки кораблей через кронштадтскую горловину — ты же знаменитость на флоте!..

Штабной начальник имел в виду довольно известную на Балтике историю. Несколько лет назад, когда Егорьев был помощником главного начальника Кронштадта, там тогда потребовалось провести группу боевых кораблей через очень узкий проход, и никто из офицеров не решался взяться за это дело, а он, Егорьев, взялся — и благополучно провел все до одного корабля.

— Да и твое знание Тихоокеанского театра тоже принимается в расчет...

Егорьев внутренне усмехнулся: вот оно, оказывается, в чем дело! В мирное время о плеее можно годами не вспоминать, а как трудное дело — так уж сразу и смелый, и волевой, и опытный...

И тут же на смену торопливо пришли другие мысли, самые сокровенные: а ведь там, на Дальнем Востоке, на крейсерах, сын — офицер, Всеволод, Сева, единственный близкий ему человек...

— Так как же? — нетерпеливо переспросил штабной начальник.

Евгений Романович сдержанно откланялся, сказав, что просит два-три дня на размышление.

— Как угодно, мон шер, как угодно, — штабной начальник отпустил Егорьева кивком головы, даже не протянув на прощание руку: всем своим видом он показывал, что дел у него — гора Эверест...

И вот Евгений Романович идет в промозглом тумане. Он засовывает руки поглубже в карманы отяжелевшей от сырости шинели и все думает, думает.

Сева... Он очень похож на покойницу мать: такой же воспламеняющийся, стремительный в движениях, нетерпеливый. Мальчиком он, бывало, пугал отца неожиданными переходами в настроении: то часами сидит задумавшись о чем-то своем, ему одному ведомом, то вдруг начнет тормозить отца — расскажи да расскажи, какой это Сан-Франциско, в котором Евгений Романович по-

бывал в семидесятих годах. Как люди живут в Шанхае — он, отец, ведь и в Китае бывал.

И Евгений Романович терпеливо рассказывал ему и о Шанхае, и о далеком Фриско, и о клипере «Абрек», на котором он ходил в дальневосточных водах, и о том, как бедовал он со своими матросами на острове Сетунай, когда в семьдесят седьмом году, осенью, шхуна «Алеут» разбилась о рифы, и о всякой морской всячине.

А Сева сидел и, казалось, даже не слышал, что говорит ему отец, — так далеко был он мыслями в эти минуты...

Да, ради сына можно пойти на все, даже согласиться с нежелаемым назначением.

...А дождь все моросит, вперемешку с туманом он создал настолько густую, непроницаемую, плотную завесу, что в двух шагах совсем невозможно что-нибудь разглядеть. Далеко поставленные друг от друга уличные фонари кажутся расплывшимися желтыми пятнами на этом сплошном сером фоне. Холодный ветер забирается за воротник. Капельки тумана повисают на бровях, на кончиках усов...

Егорьев ничего этого не замечает. Он идет медленно, припоминая и взвешивая каждое слово давешней беседы.

И только теперь он начинает понимать, что за все это время ни разу по-настоящему не задумывался о войне. Да что там не задумывался — просто как-то не принимал ее всерьез, по-настоящему.

Война...

В распрях и волнениях, в тревожном предощущении больших и грозных событий вступили люди четыре года назад в новый, двадцатый век.

Крупные газеты всех европейских стран в один голос твердили о том, что обстановка в Европе и на Дальнем Востоке непрестанно осложняется. Приводились высказывания видных политических деятелей и биржевых дельцов, модных поэтов и хиромантов, отставных генералов и известных балетных звезд — в один голос они твердили о неотвратимости «роковых событий» в самое ближайшее время.

Евгений Романович отшвыривал в этих случаях газету в сторону. Да, он, офицер, для войны существует.

Но война тогда понятна, когда понятны ее цели. А тут?..

Уже появились романсы о трагической обреченности земли, уже с амвонов в церквях гремели устрашающие слова о каре господней погрязшему во грехах человечеству, уже солдатские сапоги топтали пшеницу во внеочередных военных маневрах, и только он, Егорьев, продолжал стараться не думать обо всем этом. И даже в письмах к сыну избегал всякого упоминания этой темы.

Романсы романсами — это, конечно, вздор, — а вот заявление североамериканского президента Теодора Рузвельта о том, что в случае вмешательства Франции и Германии в возможный русско-японский конфликт на стороне России, им придется столкнуться со всей мощью Америки — это было, пожалуй, посерьезнее.

Как раз в эти-то дни и промелькнуло в газетах не приметно для всех коротенькое, петитом набранное сообщение о том, что русский военный флот в Балтийском море пополнился еще одной боевой единицей: трехвинтовым крейсером первого ранга «Аврора», выстроенным на верфи Нового Адмиралтейства, в Петербурге.

Лишь немногие из обративших внимание на это сообщение вспомнили, что точно так назывался когда-то парусный фрегат, прославившийся при обороне Камчатки от англо-французов.

...А корабль между тем уже начинал жить своей самостоятельной жизнью: за три года на нем был закончен монтаж всех механизмов, в середине июля 1903 года над палубой взвился переkreщенный синими полосами андреевский флаг, взбурлила за кормой свинцово-серая невская волна — «Аврора» выходила в пробное плавание. Выходила, ожидая своего командира.

...Н-да. Значит, на войну? Кто из морских офицеров, — конечно, из тех, что шли во флот по собственному призванию, а не в силу подчинения родительской воле, — кто из них не понимал, что живет для войны и ради войны? И все-таки в самую решительную минуту одного этого понимания было, видимо, недостаточно, потому что тут же сам собою приходил вопрос: а действительно ли нужно это — биться, мучиться, умирать?..

Егорьев усмехнулся: знал бы кто-нибудь сейчас, о

чем размышляет господин капитан первого ранга, только час назад аттестованный как смелый и волевой!

Ну, что ж, Сева, значит, скоро встретимся...

Из густой туманной пелены возникли очертания «Океана».

Вахтенный матрос у трапа окликнул, Егорьев вполголоса назвал себя, матрос почтительно вытянулся, пропуская командира корабля. С докладом бросился было навстречу командиру вахтенный офицер, но Евгений Романович движением руки остановил его и, чуть сутулясь, молча прошел в свою каюту.

Через два дня капитан первого ранга Егорьев сообщил рапортом, что он готов принять командование крейсером «Аврора».

2.

Из «Исторического журнала крейсера 1 ранга «Аврора»:

1904 год.

4(17) октября, понедельник.

С рассветом подошли к проливу Большой Бельт, к этому же времени подошли и прочие эшелоны эскадры и в 8 часов утра стали на якорь по диспозиции...

Переход в ночное время совершался с осторожностью; после захода солнца команда разводилась по орудиям — на случай маловероятной, но все же возможной атаки неприятельских миноносцев...

По постановке на якорь приготовились к погрузке угля; утром команда разведена по судовым работам.

Тотчас после погрузки угля приступили к мытью крейсера. В 9 часов вечера светили прожекторами. В 10 часов пробили тревогу, команду развели по орудиям.

Погода вначале пасмурная, вся вторая половина суток дождливая».

Проливными дождями, нерассеивающимися туманами, не по времени ранними холодами проводила Россия Вторую Тихоокеанскую эскадру из Ревеля в далекий поход, к японским берегам.

Война на Дальнем Востоке шла уже десятый месяц, и как ни старались петербургские газеты изобразить ее

в виде некоего триумфального шествия русского воинства по выжженным и опустошенным маньчжурским полям, правда проникала даже сюда, в город на Неве, и эта правда была далеко не утешительной.

Лейтенанту Алексею Дорошу до мельчайших подробностей запомнился день выхода эскадры.

В тот день, рано поутру, капитан первого ранга Егорьев пригласил к себе всех офицеров крейсера и, глядя куда-то поверх их голов, в дальний угол салона, сказал глухо и, как показалось Дорошу, утомленно-равнодушно:

— Итак, совершилось то, что должно было совершиться. Нас посылают на помощь осажденным русским войскам в Порт-Артуре... Полагаю, нет нужды объяснять значение и важность этого похода, который будет долгим и нелегким. — И повторил задумчиво: — Да, нелегким...

Андрюша Терентин, молоденький мичман, сын отставного, известного когда-то на флоте адмирала, пристроясь возле Дороша, тихо шепнул:

— Ну и сухаря-командира господь-бог нам сосватал! Это уж не иначе, как в знак особого расположения...

Дорош осуждающе взглянул на мичмана: нашел время остеречь!

Егорьев между тем помедлил, будто подыскивая нужные слова, и, не находя их, вдруг закончил неожиданно кратко:

— Хочу верить, что поход наш принесет нам победу и России — славу.

И поморщился: ему, очевидно, самому стало немного неловко, что эта заключительная фраза прозвучала все-таки слишком торжественно.

Минный офицер лейтенант Старк 3-й, прыщеватый и долговязый, вскочил и воодушевленно воскликнул «Ур-ра!», но его никто не поддержал, а Егорьев поглядел на него таким отчужденным, недоумевающим взглядом, что лейтенант как-то сразу съежился, будто стал меньше ростом, и, смущенный, поспешно опустил в кресло.

— Я вас больше не задерживаю, господа, — Егорьев первым поднялся и вышел из салона.

— Что, лейтенантус, съел? — насмешливо бросил

Старку мичман Терентин. — С нашим командиром, брат ты мой, шутки плохи.

Старк независимо пожал плечами.

В день выхода эскадры, первого октября, погода не изменилась к лучшему. Еще до рассвета зарядил мелкий, надоедливый, унылый дождь, то и дело налетал холодный ветер, он врывался в густую сетку дождя, рассеивал по палубе мириады мелких брызг. Лица матросов были хмуры и сумрачны. Офицеры изредка перебрасывались привычными шутками, но острить никому не хотелось, и даже мичман Терентин был молчалив и как-то подавлен. Лишь иногда он поглядывал на серое, низкое небо и вздрагивал, словно от озноба.

Как ни держали в секрете предстоящий выход эскадры, добрая половина жителей Либавы уже знала о нем, и теперь недостатка в зеваках на широкой прибрежной песчаной косе не было с утра до позднего вечера.

На кораблях между тем завершались последние приготовления к походу. Матросы вкатывали по наклонно уложенным доскам бочки с солониной, уже теперь издававшей неприятный запах, грузили мешки с сухарями и ящики с галетами. Вполголоса переругивались у своих погребов комендоры, укладывая боезапас. Из подшхиперской доносился надтреснутый голос главного боцмана, зачем-то пересчитывавшего вслух банки с олифой и суриком. В офицерскую кают-компанию пронесли ящики с посудой, она тихо и жалобно позвякивала.

Все было буднично, обычно и как-то тускло; ни в чем не чувствовалось той возбужденной приподнятости, какая всегда воцаряется на кораблях перед выходом в дальнее плавание, когда скрипят лебедки, грохочут опускаемые в трюмы бочки и цистерны, весело перекликаются матросы, переливчато раскатываются неугомонные боцманские дудки.

Ничего этого не было. Работы шли вяло и медленно, при всеобщем молчании.

«Словно хоронить кого собираемся, а не в поход готовимся», — невесело усмехнулся Дорош.

А дождь все шел, шел и шел — мелкий, нескончаемый, нудный.

Дорош поднял воротник шинели, медленно прошелся по палубе, стараясь думать только о том, что вот сейчас

корабли выйдут за плавучий маяк, построятся в походный порядок и наконец-то покинут этот надоевший, неспокойный рейд. И может быть тогда — хотелось верить этому — проглянет солнце и исчезнет все: и этот мелкий дождь, и эти космы тумана, прижимающегося к воде, и главное — это не проходящее ни на минуту смутное чувство неопределенности, беспричинной тревоги.

Ах, как все это, сегодняшнее, было мало похоже на юношеские мечты о выходе в дальние плаванья! Там, в мечтах, тоже были корабли — много кораблей, целая армада, но это были не стальные черные коробки, до отказа набитые людьми, а легкие, с поющими стройными мачтами, стремительные красавцы-парусники. Там, в мечтах, тоже был ветер, но он не рвал, как сейчас, сетку унылого дождя, он был упруг, порывист и звонок, и он раздувал косые белые паруса. Там тоже были впереди неведомые пути к неведомым землям, но это не были пути войны...

Нет, право же, слишком трудно бывает — даже если тебе за двадцать пять — перешагнуть рубеж юношеского романтического мира.

...Выход кораблей задерживался. На эскадренном броненосце «Сисой Великий» в самую последнюю минуту обнаружили какие-то неисправности в машине, и пока их устраняли, на море опустились сумерки. С флагманского броненосца «Суворов» поступило приказание быть полностью наготове к выходу в море.

Ночь прошла в беспокойном напряжении.

Лишь на следующее утро «Сисой» вошёл в строй и занял в нем свое место, и эскадра — четырьмя эшелонами — тронулась в путь.

В первые же сутки были и еще непредвиденные задержки. Всего только несколько часов прошло, а миноносец «Быстрый» уже оконфузился: неосторожно подошел к броненосцу «Ослябя» и помял себе носовой минный аппарат и форштевень. Рождественский, командующий эскадрой, как раз в этот день произведенный в вице-адмиралы, забыл о своем торжестве и ругался, как последний портовый грузчик, приводя в смятение окружающих его штабных офицеров.

— И с этими старыми калошами я должен идти вокруг света?! — неистовствовал он. — На посмешище всему миру?..

Штабные офицеры переглядывались и что-то почти-тельно бормотали, а что — поди, разбери.

И вот — третья неделя плавания.

Дорош пытается мысленным взором окинуть пройденное за это время расстояние и удивляется: как мало, оказывается, пока что мы одолели, до Владивостока еще идти, идти — надоест.

Он достает карманные часы: до вахты полтора часа, как бы убить свободное время?

Сзади кто-то трогает его за плечо, Дорош оборачивается — отец Филарет.

— Аркадия Константиновича, дорогуша, не видели?

Дорош молча качает головой: откуда ж ему знать, где может находиться старший офицер?

Не любит Дорош корабельного священника отца Филарета. Прежний — иеромонах Афанасий — тоже был не из тех, кто способен понравиться, но этот, новый, и вовсе неприятен.

Маленький, рыжий, въедливый, отец Филарет в спорах непременно входит в раж, ожесточенно трясет бородажкой и оснащает свою речь такими просоленными матросскими оборотами вперемешку с библейскими притчами, что даже выдавшие виды унтеры — уж на что мастера ругаться! — покачивают изумленно головами.

Любит батюшка с утра приложиться к заветной бутылочке с араратским церковным винцом, но по выпитии душой не смягчает, а, наоборот, становится еще прилипчивее и задиристее; во хмелю, говорят, пишет его преосвященству длинные послания о падении нравов на флоте, а протрезвев, собственноручно уничтожает их — подальше от греха!

Поговаривали на «Авроре», будто причастен он к охранному отделению, но если, доводилось, в кают-компании осторожно намекали ему на это, он в ответ непонимающе помаргивал рыжими ресничками и спешил перевести разговор на другую тему.

Матросов отец Филарет ненавидел лютой ненавистью, и те отвечали ему плохо скрываемой неприязнью. И хотя временами он пытался расположить их к себе — расспрашивал о здоровье, о письмах из дому, причем расспрашивал участливо и даже вздыхал при этом, — чувствовали матросы фальшь в его голосе, и оттого еще более усиливалась их нелюбовь к священнику.

Впрочем, и у офицеров корабля особенной симпатией он не пользовался. Споров с ним все, исключая Терентина, избегали. Когда он о чем-нибудь заговаривал, слушали молча, но равнодушно...

— Значит, не видели? Так-так...

И отец Филарет отходит от Дороша.

Нынешним утром батюшка не в духе с самого пробуждения от сна, и даже араратское вино не развеяло его дурного настроения.

Пока Дорош стоит на полубаке и раздумывает, чем же все-таки заняться ему до заступления на вахту, отец Филарет разыскал на верхней палубе старшего офицера капитана второго ранга Небольсина, отвел его в сторону и, держа за пуговицу кителя, начал жаловаться: неслыханное дело! — матрос второй статьи Епифан Листовский отказался вчера выйти на вечернюю молитву. Живот, говорит, разболелся — не до молитвы.

— Нет, вы, дорогуша, сами посудите, — гугнит отец Филарет. — Ныне отказ от молитвы божией, а что завтра? Что, я вас спрашиваю?

Старший офицер едва приметно морщится, словно желая сказать: «Ах, батюшка, не до того сейчас!», однако обещает не оставить безнаказанным поступок Листовского:

— Доложу командиру. В приказе по кораблю будет объявлено. Достаточно, полагаю?

Высокий, подтянутый, суховатый, он на целую голову выше отца Филарета и потому, разговаривая со священником, глядит на него сверху вниз. Лицо у Небольсина холодное, непроницаемое — не поймешь, слушает он священника или занят какими-то своими мыслями.

— Вот-вот, — торопливо соглашается отец Филарет. — Суток этак на пяток строгого, на хлебец да на водицу — тогда и уважение ко господу богу нашему появится. Я ведь что говорю, дорогуша...

Но Небольсин обрывает его уже бесцеремонно:

— Все у вас, батюшка? Прошу прощения, дела ждут.

— Дела, дела, — ворчит отец Филарет, отпуская пуговицу. — У всех дела, до одного бога дел никому нет...

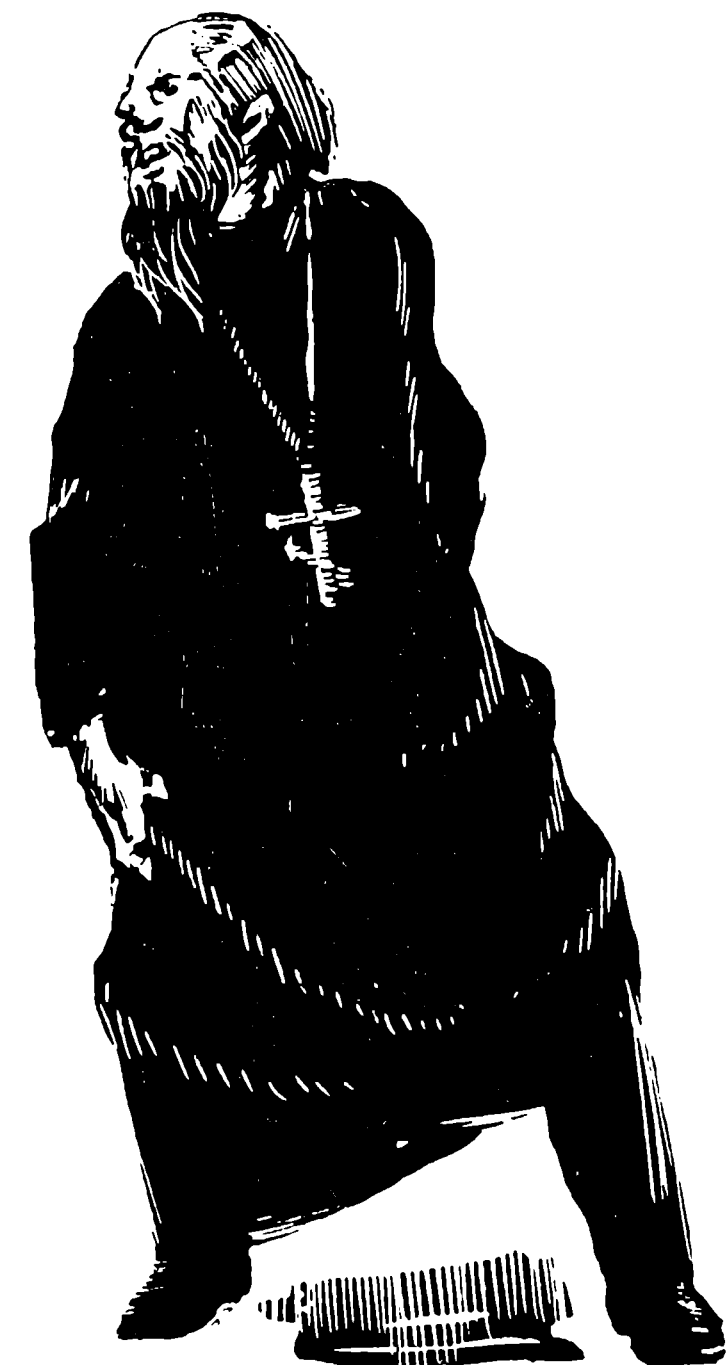
И он семенит на батарейную палубу, внимательно и зорко поглядывая по сторонам.

На корабле идет утренняя приборка. Матросы протирают песком, лопатят и скатывают забортной водой палубу; первогодки драют медные дверные ручки офицерских кают, добиваясь того ослепительного блеска, без которого боцманы не только не примут работу, а еще и — чего доброго — затрещину дадут; оружейная прислуга возится у своих орудий.

Отец Филарет подбирает полы подрясника и шагает на цыпочках, стараясь не угодить в лужу.

Возле кормового трапа его окликает лекарь Бравин, любимец всех офицеров корабля. Низенький, розовощекий, с какими-то особенными маленькими, забавными бачками, он — само добродушие. Степени доктора наук он так и не достиг и потому давно примирился со своим лекарским званием: вот кончится война, там видно будет.

Завидев отца Филарета, он делает озабоченное лицо: — А я с ног сбился, батюшка, вас разыскивая. Куда это, думаю, наш служитель божий запропастился?



Отец Филарет останавливается и подозрительно смотрит на Бравина: ох, уж этот безбоязненный эскулап! Пожалуй, он — единственный в кают-компании, если не считать мичмана Терентина, кто позволяет себе в открытую подтрунивать над священником, в особенности над его пристрастием к вину, отпускаемому для святого причастия. Может быть, поэтому отец Филарет особенно невзлюбил Бравина, не отваживаясь, однако, высказывать свою неприязнь.

Он такой, этот Бравин, что от него, как от соблазна, — подальше!

— Зачем бы это я вам понадобился? — вразяжку,

с ехидцей спрашивает отец Филарет. — Уж не грехи ли свои замаливать решили? Пора, давно пора. Накопилось их у вас!..

— Грехи потом, — бездумно отзывается Бравин, посмеиваясь карими глазами. — Да и не такие они тяжкие, чтоб о них загодя тревожиться. Сейчас — дела поважнее.

— И у вас дела! — в сердцах бурчит отец Филарет. Но Бравин не слушает его.

— Вот что, батюшка, мне надобно знать точные размеры церковного отделения.

— Это на какой же предмет? — отец Филарет делает ударение на начальном слоге.

— А на тот предмет, что придется там, в случае боя, оборудовать главный перевязочный пункт.

Против этого довода возразить нечего, но отец Филарет на всякий случай все-таки ворчит:

— О госпoде всевышнем нашем почаще вспоминать надо, тогда, глядишь, бог милует. Ишь ты, в воздухе и порохом не пахнет, а уж перевязочный!..

Но Бравин только непочтительно присвистывает:

— Эко ведь куда хватили! На войну, чай, идем, под снаряды, а от снаряда и молитва не спасает. Снаряд — он дурной, он без разбору калечит.

Отец Филарет втягивает голову в плечи, будто уже сейчас слышит над собою скрежет снарядов.

— А что, — настороженным полусшепотом спрашивает он, — предвидится что-нибудь, дорогуша?

Бравин насмешливо поводит глазами в его сторону: трусоват батя, трусоват.

И говорит с деланным участием:

— Пока ничего, а вообще-то береженого бог бережет. Да вы, часом, не испугались ли?

Отец Филарет вскидывает голову: вот еще! А про себя думает: «Нет, надо добиться, чтобы этого насмешника поскорее убрали с «Авроры».

— Выдумаете! — обиженно говорит он. — Я, поди, и не в таких переделках бывал, но, слава всевышнему, жив-здоров.

— Да-да, конечно, — нетерпеливо соглашается лекарь. — Разве может кто-нибудь усумниться в вашей... отчаянной храбрости?

И снова переходит на деловой тон:

— Так я, стало быть, с вашего разрешения прикину рулеточкой длину-ширину?

Лекарь подзывает проходящего по батарейной палубе матроса Акима Кривоносова:

— Ты, братец, ничем сейчас не занят?

— Никак нет. Отшвабрил.

— Тогда помоги мне. Определим с тобой габариты будущей швейно-штопальной мастерской.

И достает из кармана рулетку.

Серый, неинтересный обычный день на корабле течет медленно, уныло, однообразно...

Лейтенант Дорош направляется в свою каюту, но не успевает дойти до нее, как вдруг слышит чей-то взволнованный возглас:

— Земля!..

Он поспешно бросается к носу. В самом деле, далеко, далеко впереди, там, где смыкаются серый небосвод и такое же серое море, смутно угадываются очертания берега. Он еще едва различим — черная линия на сером горизонте, но вот он становится отчетливее, ближе; уже можно разглядеть редко расставленные островерхие прибрежные скалы и пологий берег за ними, покрытый густой растительностью. Неподалеку от берега стоят корабли эскадры, пришедшие на рейд несколько раньше.

— Это куда же мы прибыли, ваше благородие? — с любопытством спрашивает Кривоносов у Бравина.

— Это? Это, братец, Африка. Западная Африка. Порт Танжер. Вот куда уже зашли!..

И решает:

— Ладно, потом измерениями займемся. Вижу, что ты сгораешь от любопытства.

Шестнадцатого октября, в десять часов утра, «Аврора» бросила якорь на открытом рейде Танжера.

Г Л А В А 2

1.

Лекарь Бравин был одним из немногих офицеров на корабле, к кому комендор Аким Кривоносов относился с доверчивостью.

На флотскую службу Акима призвали четыре года назад.

Прошел он положенный срок обучения по курсу молодого матроса, узнал азы нелегкого моряцкого дела, вызубрил главнейшие статьи воинских уставов, без которых и служба — не служба; отбубнил, как полагается, присягу: «телом и кровью, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление»; холодными, неслушающимися губами поцеловал распятие, перекрестился — и вот прямой дорожкой попал на крейсер. «Аврора» тогда только готовилась к ходовым испытаниям.

Четвертый год он служит на «Авроре», а что он знает здесь и что знают о нем?

Ну, ротный командир лейтенант Дорош скажет: ничего, расторопный матрос, толковый. Ротный — человек добрый, мухи не обидит, но до матросской души нет ему никакого дела. Ну, писарь глянет в свои бумаги — добавит, что призван Аким Никитин Кривоносов из Черниговской губернии, Новозыбковского уезда, Белоколодезской волости, деревни Крутоберезки.

А только все это не то, все мертвые буквы. За буквами этими ее не увидишь — далекую деревню Крутоберезки. Не разглядишь ее лозняков над гладью озерца, подернутого дымкой, не почувешь запаха дыма, который поднимается по утрам над соломенными ветхими крышами изб, не услышишь хлопанья пастушьего бича, блеянья овец, мычанья крутолобого теленка — всего того, что чуть вспомни — безысходной тоской сжимает сердце. Так сжимает, что хоть криком кричи...

И вот ведь что чудней всего: строго говоря, Аким давно уже не сельский житель, отвык от деревни, а все равно не найти для него на земле места дороже, чем эти нищенски-бедные, далекие Крутоберезки.

Акиму не было трех лет, когда отец с матерью, измученные вечными недоимками и голодом, решили податься в город: может, там жизнь полегче. Перебрались в Киев, к дальнему родственнику. Отец с полгода ходил без работы, потом все-таки наскреб немного деньжонок, чтобы задобрить кого-то, и вскоре был устроен сторожем в мясном ряду, на рынке, неподалеку от Крещатика. С тех пор, сколько себя помнит Аким, не было у них в семье иных разговоров, кроме как о том, почему дру-

гим удалось разбогатеть, а от Акимова отца счастье отворачивается.

Его и впрямь было слишком мало, этого счастья: сырой подвал в двухэтажном доме лабазника, надсадно кашляющие чахоточные сестренки, одно-единственное лоскутное одеяло на всю семью да юхтовые, густо пропитанные — для того, чтоб износу им не было — пахучим дегтем сапоги, надевать которые отец отваживался только по самым большим праздникам.

Да по совести говоря, Аким тогда и не задумывался о том, что такое — человеческое счастье, мал еще был для этого.

На песчаном днепровском берегу, в ватаге таких же, как и он, босоногих чумазных мальчишек, пролетало Акимово детство. Пролетело без радостей, без чего-нибудь, что осталось бы в памяти, — только и было в нем прекрасного, что старый Днепр. Днепр спокоен, широк и ласков: глянешь, а противоположный берег, затянутый дымкою, едва-едва различим. И куда он катит свои воды, этот приветливый Днепр? Ребята сказывали — к морю. А где оно, море, — далеко ли, близко ли? И какое оно? Поди, шире Днепра?

И Аким все мечтал хоть однажды увидеть его своими глазами — это таинственное, непонятное, никакое море.

Каждую осень на окраине Киева, где жила семья Кривоносовых, появлялись матросы-отпускники, совсем не похожие на «своих», днепровских матросов с купеческих пароходиков. Ходили они вразвалочку, поднимая пыль невероятно широкими клешами. Они не боялись ни бога, ни черта, ни даже городского, водку пили стаканами и ругались так свирепо и сложно, что Аким зажимурился. Их обветренные, бронзовые, скуластые лица, казалось, не выражали ничего, кроме презрения к вот этой человеческой мелюзге, копошащейся вокруг.

Мальчишек матросы попросту не замечали, хотя те сгорали тайной завистью, неотступно следуя поодаль за парнями в клешах.

Матросы ухаживали за смешливыми, полногрудыми окраинными девушками, пели им неслыханные песни о далеких знойных странах и о роковой злодейке — моряцкой судьбе; девушки кстати и некстати хохотали, грызли подсолнухи и о чем-то перешептывались между

собой. А мальчишки стояли поодаль, глазели и ловили каждое слово матросских заманчивых песен.

Но были среди этих неприступных матросов и такие, что могли усесться на берегу, среди ребятишек, прямо на песок, и часами выпрашивать о жите-бытье — смешно, право слово: зачем им все это? — или в свою очередь рассказывать о дальних странах, о штормовых морях, о свирепых боцманах, об опасных, но заманчивых океанских походах.

Не от них ли, от этих рассказов, и родилась тогда мечта Акима о флотской службе?

Отец к этой мечте сына отнесся насмешливо:

— Зряшное дело. Матросы — народ непутевый, пьяницы да ворюги. У них планида такая — всю жизнь скитаться. А ты вот лучше присматривайся-ка к деловым людям. Мне не пофартило — тебе, глядишь, больше повезет. Каким ни есть купчишкой станешь — может, хоть тогда из нужды выберемся.

Сын молчал, но от своей мечты не отказывался. Он безропотно делал все, чтоб только помочь отцу: грузил баржи, перетаскивал мешки и ящики на базаре, а думал все о своем.

За полгода до призыва Акима семья Кривоносовых распростилась с Киевом и возвратилась в Крутоберезки. В положенный срок стоял Аким перед комиссией, стыдась своей наготы.

— Геркулес, форменный Геркулес! — непонятно повторял врач в очках, бесцеремонно вертя парня то вправо, то влево. — Такому только во флоте и место!

Затаенной радостью дрогнуло сердце Акима: мечта, кажется, начинала сбываться...

Но на деле все оказалось совсем не так, как виделось в юношеских думах.

Вот говаривали одноклассники во флотском экипаже: кто на крейсер «Аврора» попадет — счастливчик, в сорочке родился. Корабль — красавец, только недавно со стапелей, глядишь, и порядки там будут не те, что на других, старых кораблях, и служба легче пойдет. Ведь бывают же корабли, где матросу есть хоть маленькое послабление?

А выходит, зря все говорили: те же тут зуботычины унтер-офицеров, те же, чуть что не так, брань и оплеухи боцманов — тяжела боцманская рука...

И Аким, еще сам того не сознавая, постепенно возненавидел свою службу.

Может, была это обида за поруганную мечту, которую вынашивал он в своем сердце с самого детства; может, просто тесно ему было, огромному и сильному, в этой неприветливой железной коробке, но только он чувствовал: что ни день, все трудней ему сдерживать себя!..

На крейсере «Жемчуг», сказывали, матрос-первогодок не выдержал издевательств — повесился. На «Олеге» кочегар дезертировал: довел его унтер до полного отчаяния, ничего больше не оставалось, как за борт прыгнуть.

Черноглазый Епифан Листовский, шахтер, необузданной смелости человек, понимая, должно быть, что происходит с Акимом, пытался его успокоить:

— Это, знаешь, в тебе дюже много силы накопилось. Ты ж вон какой детина: кулак — с добрую голову. Займись работой какой-нибудь потяжелее — глядишь, отпустит сердце.

И непонятно было, всерьез он это говорит или посмеивается. Он, Листовский, чудной: у него не решишь, то ли он шутки шутит, то ли серьезный разговор ведет; шахтеры — они, поди, все такие.

— Плетешь что зря, — недовольно останавливал Аким Листовского. — Минуты не можешь без своего зубоскальства...

— А что думаешь? Ей-пра, отпустит, — повторял Листовский. — Вот у нас на шахте был один такой, забубенная голова...

Аким отмахивался:

— Сила-то моя тут с какой стати? Ты вон средней силы, а с батюшкой все время воюешь. Это у тебя, думаешь, отчего?

— Я — особь статья, — серьезно объяснял Листовский. — Я их, попов, сызмальства ненавижу, есть причина. А тебе кого тут ненавидеть?

И Кривоносов не знал, что ему ответить. Листовский, посмеиваясь глазами, обнимал его за плечи:

— Нам бы с тобой, Аким, простора! В разбойники после флота податься, что ли? В соловьи-разбойники, а? Как полагаешь?

И затягивал неожиданно густым басом:

Не шуми ты, мать-сыра дубрава...

Оборвав песню, он вдруг долго молчал и только после этого мечтательно говорил:

— Вот, понимаешь, тянет в лес... Чтобы дубы стояли в три обхвата, чтоб трава — по пояс. И чтобы птицы пели! Разными голосами... Хорошо!

Голос его теплел, становился душевнее, но уже через минуту Листовский балагурил снова:

— Так, стало быть, как насчет разбойничьего ремесла?..

Но и от этих дружеских шуток легче Акиму не становилось.

Вчерашнего дня, пополудни, как только закончились артиллерийские учения, отправился Аким на полубак, покурить у «обреза», а тут как назло навстречу лейтенант Ильин. И надо ж быть беде: Аким не успел вовремя отскочить в сторону, уступить офицеру дорогу и вытянуться во фронт.

Лейтенант вдруг остановился, побагровел да как рявкнет:

— Эт-то что еще такое?

Даром, что щупленький, а голосище — протодьяковский.

Быть бы синяку под глазом у Акима — да, спасибо, ротный Дорош вблизи оказался. Что-то он такое сказал, не по-нашему, не по-русски, от чего Ильин покраснел еще больше, сверкнул взглядом, но Акима все-таки не тронул.

— А ты ступай, — сухо сказал Кривоносову Дорош. — В следующий раз будь внимательнее.

Аким козырнул, повернулся, как уставом положено — на каблуках, и, уже уходя, услышал, как Дорош вполголоса говорил Ильину:

— Бог мой, какая мерзость!..

Вот так оно — собачья жизнь, право слово!..

Нет, не хочется сегодня Акиму задумываться над своим житьем. Размышляй не размышляй, все одно выхода не отыщешь. Нет уж, лучше думать о чем-нибудь другом — о хорошем, радостном. А о чем бы он хорошим ни задумывался, все перед ним возникает образ Кати.

Они познакомились полгода назад, в Петербурге, в воскресный день. Была середина лета, но, в противоположность обычному для северной столицы, не знойная, а мягкая, ласковая, подернутая слабыми туманами на зорях.

Вечерело. Откуда-то издалека, с той стороны, где виднеется шпиль Адмиралтейства, доносились басы духового оркестра, в лад им тяжело — как молот в деревенской кузнице — ухал барабан. Там, по другую сторону Невы, бурлило воскресное веселье, здесь же, в неширокой улочке Васильевского острова, было дремотно, тихо.

Копошились еще не успевшие отправиться на насест куры, выискивая что-то в траве, пробивающейся между булыжником. Пиликал на скамеечке пьяный гармонист, где-то однообразно и надоедливо тренькала бала-лайка.

Катя несла несколько свертков, по-детски прижимая их обеими руками к груди. Вот она загляделась на что-то и споткнулась. И все ее покупки рассыпались по тротуару: куски синеватого рафинада, мелкосортные желтые яблоки, круглые медовые пряники. Она растерянно ахнула и наклонилась, подбирая то, что можно было еще спасти от уличной пыли.

Аким в тот день впервые за три месяца получил увольнение на берег и медленно, бесцельно прогуливался с друзьями-матросами. Он бросился помогать девушке. Когда кульки и пакеты были собраны, девушка подняла на матроса серые спокойные глаза и негромко, дружелюбно сказала:

— Спасибо.

— Да за что спасибо-то? — удивился Кривонос и тоже поглядел ей в глаза.

И как только заглянул он в эти глаза, так понял, что теперь ему от них никуда не деться: всюду будет он их видеть перед собою. Он стоял и молча, растерянно смотрел на девушку, не зная, что еще ей сказать. И она тоже стояла, будто ожидая его слова.

Матросы окликнули Кривоносова:

— Аким, мы ведь еще по чарочке собирались пропустить...

Но он досадливо отмахнулся от них: идите, дескать. Девушка рассмеялась:

— Такой случай упускаете!

И Аким у от этой первой, ничего не значащей фразы, от мягкого грудного смеха девушки стало вдруг хорошо-хорошо, как-то светло, легко и радостно.

Жила она, оказывается, не близко — почти возле гавани, и Аким, сам не зная почему, обрадовался этому. Он забрал у нее всю ее ношу и шагал так осторожно, — будто нес бог весть какие драгоценности.

Огромный, плечистый, рядом с нею он казался и впрямь богатырем.

О чем только не говорили они в тот первый вечер! Аким проводил ее до ворот, потом она согласилась немного возвратиться, и снова он ее провожал, и снова они возвращались, и он все прижимал к груди кульки.

Иногда, увлекшись рассказом, он пытался жестикулировать, но она предупреждала, смеясь:

— Зачем же второй раз рассыпать?

И он, смущенный, бормотал какие-то извинения. А через минуту снова забывался, и ей, должно быть, даже нравилась его горячность.

Он спохватился только тогда, когда вблизи на Неве, на каком-то невидимом в темноте корабле, склянки напомнили, что скоро конец увольнению. Как же не хотелось ему тогда возвращаться на крейсер!..

— Ну, я пойду, однако, — неуверенно сказал он. И вновь не уходил — до тех пор, пока девушка сама, смеясь, не подтолкнула его легонько:

— Пора!..

Потом, в последующие месяцы, они встречались еще четыре раза. Чаше не было возможности, потому что увольнений на берег по случаю военного времени на кораблях почти не давали. Аким по совету товарищей пообещал писарю косушку, и тот устраивал увольнительную.

Девушка — звали ее Катей — оказалась умной, начитанной. Аким все дивился: откуда она так много знает, если и в школу-то, как сама рассказывает, ходила только четыре зимы? Никогда и ни с кем прежде ему не было так свободно, просто и легко, как теперь с Катей.

В Кйеве знакомых девушек у него вообще не было: босоногая «ватага» по неписанным своим законам счи-

тала это зазорным. В Крутоберезках девчата каждый вечер водили хороводы, подзадоривающе, высокими голосами пели «страдание», и не одна тайком заглядывалась на застенчивого кудрявого парня-богатыря. Но он к ним оставался как-то безразличен, со всеми одинаково ровный, ласковый и веселый. Так он и уехал во флот, не успев ни одну по-настоящему полюбить, ни одной не сказав заветных нежных слов.

Может, потому он и не верил, что бывает чувство, заставляющее забыть обо всем; и когда в книжках попадались ему описания таких чувств, он эти страницы равнодушно пропускал, не читая: выдумают люди, ей-богу!

А вот тут, после нескольких встреч с Катей, он впервые понял, что есть, оказывается, на земле такое: большая, настоящая, чистая любовь. Нет, он не знал даже, любовь это или что-то другое: и радостно было на душе, и щемяще-грустно, и жутковато — все сразу...

Катя понравилась ему и тем, что не позволяла по отношению к себе ничего лишнего — не то что другие, дружившие с матросами, озорные фабричные девчата. В кубрике, этом тесном матросском жилье, когда Аким возвращался из увольнения, дружки-приятели, подмигивая, с любопытством расспрашивали насчет его успехов, а он смущался, по-девичьи краснел и отмахивался обеими руками:

— Да вы что, чертяки, с ума спятили, что ли?

Матросы в ответ хохотали, не веря ни одному его слову:

— Брось, это ты все, поди, скрытничаешь!..

И он не знал: обижаться на них или не стоит. Он видел, как грубеет человек на этой корабельной службе, а ведь ребята-то они все были, если получше к ним приглядеться, хорошие, незлобивые и вовсе не такие испорченные, какими сами хотели казаться. За друга любой из них, не задумываясь, в самое пекло сунется, последнюю щепотку табаку отдаст без колебаний, последнюю тельняшку с себя снимет.

Правда, выпивают, с девчатами озоруют. Но ведь послужи год-другой в этой постылой железной коробке — озвереешь...

И он не осуждал их. Но расспрашивать о Кате

все же не позволял, сразу заводил разговор о чем-нибудь другом.

Спроси у него: хороша ли Катя, красива ли — он просто не нашел бы, что ответить. И описать ее внешность, пожалуй, не сумел бы, потому что всю ее мысленным взором своим в бессонные ночи даже и не видел. То возникали перед ним огромные серые лучистые глаза, смеющиеся и ласковые; то вздернутый носик, чуть тронутый мелкими желтыми пятнышками веснушек; то ослепительно белые зубы, один из которых был со щербинкой; то руки, маленькие, шершавые от частых стирок.

Одно он сердцем чувствовал: может, есть девушки и лучше и красивее, а такой второй — все же нет на всей земле!

Пойти с Катей в Летний сад или в только что появившийся синематограф, где, говорят, люди, как живые, по белой холстине движутся, Аким не решался. Он боялся наскочить на какого-нибудь не в меру усердного мичмана, которому ничего не стоит унижить матроса в присутствии девушки. Да в Летний сад его просто и не пустили бы: там по дорожкам среди мраморных белых фигур прогуливались со своими нарядными дамами господа офицеры, и надпись у входа охраняла их покой: «Собакам и нижним чинам вход воспрещен»; а если и не подействует надпись, всегда на помощь поспешит усатый городской. Порядок — прежде всего!

Но Акиму и без Летнего сада было с Катей вот ведь как хорошо! Взявшись за руки, они подолгу бродили вдоль берега Невы, а потом часами стояли у калитки Катиного домика. Улица была тихая, безлюдная, темная, почти деревенская, лишь далеко на углу неясно мерцал одинокий покосившийся фонарь.

Звенели склянки в гавани. Аким спохватывался: нельзя опоздать на «Аврору», но так не хотелось выпускать из своей руки чуть вздрагивающую, доверчивую, теплую Катину руку...

«И чем это она меня приворожила? — изумленно спрашивал он себя. — Вроде, и знакомству нашему — без году неделя, а поди ж ты, роднее она мне самого родного человека!..»

Катя все уговаривала Акима зайти к ним домой, обе-

щала познакомить с отцом. Но он колебался, отнекивался: как-никак, а все же чужой.

— Да какой же ты чужой? — изумлялась Катя, всплескивая ладошками. — Чужие — они там...

И она как-то неопределенно показывала глазами на другую сторону набережной, где в вечерней полумгле вырисовывались очертания дворцов и особняков, сиявших бесчисленными, даже в летнюю пору наглухо закрытыми окнами.

Но знакомство Акима с Катиным отцом все-таки состоялось. И состоялось оно при несколько необычных обстоятельствах.

В один из вечеров, когда Акиму с трудом, после долгих просьб и унижений, удалось получить увольнение и он сломя голову прибежал к условленному месту на набережной, Катя не пришла.

Взволнованный, полный тревожных, смутных предчувствий, то и дело поглядывая на часы, видневшиеся на перекрестке, Аким нетерпеливо ходил взад-вперед. Прошли полчаса, час, полтора, а Кати все не было.

О том, что она познакомилась с кем-нибудь другим, забыла о нем, Аким и думать не хотел. Не пришла — значит, не смогла прийти, значит, что-то с ней случилось, а тут уж медлить и раздумывать нечего. Минут через двадцать он решительно открывал знакомую калитку. Сердце его билось учащенно, от прежней робости не осталось и следа.

Во дворе брехнул черный лохматый пес, но тотчас, будто испугавшись собственной смелости, снова забрался в конуру. Аким спустился по ступенькам вниз, постучал, дверь открылась, и он увидел старика лет, должно быть, шестидесяти: возраст рабочего человека всегда трудно определить по виду. Старик близоруко прищуривался, разглядывая матроса.

— А-а, зятек пожаловал, — чуточку насмешливо и в то же время добродушно-приветливо произнес он. — Ну-ка, покажись, покажись, Микула Селянинович. Да ты и впрямь богатырь! Не зря Катюша говорила, что ты все одно как былинный ратник...

Похоже, он не удивился неожиданному приходу Акима — так, словно был уверен, что тот придет. Он отступил на шаг, пропуская матроса:

— Ну, проходи. Будь гостем.

И совсем другим тоном — встревоженно — сказал вполголоса в сенях:

— А Катюша-то наша расхворалась... Не доглядел я. Лежит, разметалась, вся горит.

И он вздохнул.

Аким остановился у порога, обвел взглядом комнату. Была она маленькая, с низким потолком, оклеенная дешевыми обоями, на которых, повторяясь бессчетно, в венчике из сиреневых веток целовались два голубка. Деревянный стол, покрытый самодельной узорчатой скатертью, четыре стула вокруг стола, старый топчан у стены да кровать, угадывавшаяся за пестрой ситцевой занавеской в углу, — вот и все убранство. Но чувствовалась во всем щепетильная чистота плохо скрываемой бедности, и это растрогало Акима: кто-кто, а уж он-то знал, что такое — эта стыдливая нищета.

— Проходи, проходи, — повторил Катин отец, входя вслед за матросом. — Не пугайся нашего жилья, не в барские хоромы попал.

Аким, сняв бескозырку, растерянно вертел ее в руках.

— А где же Катерина... — он замялся: отчества девушки он так до сих пор и не знал.

— Митрофановна, — подсказал старик. — Митрофан Степанович я...

Он подошел к ситцевому пологу, приподнял его.

— Катюша, — вполголоса окликнул он. — А кто к тебе пришел!

Девушка не то спала, не то находилась в забытии. Она не сразу открыла глаза, а когда открыла их, не удивилась, увидев Акима. Лишь где-то в глубине ее глаз вспыхнул и тотчас погас неяркий огонек радости.

— Аким... — тихо, напрягаясь, произнесла она. — Я знала, что ты придешь, Аким. А я вот, видишь...

И она умолкла.

Аким подставил стул к Катиной кровати, осторожно сел на краешек, все еще вертя в больших жилистых руках свою бескозырку.

— Что ж это ты, Катюша... — только и нашелся он сказать. Какой-то комок подкатил к его горлу. Острая, неведомая прежде жалость и сострадание к этой девушке и еще какое-то чувство, болезненно-щемящее и тоскливое, мешали ему говорить.



— Что ж это ты расхворалась, Катюша? — повторил тоскливо Кривоносов и умолк: измученный вид девушки, ее запекшиеся губы, большие глаза, обведенные синими кругами бессонницы, лучше слов говорили о ее страданиях.

— Вот видишь, — через силу, одними только уголками рта улыбнулась Катя. — Обещала прийти, а сама лежу... Ты не сердись, Аким...

— Лежи, лежи! — испуганно предупредил он, заметив, что девушка хочет приподняться в постели. — Лежи, Катюша!..

...Это был совершенно особенный вечер. Старик Митрофан Степанович вдруг вспомнил, что — ах, батюш-

ки! — он совсем забыл зайти к соседу, а ведь еще в обед обещал; и они остались вдвоем, и Аким бережно и робко гладил Катину руку, положив ее на свою ладонь; и оба они почти все время молчали, лишь иногда перебрасываясь какими-то незначительными, первыми пришедшими на ум словами, и обоим им было так хорошо, что, кажется, век бы не расставаться.

«Любишь?» — в тысячный раз спрашивал он взглядом. А словами произнести это же самое так и не отважился.

И ожидая Катиного безмолвного ответа и боясь его одновременно, он стискивал свои огромные ладони.

«Люблю, люблю, люблю!» — также взглядом отвечала ему Катя, и слова им в эту минуту вовсе не требовались...

Уж совсем стемнело, когда возвратился Катин отец.

— Вы что ж это впотьмах сидите? — с порога спросил он и, тяжело, по-стариковски шаркая по полу, прошел к столу, зажег керосиновую лампу-семилинейку. Косматые тени метнулись по стене, вверх к потолку.

— Наговорился с Катюшей? — спросил Митрофан Степанович. — Теперь подсаживайся ко мне.

Затененная картонным абажуром лампа бросала на скатерть неширокий желтый круг. Митрофан Степанович на минуту приподнял ее так, что свет упал на лицо Акима, и зорко, вприщур взглянул на матроса.

— Ну, рассказывай.

— О чем рассказывать-то? — растерялся Аким.

— А обо всем. О себе. О жизни. О людях.

И вот как-то так получилось, что Аким сам не заметил, как он, обычно молчаливый и застенчивый, разговорился в этот вечер, слово за словом рассказывая Катиному отцу всю свою жизнь: и о том, как бедствовали они всей семьей в Киеве, и как мечтал он учиться в гимназии, да ничего из этой затеи не вышло: семья большая, а заработки отца грошовые, и как бредил в детстве морем, и как горько было теперь разочаровываться: что на «Авроре», что на каторге — считай, почти одинаково...

Митрофан Степанович, подперев голову ладонями, слушал сочувственно, изредка кивая головой в знак согласия.

Только один раз он перебил рассказ Акима, сказал задумчиво:

— Знаю, сынок, знаю. Трудно простому русскому человеку, везде трудно. Верно?

Аким согласился: ох, трудно.

— И вашему брату-матросу тоже нелегко, — продолжал Митрофан Степанович. — Сам когда-то служил, на своей шкуре испытал крепость боцманских линьков...

Он умолк, испытующе глядя на Акима.

— Как считаешь, долго такая му́ка продолжаться может? Долго народ терпеть будет?

И сам себе ответил убежденно:

— Нет, не долго! На пределе живем. На последнем запасе терпежа.

Митрофан Степанович понизил голос:

— Насчет того, что народ подымается, слышал, поди?

Аким подтвердил молчаливым кивком: доводилось.

— Ну и как же ты, сынок, думаешь, — осторожно продолжал старик. — Ежели, случись, пошлют усмирять... забастовщиков... Пойдешь?

Аким не сразу понял, о чем спрашивает его старик, а поняв — покраснел от обиды и даже приподнялся со стула:

— Что вы, Митрофан Степанович? Да ни в жисть!..

Он хотел добавить: «За кого ж вы меня принимаете?» Но старик жестом остановил его и покачал головой:

— Ой, не зарекайся. Прикажут, погонят — пойдешь! А как же иначе: твоё дело такое, подчиненное. Нашего брата ведь как именуют? Нижний чин! А раз нижний, стало быть, ему уж тут рассуждать не полагается.

Митрофан Степанович как-то недобро усмехнулся.

— Сам понимать должен: для того тебя и в шинелку обрядили, для того и присягу потребовали.

И от этого короткого смешка матросу сделалось не по себе.

— Пошлют — пойдешь! — убежденно повторил Митрофан Степанович.

Аким в волнении так стиснул пальцы, что они все разом громко хрустнули.

— А и прикажут, так с умом пойду, — вполголоса произнес он.

— Это каким же манером? — прищурился Митрофан Степанович.

— А вот таким самым, — упрямо, словно старик возражал ему, а он не хотел, чтобы ему возражали, повторил Аким. — Пулю — ее, знаете, не проследишь. Ищи, в какую сторону она полетела...

Долго, будто все еще не понимая смысла слов Акима, смотрел Митрофан Степанович на матроса. Потом поднялся, молча кивнул: правильно. И больше ничего об этом не сказал, ни единого слова. Он подошел к Катиной кровати: девушка не вмешивалась в их разговор и только иногда поворачивалась в сторону отца и Акима.

— Ну как тебе, доченька, легче? — спросил Митрофан Степанович, поправляя Кате подушку.

— Легче, — негромко подтвердила девушка.

Аким спохватился: поздно уже, пора возвращаться на крейсер, а то, гляди, суток десять гауптвахты схватишь. Старик удерживать его не стал — понятно, военная служба.

И что случилось в ту минуту с Акимом — сам он ответить не может, а только вдруг осмелел, шагнул к Катиной кровати, наклонился и поцеловал девушку в жаркие, запекшиеся губы:

— До свиданья, Катюша. Я еще приду!..

И поспешно выбежал из комнаты.

Но прийти вторично ему так и не привелось. Поутру на крейсере был объявлен приказ: готовиться к походу. Все увольнения нижних чинов на берег были полностью отменены. Корабли начали стягивать на Ревельский рейд.

Куда пойдут корабли, с какой задачей — никто из матросов, конечно, не знал, да и знать не мог. А догадки, предположения — они, что ж, догадками и остаются. Гадай не гадай, ничего не отгадаешь.

Сколько ни намекал Аким писарю, что за угощением дело не станет, была бы только увольнительная хоть на пару часов, — тот отмахивался:

— Ты что, очумел? Не видишь, какая тут карусель закручивается?

А там и «Авроре» тоже было приказано сняться с якорей и перейти в Ревель.

Боцманы сбивались с ног, пуще прежнего скверно-

слова и раздавая зуботычины направо и налево. Они заглядывали даже в такие сокровенные уголки корабля, о которых в другое время и вообще-то не вспоминали.

...Вот так и получилось, что Аким ушел в это далекое и нелегкое плавание, даже не успев попрощаться с Катей и ее отцом.

И что ни день — все дальше корабли от родной русской земли, и что ни день — все тяжелее Акиме оставаться в одиночестве со своими раздумьями, воспоминаниями, невеселыми мыслями.

3.

Пароходы с углем должны были начать свои рейсы между берегом и внешним рейдом только со следующего утра, и сигнальщик на марсе «Суворова», быстро работая флажками, передал: «Адмирал разрешает увольнение части команды на берег».

Танжер произвел на моряков русской эскадры удручающее впечатление.

Даже после убожества провинциальных городов России, с их непросыхающими лужами, покосившимися заборами и продымленными мрачными кабаками, где колобродит исступленное, отчаявшееся горе; даже после чудовищно бедных русских деревень Танжер поражал моряков своей неопикуемой нищетоу. Эти кривые улочки, зловонные и грязные; эти толпы изможденных старух на берегу, безмолвно и скорбно протягивающих свои костлявые, высохшие руки; эти шатающиеся от голода, равнодушные ко всему погонщики мулов и заклинатели змей казались русским матросам невиданно жалкими, вызывающими болезненное сострадание.

Острое чувство сострадания захлестнуло и Акима, когда он впервые попал на берег.

Случилось это в первый же день. Аким, только что намеревавшийся с лекарем Бравиным измерять площадку церковного отделения; узнав, что предстоит увольнение на берег, помрачнел. На берег ему, как и всем, конечно, хотелось, но после происшествия с лейтенантом Ильиным он был убежден, что увольнения ему не дадут. С затаенной тоской смотрел он в сторону берега.

— Что, брат, хочется поглядеть, какая она есть — заграничная жизнь? — перехватив этот взгляд, понимающе и в то же время немного насмешливо улыбнулся Бравин. — Ни его не выйдет.

Он отвернулся и сказал равнодушным тоном:

— Слышал я давеча, как старшему офицеру докладывали о твоих... злключениях. Обмишурился, стало быть?

Кривоносов, опустив взгляд, подавил вздох:

— Вышла такая промашка.

— Промашка? — расхохотался Бравин. — Не-ет, это не промашка.

Он хотел добавить еще что-то, но промолчал.

— А на берег... очень хочется? — после минутного промедления продолжал допытываться Бравин, и снова насмешливая улыбка тронула его губы.

— Очень! — сознался Кривоносов.

— Ну что ж. Видно, придется помочь тебе, — с серьезным видом вздохнул Бравин. — Вот что: соберись-ка единым духом, поедешь со мною во французский госпиталь за медикаментами.

— А... ротный? — нерешительно спросил Кривоносов.

— То уж моя забота. Да что мне, повторять приказание, что ли? — прикрикнул Бравин.

— Слушаюсь! — во всю мощь богатырских легких радостно выдохнул комендор.

— Тише, тише! — замахал руками лекарь. — Рад, что голосищем бог не обидел!.. Ну, поторапливайся.

...И вот они шагают вверх, в гору, по узенькой грязной улице, вдоль которой высятся какие-то диковинные деревья, каких прежде Акиму никогда в жизни видеть не приходилось: стволы у них светло-коричневые, будто отполированные, а наверху — пучок листьев двухаршинной длины и таких широких, что из любого подметки на сапоги можно было бы выкроить.

Низенькие хижины из жердей под этими деревьями, и каждая на сваях, — видно, в дождливую пору тут уж очень много воды, — так что забираться в такую хижину нужно по приставной лесенке.

Попадаются и дома привычного, «нашего», как подумал Аким, образца, но таких меньше, и все они почему-то выкрашены в небесно-голубую краску.

Чем ближе к полудню, тем сильнее припекает щедрое африканское солнце, и, должно быть, поэтому улица, по которой идут лекарь и Кривоносов, совершенно пуста.

Госпиталь — на самой горе, до него еще минут двадцать ходу, и скучающий Бравин от нечего делать решает немного заняться просветительством.

— Прелюбопытная, доложу тебе, эта земля — Африка, — говорит он, улыбаясь каким-то своим мыслям. — Богата — ну, кажется, богаче и представить себе нельзя. А в то же время — нищая...

— Это как же, ваше благородие, — богатая и нищая враз? — недоумевает Кривоносов.

— А вот уж истинно так и есть, — подтверждает Бравин. — Да, ну так вот. На эти самые богатства и налетают со всего света... И кого сюда только не тянет! И французишек, и голландцев, и немчуру, и англичан. А в последнее время даже североамериканцев потянуло... Был, понимаешь, материк как материк, а теперь что-то вроде лоскутного одеяла.

Кривоносов недоверчиво косится на лекаря: как ни расположен к нему Бравин, — Аким это чувствует, — а такая неожиданная откровенность заставляет матроса насторожиться. Не привык он, чтобы об этом с ним господа офицеры разговаривали.

Но Бравин улыбается так душевно и просто, что Акиму сразу становится неловко за свою подозрительность. И тогда он отваживается задать лекарю вопрос, который вертится у него в голове.

— Так ведь... у этих богатств, — неуверенно произносит он, — поди, хозяин есть?

— Хозяин? — восклицает Бравин. — А как же! Тот и хозяином стал, кто силою взял. Снарядил лет десять назад французский генерал Дюшен военную экспедицию на Мадагаскар — это остров, неподалеку отсюда. Сколько-то там тысяч перестрелял, сколько-то перевешал. Столицу мадагаскарскую — Тананариве называется — захватил, королеву в плен взял — вот и хозяин!

«Он что меня — испытывает?» — вновь недоверчиво думает Кривоносов, не знающий, разумеется, что все это Бравин незадолго до прихода в Танжер вычитал в брокгаузовской, совсем не «крамольной» энциклопедии.

А лекарю, надо полагать, нравится эта игра в просветительство. Он намеревается еще о чем-то рассказать Кривоносову, но, бросив в сторону комендора случайный взгляд, умолкает. Лицо у матроса, обычно простодушное и откровенное, — это-то Бравину и нравилось всегда в Кривоносове, — стало насупленным, замкнутым. Огромные кулаки стиснуты.

— Э, да ты, я вижу, впечатлительный, — не то удивленно, не то разочарованно нараспев говорит Бравин. — Оказывается, с тобою о таких вещах и разговор вести нельзя!

Аким вспыхнул:

— Что вы!..

И тут же, спохватившись, тихо добавил:

— Виноват, ваше благородие!..

Но Бравин уже не расположен продолжать разговор. Домой из госпиталя они возвращаются в молчании. Аким, побряхтывая, несет на плече ящик с какими-то лекарствами. Бравин шагает сзади, бездумно насвистывая что-то веселое.

Ночью начался неожиданный шторм.

Он был ощутим даже на этом спокойном рейде. Корабли эскадры, растянувшиеся на несколько миль по диспозиции, до самого рассвета тревожно переговаривались огнями.

Егорьев всю ночь не спал. Его беспокоило не то, что этот неожиданный шторм мог сорвать завтрашнюю погрузку угля: он знал, что погрузка на «Аврору» будет проведена при любой погоде. Беспокоила его излишняя, уж очень подозрительная активность англичан, стоявших по соседству на рейде.

Английский крейсер «Диана», еще утром приветствовавший русские корабли положенным в таких случаях артиллерийским салютом, в течение всей ночи слал в Гибралтар по беспроволочному телеграфу депешу за депешей. Депеши были зашифрованные, и разобраться в их содержании, разумеется, не представлялось возможным, но это-то и заставляло настораживаться.

Пришли и вскоре снова исчезли английские миноноски. Уже на рассвете вдоль строя русских кораблей прошел большой крейсер «Ланкастер». Егорьев, уже имевший за плечами опыт стоянок в иностранных пор-

тах, понимал, что вся эта возня затеяна, очевидно, неспроста: англичане встревожены встречей с русской эскадрой.

Ему вдруг вспомнился дневной визит к русскому консулу в Танжере Каншину. Маленький, суетливый, то и дело нервозно потирающий руки, он все время делал вид, что дьявольски занят, хотя, разумеется, рад прибытию соотечественников. Он почему-то упорно прятал глаза и что-то недоговаривал. Тогда Егорьеву это показалось просто дурной привычкой консула говорить полунамеками, и ему даже стало смешно: вот ведь как пыжится человек, показывая свою значительность. Но теперь поведение Каншина предстало перед ним в ином свете. Наверняка знает, каналья, что-то важное, касающееся эскадры, да не решается вслух высказать.

И Егорьев снова и снова возвращался к мысли о том, что много еще неожиданного будет на пути у эскадры.

Что он сулит русскому флоту, России — этот поход?..

Г Л А В А 3

1.

Двухкильватерной колонной, подняв настороженные стволы орудий, двадцать третьего октября, на рассвете, эскадра покинула Танжерский рейд.

Признаться, все на «Авроре», как, должно быть, и на других кораблях, вздохнули облегченно, когда постепенно стала отодвигаться назад и таять в утреннем легком тумане волнистая, неровная береговая черта. Неделя стоянки в Танжере была напряженной до предела; Рождественский, не зная, как ему держаться с соседями по рейду — англичанами, то проводил учение за учением: пусть бритты намотают себе на ус, как мы умеем быстро и ловко действовать; то затевал передислокацию отдельных кораблей, стягивая их так, чтобы броненосцы были поближе друг к другу.

Приказы с «Суворова» поступали ежечасно, и только теперь, по выходе из Танжера, беспроволочный телеграф на некоторое время умолк.

Как-то разом потеплело. Неподвижное, сонное море играло на зорях всеми цветами радуги. Легкий попут-

ный ветер, казалось, подгонял, поторапливал могучие, одетые в металлическую броню боевые корабли.

С каждым днем пути становилось жарче.

На широте двадцати восьми градусов начали попадаться диковинные летучие рыбы, каких почти никому на «Авроре» прежде видеть не приводилось. Они поднимались довольно высоко над поверхностью воды и, пролетев несколько сажень, снова исчезали в волнах, успев блеснуть ослепительно яркой чешуей. Несколько рыбешек даже упало на батарейную палубу «Авроры», и матросы с любопытством разглядывали их.

Температура воздуха стала подниматься не только с каждым днем, но и с каждым часом. Уже и ночи не приносили спасительной прохлады, и Дорош перебрался на ют: здесь по ночам было хоть не так изнуряюще-душно, как в маленькой, тесной каютке.

Где-то там, у горизонта, за дымкой, был материк, но его близость только смутно угадывалась.

Днем двадцать пятого вездесущий Андрюша Терентин заглянул на минуту к Дорошу.

— Ну знаешь, кажется, начинается настоящая экзотика, — скороговоркой произнес он. — По всем расчетам, нынешней ночью будем проходить между материковым берегом и Канарскими островами. Ты об этих островах что-нибудь из географии помнишь?

— А зачем тебе? — полюбопытствовал Дорош.

— А, кабальный долг, — безнадежно махнул рукой Терентин. — Дал папá клятвенное обещание вести путевый дневник: всевозможные описания, обстоятельства, географические названия... А в голове у меня — фью, вегер!..

И он весело присвистнул.

— Н-да, серьезная обязанность, — рассмеялся Дорош. — Ну, записывай, коли так. Канарская группа — из семи больших и шести меньших островов. Большие: Тенерифе, Гран-Канария, Пальма, Гомера, Ферро, Фуэртевентура и Лансароте. Все — вулканического происхождения, очень живописные. Склоны высоких гор, до тысячи двухсот метров, покрыты вечнозелеными лесами. На островах — финиковые пальмы, апельсины...

— Довольно, довольно! — в ужасе воскликнул Терентин. — Для отчета папá и одной десятой всего этого достаточно. Все равно не поверит: скажет, описал отку-

да-нибудь. Я ведь не ты — в первых учениках никогда не хаживал.

Он вздохнул:

— От этой духоты я скоро с ума сойду!.. Ведь это только подумать, куда нас занесло: Канарские острова!.. Лет пять назад я их, пожалуй, и на карте не сразу бы нашел.

Он понизил голос и, со свойственной ему привычкой неожиданно менять направление разговора, вдруг спросил:

— Слышал? От Рождественского давеча новая депеша: покуда будем идти вблизи береговой черты, по ночам объявлять боевую готовность. Адмирал сразу двух зайцев убить хочет: и обезопаситься на всякий случай и посмотреть, как это она у нас получается — боевая готовность.

Терентин присвистнул:

— Все теперь пойдет шиворот-навыворот. Хлебнем горюшка, помяни мое слово! Днем в духоте спи, а ночью бодрствуй — тут и богатырь не выдержит.

Сообщение Терентина оказалось, как всегда, точным. Едва лишь на эскадру опустилась темная, беззвездная ночь, — такие слепые ночи только поблизости от тропиков и бывают, — сыграли боевую тревогу.

Сколько Дорош на следующее утро ни пытался разобраться в событиях этой первой ночи, проведенной в непрерывной боевой готовности, ничего более или менее осмысленного у него не получалось.

На эскадре происходило нечто странное. Уже к полуночи строй кораблей был нарушен, многие из них застопоривали машины, выходили из строя; с «Суворова» то и дело следовали сигналы, — раздраженный адмирал тщетно пытался навести порядок.

«Что ж это происходит?» — недоумевал Дорош, не знавший, однако, что недоумевает в эту ночь не один только он. Капитан первого ранга Егорьев до утра не покидал мостика, тщетно пытаясь выполнять все приказания флагмана. Но были они одно противоречивее другого, и в конце концов Евгений Романович безнадежно махнул на них рукой, заботясь теперь только о том, чтобы «Аврора» не потеряла места в строю и не сбавила хода.

Время от времени Егорьев глотал остуженный и все-

таки тепловатый чай, курил папиросу за папирсой и снова тяжелым шагом начинал расхаживать по мостику. А сырой, будто распаренный, воздух делался все плотнее, гуще, и Егорьев чувствовал, что еще несколько часов такого непрерывного нервного напряжения и такой изнуряющей духоты — и он не выдержит...

Раза два или три поднимался на мостик Небольсин: постоит, помолчит, пожует губами и снова спустится вниз. Он так и не вызвался подменить Егорьева хотя бы на часок-другой.

Дорош, который провел эту ночь на своем плутонге, чувствовал себя немногим лучше, чем Егорьев.

Лишь утром, после отбоя тревоги, когда усталые матросы спустились в свои кубрики, Дорош смог прилечь. Но сон уже не шел к нему, и Дорош лежал под тентом на юте, закинув руки за голову, и с горечью думал о том, что между этой душной ночной безалаберщиной и его, Дороша, собственной судьбой есть какое-то поразительное сходство, и что, может быть, не так уж не права была Элен, когда насмеялась над его влюбленностью во флотскую службу. Действительно, не слишком-то много романтического и возвышенного во всей этой бестолковой суетне.

...Как-то нескладно, неудачно получалось все в жизни у Алексея Дороша. Поглядеть, другие — и поглупее, чем он, и талантами вроде бы никакими особенными не наделенные, кое-как отходив после окончания учебы положенный срок в гардемаринах, ухитрялись довольно быстро проскакать через мичманское звание и с непостижимой стремительностью, двигательные пружины которой были взору Дороша совсем недоступны, вдруг начинали подниматься вверх. Они делали головокружительную карьеру: сегодня всего только командир роты, завтра — уже старший офицер, а там не за горами и самостоятельное командование кораблем, — ну, не крейсером, конечно, и не броненосцем, а рангом пониже, но все-таки самостоятельное...

Он же, Дорош, как дослужился в свои двадцать шесть лет до лейтенантских погон и должности ротного командира, так, кажется, в лейтенантах и век скоро-тает. Есть на флоте такие — бессрочные лейтенанты. Отец пишет: «Будь, Алешенька, выше этой мелкой зави-

сти, главное — чистое сердце иметь». Да ведь от этого отцовского утешения не легче, когда видишь вокруг эту кричащую несправедливость.

Правда, у него — неоспоримое преимущество: мало кто из офицеров на «Авроре», если не считать умницу Лосева, знает артиллерию так, как он, и уж наверняка никто ее так не любит. Но что оно значит, это наивное самообольщение, не подкрепленное ни связями при дворе, ни хотя бы знакомствами в Главном морском штабе? В конце концов только неисправимый оптимист или чудаки не понимают, что судьбы решаются не здесь, на батареейной палубе, а там, под золоченой иглой Адмиралтейства. Пожалуй, прав резковато-прямолинейный Бравин: будь у тебя хоть семь пядей во лбу, а без влиятельной тетушки так и останешься всю жизнь девкой на выданье.

Практичная Элен в их последнюю встречу, за несколько дней до выхода эскадры, так прямо и сказала:

— Вы, Алексис, все витаете в эмпиреях, пока другие берут от жизни, что только можно. Смешно оставаться влюбленным в свои пушки до седых волос!

Он пытался тогда убедить ее, что это совсем не так, что в предстоящую аттестацию — ему обещали! — он тоже будет представлен к новому чину, однако Элен даже и слушать его не стала.

— Не кажется ли вам, — холодно-вежливо возразила она, — что это все-таки скорее ваши заботы, чем мои?

И почти презрительно окинула его взглядом. А он покраснел, растерялся. Он вообще всегда терялся, разговаривая с нею: Элен поражала его редкостным практицизмом, так плохо вяжущимся с ее ослепительной улыбкой и с ее какой-то совершенно неземной красотой.

Элен поспешила заговорить о другом, а у него надолго после этого остался горький осадок, будто он был уличен в чем-то нехорошем, непристойном, а в чем — и сам понять не мог. Он читал ей в тот вечер любимые стихи: «Среди миров, в мерцании светил, одной Звезды я повторяю имя...» А в голове назойливо стояло одно: «Смешно быть влюбленным в свои пушки!..»

Смешно? А почему, собственно, смешно? Почему он должен стыдиться своего жизненного призвания, самого

дорогого, что у него есть?.. «Не потому, что от Нее светло, а потому, что с Ней не надо света». Боже мой, могут же изумительные, сердечно-прекрасные строки звучать вдруг такой иронией!..

Во всяком случае, беспощадно откровенные слова Элен он понял, кажется, так, как единственно и следовало их понимать: нечего думать о браке, пока не сделаешь настоящую карьеру. Это уж наверняка отцовское наущение: старик, говорят, человек с волчьей хваткой в жизни.

«Ну и черт с нею!» — почти вслух произносит Дорош и ужасается: похоже, от постоянного общения с матросами он растеряет последние остатки светских навыков. А-лек-сис! Имя-то какое выискала. Уж Алешкой бы звала — и то приятнее. И откуда у нее что берется, у этой дочери разбогатевшего на военных поставках купчишки?

В отместку Дорош тогда весь вечер упорно называл ее Еленой Тимофеевной, но Элен только презрительно пожимала плечами и холодно глядела куда-то поверх его головы. Правда, на прощанье она благосклонно протянула ему теплую тонкую руку, перехваченную у запястья золотым браслетом какой-то диковинной работы, но Дорош — опять-таки из озорного упрямства — сделал вид, что не заметил ее жеста, и молча, подчеркнуто почтительно поклонился. Элен вспыхнула так, что даже шея у нее покраснела, но уж он-то остался доволен: в расчете.

А вот теперь мучается, казнит себя воспоминаниями.

Кто-то сказал, что самый страшный вид ревности — ревность к прошлому. Дорош слышал о том, что у Элен был неудачный роман с пехотным поручиком, ретировавшимся в провинцию. Он старается думать сейчас об этом, чтобы разозлиться, возбудить в себе неприязнь к Элен, но чувствует, что это уже не в его силах.

Разбитый, не только не отдохнувший, а еще более усталый, он возвращается в свою каюту и, походив из угла в угол, резко останавливается. Потом подходит к зеркалу, висящему над постелью. Оттуда, со стены, на него глядит серьезный, может быть слишком для своих лет серьезный офицер, безусый, с темно-карими чуть раскосыми глазами, с припухшими губами и мягким подбородком.

— Что? — говорит Дорош тому, другому, на стене. — Не любит тебя купеческая дочь? То-то и есть, не любит!

Второй Дорош — в зеркале — печально кивает головой в знак согласия: не любит.

— Да и за что тебя любить, черта раскосого? — продолжает уничтожающе Дорош. — Ни красоты у тебя, ни поместьев, ни положения в свете. Был ты докторским сыном — им и останешься.

И снова тот, второй Дорош, безмолвно соглашается с ним.

— А у Элен у твоей, — издевается Дорош, — небось миллиона полтора, никак не меньше. Где уж ей с тобой знаться?.. А скажи по чести: ведь любишь ее? Любишь! Так-то оно...

В каюту кто-то стучит.

— Да, — неохотно произносит Дорош и отходит от зеркала. — Войдите.

Лейтенант Ильин еще с порога — так, будто между ними ничего и не произошло — восклицает:

— О бедный юноша влюбленный, опять взаперти и опять в грустном одиночестве?

Дорош холодно смотрит на него.

— Что-нибудь случилось?

Ильин размашисто опускается на стул.

— Совершенно ничего. Просто зашел проведать отшельника и заодно...

— Что заодно? — сухо спрашивает Дорош.

— Послушай, Алексей, — Ильин неожиданно меняет тон. — Давай откровенно поговорим о том, что произошло между нами.

Дорош выжидающе молчит.

— Я, конечно, ценю твой рыцарский поступок, — словно не замечая недвусмысленного молчания Дороша, продолжает Ильин. — Заступиться за матроса — это красиво, благородно. Об этом даже в романах пишут. Больше того, скажу откровенно: я на такие поступки просто не способен. Но, с другой стороны, мне жаль тебя. Нет, право: не слишком ли ты серьезно ко всему относишься?

— Могу просить более точного объяснения? — останавливает его Дорош. — К чему именно?

— А ко всему. К службе. К этому походу эскадры. К самой войне, наконец. Не понимаешь? Охотно объ-

ясню, — пожимает плечами Ильин и, пустив к потолку каюты красивое колечко дыма, изящно-небрежным жестом стряхивает пепел с папиросы.

— Мне лично кажется, — словно беседуя с туповатым учеником, продолжает он, — что весь этот наш поход, всю эту... военную авантюру нельзя рассматривать как что-то серьезное. Ты видел, что нынешней ночью на эскадре творилось? Ведь это же нонсенс, забавный курьез! Адмирал получил возможность убедиться, какие изумительные плоды дает его флотоводческий гений! А ты — из-за какого-то матроса... Зачем трепать нервы по пустякам? Авантюра остается авантюрой, а жизнь — жизнью...

— Авантюра? Не понимаю.

— Ах, оставь, пожалуйста. — Ильин делает брезгливую гримасу. — Или ты слепой или действительно наивный простак? Неужто тебе еще в Ревеле не было ясно, как формировалась наша... доблестная армада?

Он поочередно загибает пальцы на руке:

— Вот давай всех поименно переберем. Добрая половина эскадры, ты же сам превосходно знаешь, это старые разбитые корыта, а не боевые корабли. «Бородино» — новейший эскадренный броненосец, а и на нем при среднем ходе в двенадцать узлов уже эксцентрики перегреваются. На «Нахимове» и «Наварине» артиллерия и в подметки японской не годится. А «Орел»? «Олег»? «Изумруд»? Они же ведь вышли в плавание, даже не успев сделать положенных испытаний!..

Лейтенант Ильин торжествующе смотрит на Дороша.

— И ты не назовешь это авантюрой? Наш старикашка Рожественский, было бы тебе известно, наотрез отказался принимать всю эту рухлядь под свое командование, пока на него не прикрикнули. А уж когда прикрикнут, тут хочешь не хочешь, а подчинишься.

Ильин понижает голос и всем корпусом подается вперед:

— Там, в Петербурге, знаешь, как нас окрестили: самотопы!

Он удовлетворенно хохочет:

— Само-топы! А тут из-за какого-то матросишки — целая трагедия! Вот они где, трагедии! Матушка-Расея, которая и умеет-то всего только щи лаптем хлебать, в

поход двинулась. Подумать, а?.. Вот ты, фанатик, защитник алчущих и страждущих, — с кем думаешь победы одерживать? С этими твоими придурковатыми Кривоносовыми? Нет уж, уволь! Роланд-Кривоносов!..

Он смеется мелким, прерывистым смехом.

— Роланд! — довольный собственной остротой, сквозь смех повторяет Ильин.

Дорош чувствует, как что-то перехватывает ему горло. Он знает, с ним однажды так уже было, когда в Морском кадетском корпусе вздумали посмеяться над профессией его отца, и знает, что он страшен в эту минуту, потому что полностью теряет власть над собой.

— Так что же в этом... смешного? — сдавленно произносит он. — Что, я спрашиваю?

Ильин не замечает этого состояния Дороша, не видит, как тот бледнеет с каждой минутой.

— Смешного? Ничего. Просто, мне кажется, надобно цинически смотреть на все.

И поучающе поднимает палец кверху:

— Цинизм, знаешь ли, религия умных. Да в нашем положении ничего иного и не остается: мы ведь все равно... само-топы!

— Послушайте, господин лейтенант, — медленным шагом, угрожающе надвигается на него Дорош. — Да понимаете ли вы, что говорите?..

Ильин поспешно вскакивает со стула, пятится к двери, лицо его выражает неподдельный испуг:

— *Dieu, quelle virulente sortie!** Да ты и впрямь рехнулся!

Он торопливо закрывает за собой дверь. А Дорош тяжело опускается прямо на постель, переводит дыхание и затем обхватывает голову руками.

И вдруг он чувствует, как все начинает уплывать из-под него, будто он куда-то проваливается... Элен... Хохочущий Ильин... И ему становится страшно. Так страшно, что он кричит:

— Зиндеев!

Маленький, приземистый крещеный татарин Зиндеев привык по одному только виду угадывать настроение своего командира. Когда Дорош приказал ему подать рому, Зиндеев произносит обычное: «Слушаюсь, ваше

* Боже, какое нападение! (франц.)



благородие», но продолжает стоять у порога. Несколько минут он молчит и лишь после этого отваживается ча-
помнить:

— Нельзя ром, ваше благородие. Скоро на вахту...
И мягко говорит:

— Зачем горе к сердцу принимать? К сердцу при-
нимать надо только радость. А горе — тьфу!..

Для вящей убедительности он делает вид, что спле-
вывает.

Дорош поднимает голову и удивленно смотрит на
него:

— Ты о чем это, Зиндеев?

— Слыхал, ваше благородие? Адмирал «Аврору»
хвалил!.. Ночью лучше всех «Аврора» действовал.

— Хвалил, говоришь? — переспрашивает Дорош. —
А тебе это что — приятно?

— А как же? — неподдельно изумляется Зиндеев. —
«Аврору» хвалил — меня хвалил. Так? Так!

И тут же предлагает:

— Отдохнуть надо, ваше благородие. За ночь вы со-
всем измучились.

Он выжидающе мнется у двери каюты, всем своим
видом показывая, что, пока лейтенант не уляжется от-
дыхать, никуда он отсюда не уйдет. Выражение лица у
него серьезное и сосредоточенное, он привычным же-
стом поправляет бескозырку.

— На вахту? — Дорош задумывается, будто слышит
об этом впервые. — Добро. К черту ром!

И, не раздеваясь, валится на койку. Уснуть бы, скорее уснуть! Но сон как раз и не идет. То видится ему Элен, то вдруг рыжий поп Филарет заслоняет ее и осуждающе качает перстом, то возникает прыщеватое лицо Ильина.

Нет, это же форменная мука! «Цинизм — философия умных...» Подлец этот Ильин, больше ничего. И даже не цинизм в его рассуждениях — обыкновенная тупость!

А все-таки в чем-то он прав...

До вахты оставалось еще два часа, когда Зиндеев неожиданно приоткрыл дверь каюты и кашлянул в кулак.

— Ваше благородие... Их высокоблагородие просят к себе.

Дорош вскочил, чертыхнулся и начал поспешно приводить в порядок свой костюм.

В просторном командирском салоне, когда Дорош входит туда, в сборе уже почти все офицеры крейсера.

Как всегда, холодный и отчужденный, кажется, дремлет в своем кресле Небольсин, прикрыв тяжелыми веками глаза и положив на них кончики пальцев левой руки. Лейтенант Прохоров 1-й, верзила-флегматик, лениво поигрывает цепочкой часов. Старший артиллерийский офицер лейтенант Лосев, с широким, чуть рябоватым лицом землепашца, сидит на своем обычном месте — в углу дивана — и сосредоточенно грызет ногти, думая о чем-то своем, далеком. Неподвижно и солидно, словно аршин проглотил, возвышается за столом Старк 3-й.

Бравин, завидев Дороша, весело подзывает его:

— А, Алеша, подсаживайся сюда...

Дорош пробирается к Бравину и опускается в кресло рядом с ним.

— Зачем вызвали? — спрашивает он негромко. — Тебе неведомо?

Старк осуждающе поводит взглядом в его сторону: что еще за фамильярность?

Особняком ото всех, поодаль, сидит Ильин. При появлении Дороша он презрительно, чуть приметно усмехается.

— Зачем вызвали, не знаешь? — вполголоса повто-

ряет Дорош. Бравин поводит плечом: кто ж его знает? Посидим, послушаем.

Некоторое время в салоне держится напряженная, неестественная тишина, и Дорош, сознание которого с особенной отчетливостью фиксирует сейчас все происходящее вокруг, каждую деталь, каждую мелочь, с горечью думает: «В бой идем, а так и нет единства между нами...»

На палубе, за дверью, слышатся твердые шаги, и Небольсин вдруг резко поднимается:

— Господа офицеры!..

В салон входит командир крейсера.

2.

Матрос второй статьи Ефим Нетес решил дезертировать с крейсера. Он, конечно, понимал, какое наказание ожидает его, если побег не удастся: законы военного времени, да еще в боевом походе, беспощадны. Но и так продолжаться дальше не могло.

«Убегу! — в отчаянии думал он. — Благо, земля недалеко. Вот только стемнеет — прыгну за борт, а там будь что будет. Куда угодно, хоть к черту в зубы, лишь бы здесь не оставаться...»

Ну вот ведь так подумать: в чем он, Нетес, виноват, если вырос хилым и слабосильным, одна хвороба кончалась — другая начиналась, и так год за годом, до самого призыва на действительную службу!

Мать жалела болезненного Ефима, водила его по знахаркам, поила настоями каких-то трав, но все было напрасно.

Знахарки уж несколько раз предсказывали, что нет, не выживет он, потому что такие — светлоглазые — не жильцы на свете, и мать мало-помалу примирилась с этой мыслью: что ж поделаешь, на все божья воля. Но Ефим — бледный, узкогрудый, золотушный — каким-то чудом выживал, и тогда мать истово отбивала поклоны у темных икон, благодарила все святых и угодников за очередное спасение сына.

Отец молча, презрительно поглядывал на Ефима, и лишь однажды бросил походя: «Ефимка — ломоть отрезанный, для нашего мужицкого житья негод». С тех пор он словно перестал замечать сына, а всю любовь свою

обратил на меньшего — крепыша Васятку, песенника и озорника.

Никогда не думал Ефим, что возьмут его, такого, на военную службу, да еще во флот. Все получилось неожиданно быстро: мать не успела и поплакать на плече у сына, как новобранцев погрузили в теплушки, яростно вскрикнул разгоряченный паровоз, и состав покатился вдаль, увозя Ефима к неведомому берегу неведомого Балтийского моря.

Пытка, а не жизнь началась для Ефима с первого же дня, как только ступил он на палубу крейсера. Но особенно нескладно стало все получаться с недавних пор.

Дней десять назад боцман Герасимчук приказал Нетесу выдраить медные ручки на дверях офицерской кают-компаний.

— Чтоб у меня как жар горели! — предупредил боцман. — Чтоб сияние от них шло, понял? Имей в виду, самолично проверю, когда кончишь...

И — на всякий случай — устрашающе повел тонкой, изогнутой бровью.

По рассказам старослужащих во флотском экипаже, Нетесу почему-то представлялось, что все корабельные боцманы должны быть непременно широкоплечие, с медно-красными от загара лицами и лохматыми цыганскими бровями. И кричать на матросов им полагается густым, пугающим басом.

Герасимчук был совсем не таков. У него было худое, с мелкими чертами лицо не то монаха-отшельника, не то почтового чиновника, и брови у него были тонкие, и глаза — холодные, всегда прищуренные, и голосок негромкий, чуть надтреснутый, — совсем мирный, «штатский» человек. Но, наверное, никого на крейсере так не боялись матросы, как Герасимчука, потому что не было подлости, на которую он не оказался бы способен.

Зато старший офицер Аркадий Константинович Небольсин не чаял в нем души и не упускал случая поставить его в пример другим унтер-офицерам.

Целый час бился Нетес над этими треклятыми ручками, а ничего не получалось: то какие-то продольные полосы образовывались на податливой меди, то откуда ни возмись появлялись царапины. Оглядевшись по сторонам, он начал ожесточенно тереть ручку подолом своей недавно полученной и еще не обношенной робы.

— У-у, будь ты неладна! — в сердцах повторял он вполголоса. — Вот навязалась на мою голову, окаянная!..

И вот тут, точно он только того и ожидал, незамеченный Нетесом, откуда-то сбоку неслышно подкрался боцман.

— Что делаешь? — негромко, даже ласково произнес он. — Ты подумал, что делаешь? Казенную обмундировку переводишь? Деревня, мать твою...

— Дак ведь она ж не получается, господин боцман, — попытался оправдаться Нетес, виновато теребя край загрязненной робы. — Тру-тру, а она ровно как заклятая...

— Разговаривать! — освирепел боцман. — Ты, быдло, как стоишь перед начальством?

Он похоже скопировал Нетеса:

— «Тру-тру, не получается...» Вот двину разок-другой — сразу, глядишь, получится.

И Герасимчук замахнулся, намереваясь «проучить» незадачливого матроса. Нетес боязливо отшатнулся, сжался и втянул голову, ожидая удара.

— Боцман!..

Нетес отвел локоть, которым закрывал лицо от неминуемого боцманского удара, и оглянулся: поодаль стоял ротный командир лейтенант Дорош. С головы до ног измерил он гневным взглядом вытянувшегося во фронт Герасимчука. Даже около щупленького Нетеса боцман казался мальчиком-подростком.

— Если я еще раз увижу это, — лейтенант показал на некрупный, но жилистый кулак боцмана. — Понятно?..

Дорош не договорил и, круто повернувшись, пошел дальше.

— Ну, чего рот разинул? — уже не так строго, вполголоса крикнул Герасимчук Нетесу. — Продолжай...

Вот с этого самого дня и не стало житья на корабле матросу-первогодку Ефиму Нетесу. Боцман Герасимчук не упускал даже самой незначительной возможности придраться к нему. Он заставлял по несколько раз переделывать одну и ту же работу, внеочередные наряды сыпались на матроса беспрестанно, а боцман, словно с каждым днем все более входя во вкус этого тщательно продуманного издевательства, находил десятки причин

на дно, чтобы напомнить Нетесу о том, что он еще не забыл случая с лейтенантом.

«Хорошо, — всем своим видом недвусмысленно показывал Нетесу боцман. — Теперь я тебя и пальцем не трону. А только ты, голубчик, особенно не радуйся — ты у меня и без кулака взвоешь!»

— Нетес — ты, гляжу, и есть нетес, — похохатывая, глумился Герасимчук. — Бревно необтесанное. Чурка с глазами. Тебе бы только полтавские галушки глотать, а не на боевом корабле служить.

Он вдруг прерывал свою речь и командовал:

— А ну-ка, Нетес, на батарейную палубу — бегом марш!

Нетес бросался, сам не зная зачем, на батарейную палубу, но боцман резким окриком останавливал его:

— Отста-авить! А репетовать кто будет? Я?

Нетес возвращался, покорно репетовал, снова устремлялся на батарейную палубу, но боцман вновь останавливал его на бегу:

— Отста-а-вить!..

Матросы — те, что служили на «Авроре» уже не первый год и не слишком-то боялись боцманского окрика, пытались было усовестить Герасимчука: что, дескать, зря придиратся к парню, ведь и служит-то он всего первый год, несмышлениш еще в морском деле. Вот пообвыкнется — исправным матросом станет.

Но боцман одергивал их, как всегда, негромким, но внушительным начальническим окриком:

— Молчать! Это еще что такое?

Он переходил почти на шепот:

— Глядите у меня!..

И лицо его при этом становилось еще более бледным, а щелочки глаз устрашающе поблескивали из-под тонких, шнурочком, бровей.

— А ты, Ефим, вот что, — посоветовал Нетесу матрос Степа Голубь. — Вот будет скоро строевой смотр, выйди из строя да и расскажи обо всем их высокоблагородию. Капитану первого ранга то есть... Так, мол, и так...

— И пропал матрос не за пятак, — в рифму закончил Аким Кривоносов. — Эх, Степа, голубиная у тебя душа, под стать фамилии.

Душа у Степы и впрямь была мягкая, доверчивая — голубиная. При каждом крепком словце, которое нет-нет да и сорвется у кого-нибудь из матросов, он мучительно краснеет и растерянно шепчет: «Ну зачем же так?..» Лжи он не терпит, хвастовства и того больше, а об устройстве жизни полагает, что все в ней должно быть справедливым и все надо разделить поровну — и радости и печали, вот тогда и начнется настоящая жизнь.

— И откуда ты взялся... такой? — не раз изумленно спрашивали у него товарищи, любившие Степу, но относившиеся к нему, как к чудаку. — У тебя отец, мать кто, уж не святые ли, случаем?

— Ну какие там святые, выдумаете тоже! — смущался Степа. — Обыкновенные они. Отец — краснодеревщик. А мать — так... женщина.

— Да ну-у? — весело переспрашивали матросы. — Женщина?

— А, вас послушать!.. — необидчиво отмахивался Степа Голубь. И мечтательно добавлял: — У меня отец самоучкой до грамоты дошел. Книжек перечитал — страшное дело!.. С самим графом Толстым в переписке состоит, вот как!

— ...Да, браток, голубиная у тебя душа, — повторил Кривоносов.

— А что? — недоуменно спросил Голубь. — Не дело советую?

— Вот то-то и оно, что не дело, — подтвердил Кривоносов. Он продолжал, переходя на шепот: — Мил-человек, ты что ж, Степа, думаешь: командир станет на сторону матроса, а боцмана, надо полагать, по шеям с крейсера?

Аким жестко усмехнулся:

— Да никогда этого не было и не будет! Командир только и скажет: устав запрещает матросу жаловаться на трудности службы. А за то, что жалуешься, — получи-ка, Ефим Филиппов Нетес, препровождение в канатный ящик... суток на пять. Или стань под ружье. Вот оно как обернется-то, Степушка!

Но Голубь не сдавался:

— Вот и неправда твоя, — горячился он. — Наш командир не из таковских, понятно? Ты вспомни: хоть одного матроса он пальцем тронул?

— Э, — махнул рукой Кривоносов. — Знаешь, как у нас старики говорят: в волчьей стае сам волком станешь... Он, может, и добрый человек, жалостливый. А только этой жалости на всех не хватит... Меня вон тоже ротный, лейтенант Дорош, от Ильина оборонил, а теперь тот зверем глядит.

Ефим Нетес доверчиво посмотрел на Кривоносова и сокрушенно вздохнул:

— Выходит, на боцманов и управы нет, Аким Никитич?

С первого дня службы на корабле он, проникшись к Акиму Кривоносову безотчетным уважением, неизменно называл его по имени-отчеству.

— Управы? — негромко усмехнулся Кривоносов. — Так ведь боцмана, они, Ефимушка, тоже по палубе ходят, а не в воздухе летают... А на палубе, да еще на большом корабле — чего не случается?

Ничего из этих слов комендора не понял Ефим Нетес — утешает его Кривоносов, только и всего. Одно ему теперь стало ясным: если нет никакой управы на Герасимчука, надо бежать с крейсера, иначе все одно житья не будет.

Бежать... Снова, хоть на самое короткое время почувствовать себя человеком, а не рабочей скотиной, над которой может каждый измываться. А там — хоть все прахом!..

А куда бежать-то? Демьяновка родная, что стоит на мелководной речке Хорол, под Полтавой, — до нее и в три года, поди, не доберешься. Чужое море за бортом, чужая земля... Но все равно: куда путь приведет, только бы не оставаться на «Авроре»!

Улучив минуту, когда в кубрике никого не было, кроме дневального, Ефим начал связывать в узелок свой нехитрый матросский скарб. Расчет его был прост: незаметно спуститься за борт и вплавь добраться до берега. Более подходящего случая может долго не быть — «Аврора» в полумиле от береговой кромки, отмеченной цепочкой огоньков. Не звери же там, поймут матроса, приютят. Хоть, сказывают, и чернокожий народ, а все ж таки люди!

И в голове Нетеса уже созрел план, в осуществление которого ему хотелось самому верить. Сперва он наймется в батраки к какому-нибудь здешнему крестья-

нину — по хозяйству-то делать он все умеет! — потом, подзаработав деньжонок на дорогу, возвратится в Россию. Даст взятку волостному начальству, а уж оно знает, как нужно уладить дело, чтобы не судили его, Нетеса. И родителям как-никак подспорье будет: все-таки лишние руки в хозяйстве, а то ведь Васятка, младший брат, — несмышленищ, ветер у него еще в голове...

Занятый этими мыслями, он не слышал, как сзади подошел и остановился за его спиной Аким Кривоносов. Ефим вздрогнул, когда Кривоносов положил ему руку на плечо.

— Не то задумал, Ефим, — жестко сказал комендор. — Далеко все равно не уйдешь, земля тут скрозь чужая... А по военному времени за это знаешь, что полагается?..

Ефим вдруг тяжело опустился на палубу и, уткнув голову в колени, заплакал. Худенькие, узкие плечи его, на которых роба висела, как на вешалке, затряслись от рыданий.

Сквозь всхлипывания он повторял:

— Что ж мне теперь остается? Самого себя порешить?..

— Ну, что ты, браток, что ты? — растерянно произнес Кривоносов. — Вот уж это вовсе ни к чему...

Он говорил так ласково и участливо, столько теплоты было в его голосе, что плечи Ефима затряслись еще сильнее.

— Э, матрос, так не годится! — пытался успокоить его Аким Кривоносов. — Пойдем-ка лучше у фитиля воздухом подышим!..

Кривоносов вывел Нетеса на палубу. Возле борта он остановил Ефима.

— Гляди, — вполголоса сказал он, показывая на воду. Там, глубоко внизу, в иссиня-темной воде метались какие-то стремительные огромные рыбы, временами они выскакивали из воды, блестя грязно-серой чешуей; их было много, очень много.

— Акулы, понял? — почему-то переходя на шепот, сказал Аким. — А ты небось хотел...

И положив ему руку на плечо, он повел Ефима к фитилю, около которого уже толпились, перебрасываясь шутками, матросы.

— Ну-ка, братцы, потеснитесь,— весело сказал он.— Примите в компанию. Трубки наши, табак ваш!..

И шепотом подбодрил Нетеса:

— Веселей, Ефим, веселей! Никто не должен ни о чем знать, понятно? Хочешь, я сам с ротным потолкую? Может, он перед командиром крейсера словечко о тебе замолвит.

Он не знал о том, что ротный командир лейтенант Дорош в эту самую минуту говорит о Ефиме Нетесе.

3.

Когда командир «Авроры» вошел в салон, было два без минуты.

Егорьев слыл человеком непогрешимой аккуратности и точности. Он умудрялся ежедневно бриться даже в те дни, когда, мучимый изнуряющей тропической лихорадкой, лежал у себя в каюте. Во время погрузки угля, когда горы его лежали на нижних палубах и в матросских кубриках, в кондукторской кают-компании и на юте и сплошное, нерассеивающееся черное облако пыли все время висело над кораблем, один Егорьев ходил, блистая белоснежным воротничком так, словно пыль вовсе и не ложилась на этого человека.

Офицера, явившегося к нему на доклад небритым или в неотутюженном костюме, даже если это было в походе, Егорьев мог отправить назад не слушая:

— Знаете что, друг мой, явитесь-ка вы ко мне через полчаса.

Чаще всего случалось это с Терентиным, и вечно неунывающий мичман даже острил в кают-компании:

— Ну, друзья, кажется, за этот поход я наконец-то стану аккуратным человеком!

Но особенно требователен был Егорьев во всем, что касалось времени. Тот, кто хоть на несколько минут опаздывал на вахту, рисковал быть немедленно переведенным на другой корабль.

— Нет, сударь, нет. Я не могу понадеяться в бою на человека, не умеющего ценить времени, — беспощадно, напрямик говорил Егорьев.

Ровно в два капитан первого ранга сел в свое кресло за круглым столом, покрытым тяжелой бархатной скатертью.

Егорьев выглядел сегодня замкнутее и обеспокоеннее обычного. Дела, происходившие на эскадре, начинали не на шутку тревожить его.

Сразу же после выхода из Танжера, когда эскадра направилась дальше, огибая западный берег Африки, на некотором расстоянии от материка, корабли попали в полосу почти непрерывных штормов. Мощные тропические дожди чередовались с густыми туманами, море круглыми сутками, без передышки, клокотало, ревело, пенилось. И вот тут-то начали воочию проявляться и все дефекты технического оснащения эскадры, и все недостатки организации службы на ней. Строй кораблей растягивался неимоверно, тихоходные и неповоротливые транспорты то отставали, то вовсе выходили из колонны, задерживая общее движение. Эволюции производились до безобразия плохо, и Евгений Романович все более утверждался в мысли, что он впятеро, вдесятеро повысит требовательность к подчиненным, — пусть втихомолку ворчат, что он суров и придирчив! — но порядок и слаженность службы на «Авроре» сохранит любой ценой!

Этим, собственно, и было вызвано его сегодняшнее решение созвать всех офицеров корабля. Он верил, что они поймут его.

— Я пригласил вас, господа, с тем... — начал он ровным, чуть глуховатым голосом, внимательно оглядывая офицеров.

— Как в «Ревизоре», — не удержавшись, шепнул Дорошу мичман Терентин. Егорьев бросил на него мимолетный взгляд, улыбнулся краешками рта — холодно и отчужденно, и продолжал все так же ровно, делая между словами отчетливые паузы.

— ...с тем, чтобы довести до вашего сведения последний приказ флагмана эскадры.

— Четыреста первый!.. — вновь сострил вполголоса Терентин, намекая на то известное офицерам обстоятельство, что только с начала мая и до выхода эскадры из Либавы на корабли было разослано свыше ста приказов и четырехста циркуляров штаба Рождественского — сплошной поток распоряжений.

Егорьев и на этот раз оставил реплику мичмана без внимания. Он достал из пакета сложенный вчетверо лист и, развернув его, начал читать медленно и раздельно:

«...Вчерашняя стрельба велась в высшей степени вяло и, к глубокому сожалению, обнаружила, что ни один корабль, за исключением «Авроры», не отнесся серьезно к урокам управления артиллерией при исполнении учений по планам...»

Дочитав, Егорьев так же аккуратно свернул листок, спрятал его и снова обвел взглядом офицеров:

— Добавлю от себя, что, несмотря на похвалу, полученную «Авророй», я лично считаю, — не хотелось бы, конечно, вас разочаровывать, — что подобный приказ — не следствие хороших дел на нашей «Авроре», а скорее — результат неважного общего положения на эскадре. Вот так...

Он достал массивный портсигар, сделанный из кожи крокодила, положил его на стол, но так и не открыл.

Фраза Егорьева — после похвального приказа командующего эскадрой — прозвучала настолько неожиданно, что в салоне внезапно наступило замешательство. Небольсин укоризненно сжал тонкие губы, всем видом показывая несогласие с Егорьевым, лейтенант Ильин бросил в его сторону быстрый взгляд, который говорил: «Вот видите, видите!..» Терентин по-мальчишески растерянно приоткрыл рот: помилуйте, да как же это так? Дорош, весь подавшись вперед, восхищенно глядел на Евгения Романовича.

— Так вот, — продолжал Егорьев, глядя теперь на свой портсигар. — Вот мне и хотелось бы узнать на этот счет ваше мнение, господа...

Он выжидающе умолк, откинувшись в кресле.

— Позвольте, Евгений Романович, — первым поднялся лейтенант Старк 3-й. — Мне, сознаюсь, не совсем понятны причины вашего недовольства. По-моему, у нас нет оснований говорить о плохой организации службы на «Авроре». Кто показал во всех портах пример быстроты и слаженности при постановке на якорь и съемке с якоря? Мы! Кто взял приз по эскадре за быстроту погрузки угля в Танжере? Тоже мы!..

Егорьев поморщился: опять этот шумный выскочка разбрасывается местоимениями!

— Ну, если быть точным, — остановился он, — приз взяли не мы с вами, а матросы. А в этом есть некоторая разница.

— Да, но что такое матрос? — продолжал не соглашаться Старк.

Егорьев положил ладонь на портсигар.

— Прошу, лейтенант, выражаться обдуманнее. Матрос — основная сила на флоте, это известно еще со времен петровского Морского устава. И Нахимов, и Ушаков, и Лазарев нас этому тоже учили. Так-с!..

Словно не замечая, как покраснел от обиды опустившийся в кресло Старк, Егорьев продолжал:

— Замечено мною, что вахту нижние чины несут небрежно, а офицеры на это не обращают внимания. Дисциплина на корабле падает. Матросы разговаривают слишком громко и слишком, я бы сказал... открыто...

Дорош слушал Егорьева со все обостряющимся ощущением той большой тревоги, которая не высказана прямо в словах командира, но которая и ему, Дорошу, близка и понятна. Разве он сам не задумывался десятки раз в эти последние дни над тем, что происходит на эскадре и на самой «Авроре»? Разве не делал он мучительных попыток найти — хотя бы для самого себя — объяснение тому равнодушию, с которым правит службу большинство его матросов?..

Дорош почувствовал, что если сейчас, сию минуту он не встанет не выскажет всего что накопилось в его душе, ему будет еще труднее, еще невыносимее.

— Разрешите мне два слова сказать, Евгений Романович, — взволнованно поднялся он. Егорьев молча кивнул и с любопытством посмотрел на побледневшего от напряжения лейтенанта.

— Я полностью согласен, — резко, сам не узнавая своего голоса, заговорил Дорош. — Согласен, что организация службы на «Авроре»... оставляет желать лучшего. А отчего? Оттого, что некоторые из нас не считают матроса за человека. Да, не считают!..

Небольсин вскинул на Дороша настороженный, холодный взгляд: это еще что за новости? Он перевел этот взгляд на Егорьева, словно ища у того ответа или поддержки, но Евгений Романович в эту минуту разглядывал Дороша так, будто видел его впервые. А Дорош уже не замечал ничего: ни отчужденного взгляда старшего офицера, ни презрительной улыбки лейтенанта Ильина, ни сочувственного жеста Бравина.

— Да, мы требуем от матроса предельного напряжения духовных и физических сил. В особенности духовных: поход тяжел, матросы вдалеке от родины, от родных, вестей из России не имеют!..

— Скажите на милость, какие сантименты, — насмешливо процедил лейтенант Ильин, глядя не на Дороша, а куда-то в сторону.

— Нет, это не сантименты! — вспыхнул Дорош. — Это обыкновенная человечность, о которой вы, лейтенант, временами забываете. Я имею в виду случай с матросом Кривоносовым. А Нетес? Ведь затравили же молодого матроса!..

Он перевел взгляд на Егорьева:

— Считаю, что бить матроса только за то, что он во-время не уступил дорогу, подлость вообще. Издеваться над матросом в такой, — он сделал нажим на этом слове, — в такой обстановке, когда люди и без того измучены тяготами походной жизни, штормами, ночными учениями, каждочасной боевой готовностью, — подлость вдвойне!..

Дорош перевел дыхание и попросил у Егорьева разрешения сесть. Только сейчас, опустившись в кресло, он почувствовал, что его колотит нервный озноб. И все-таки он никогда не пожалеет о том, что высказал все это вслух! Пусть знает командир корабля, пусть все знают, что беспричинно он не даст в обиду ни одного своего матроса.

Но тут же — через мгновение — он начал сомневаться: а не с ветряными ли мельницами ты воюешь, смешной человек?.. Вот так и всегда у него: наберется смелости, рубанет с плеча, а потом терзается сомнениями!

Он упрямо сжал губы. Наступило долгое молчание. Ильин, лицо которого медленно покрывалось багровыми пятнами, пробормотал:

— Это уже слишком! Это, знаете...

Егорьев сумрачно посмотрел на него, пожал плечами:

— Я предупредил, что даю возможность каждому высказать все, что он думает. Зачем же так волноваться? Вы, очевидно, тоже хотите что-то сказать?

Но Ильин отмолчался.

Мичман Терентин с любопытством наблюдал за ко-

мандиром крейсера. Временами он отказывался понимать капитана первого ранга: то Евгений Романович вдруг становился яростным защитником бедненьких, многострадальных матросиков, то — вроде как сейчас — туманно отмалчивался, когда требовалось четко определить свое командирское отношение к происшедшему, то где-нибудь на артиллерийской палубе или на полубаке ни с того ни с сего напускался на первого попавшегося матроса за малейшую, ничтожную провинность, которую даже Небольсин простил бы. «Каковы же в конце концов взгляды и убеждения капитана первого ранга?»

И тут же подумал: а у меня-то самого есть какие-нибудь убеждения? Вот то-то и оно!..

Затянувшееся молчание нарушил Егорьев. Поднимаясь из-за стола, он сказал сухо:

— Ваша страстная речь, лейтенант, производит впечатление... Господа, больше вас не задерживаю...

На палубе мичман Терентин взял Дороша за локоть:

— Великолепно сказал, Алеша! Правда, несколько... экспансивно, зато смело.

Он вдруг расхохотался.

— А Ильин-то, Ильин!.. Ты видел, как он взбесился? Ведь ты же его, можно сказать, на обе лопатки положил. Нет, молодец, право!

И он снова захохотал, довольный.

Дорош досадливо поморщился.

— Ах, да в Ильине ли дело?

Терентин смутился.

— Нет, это я, конечно, так, между прочим. Разумеется, я тебя понимаю: издеваться над беззащитными матросами — ужасная гадость. Знаешь, у моего отца камердинер есть, Ерофей, так тот любит говорить: кто обижает собаку да юродивого — самый последний человек!..

Дорош покачал головой:

— Ох, Андрюша, хоть бы иногда ты подумал, что говоришь.

— А что, опять что-нибудь не так? Ну, прости — это ведь я не от злого сердца...

И, чтобы скрыть неловкость, он что-то замурлыкал под нос.

А Дорош думал о том, что вот и еще одним непри-

миримым врагом у него прибавилось: Ильин теперь до самой смерти не забудет обиды.

«Ну и пусть его!» — упрямо заключил лейтенант.

Г Л А В А 4

1.

Мичман Терентин, несмотря на все свое легкомыслие, почти точно определил душевное состояние Егорьева. Евгений Романович действительно не мог в последнее время разобраться в собственных взглядах на жизнь, на все, что происходило вокруг.

Прежде было как-то проще. И на Дальнем Востоке, и — позже — на Балтике он памятовал об одном: морскому офицеру нужно до тонкостей знать свое дело, быть выносливым, хладнокровным, общительным, а что касается политики и всего прочего — тут уж увольте, это не по его части. Спортсмен, весельчак, душа общества, он становился скучным и неинтересным собеседником, как только речь заходила о политических вопросах.

— Пас! — разводил он руками. — В этом, простите, полнейший профан.

И ему прощали, и того больше: начальство, похоже, даже поощряло его безразличие ко всему, что выходило за пределы интересов морской службы.

Но теперь жизнь все смелее и все настойчивее вторгалась в его дела, в его мысли, в его планы и заботы, и от нее некуда было скрыться.

Рост крестьянских волнений в России, слухи о которых до него доходили, тревожил его, хотя самому ему терять было нечего. Он кое-что слышал о социальных теориях некоего доктора из Рейнской провинции — Маркса, и даже — из любопытства — прочел однажды какую-то брошюрку русского марксиста Плеханова, но в возможность рабочей революции в России верил мало. Для революции нужны пролетарии, а на русской земле откуда им взяться? Разве что лет через сто пятьдесят — двести...

Вообще все это было страшно сложно, и Егорьев старался об этом не думать.

Вот что его все больше тревожило каждый день —

так это порядки в армии и во флоте. Частенько сталкиваясь в силу необходимости с чиновниками из Главного морского штаба, он временами диву давался: как могут люди удерживаться на высоких постах, будучи так чудовищно бездарны?

Единственный человек, с которым он позволял себе делиться этими мыслями, был сын Всеволод.

Но сын во Владивостоке, письма оттуда идут месяцами, да и не обо всем скажешь в письмах. И Егорьев мало-помалу приучил себя ни с кем не заводить разговора обо всем этом, тревожащем и волнующем.

Военные действия на Дальнем Востоке складываются определенно не в пользу России. Стессель шлет в Петербург телеграмму за телеграммой, сообщая о каких-то несуществующих победах русского воинства на полях Маньчжурии, а ведь каждому мало-мальски здравомыслящему ясно: дни Порт-Артура сочтены, вот-вот падет Мукден.

Да и что такое, собственно говоря, Стессель? Сейчас петербургские газеты взахлеб расписывают, как и умен он, и прозорлив, и мягкосердечен, и чуть ли не гений, а еще давно ли, кажется, в тех же самых газетах злые сатирики недвусмысленно намекали: не поймешь, мол, кто из них эполеты на плечах носит — он или его энергическая супруга?..

Он, Егорьев, видел однажды этого Стесселя в Петербурге: этаким самонадеянным тупица, осыпанный царскими щедротами. Противная манера — после каждой фразы глубокомысленно добавлять: «Нюте-с...» Как это — у Державина, кажется: «Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами»...

И вот он-то, да еще наместник царя Алексеев — страшно подумать! — нынче решают судьбы России на Дальнем Востоке...

Да и на эскадре тоже диву даешься, что делается. Флагман первого эшелона крейсеров контр-адмирал барон Энkvист отдает приказания одно неожиданнее и бессмысленнее другого, от Рождественского сплошным потоком идут всяческие циркуляры да предписания...

Рождественский, конечно, неглуп, хотя и нравом крутенек. Но адмирал отгорожен от эскадры плотным кольцом своих штабных чиновников, а уж это — сущее бедствие, да и только. Вот народец так народец! Пока в

чины не пробьется — отца родного не пожалеет, а пробился — так к нему не подступись. И каждый — полубог, и каждый мнит себя начальником из начальников!

Появится у тебя какая-нибудь здравая, полезная мысль — упаси бог поведать ее прямо адмиралу! Сначала изволь подробно изъяснить ее флаг-капитану, тот подумает, пожует этак неопределенно губами и, ежели сочтет твою мысль стоящей, велит представить ему подробную записку, да непременно перепечатанную на машинке, да чтоб по форме, и обязательно без подписи. Записка сия затем поступит на отзывы специалистам, те в свой черед поразмыслят, посомневаются и только после того напишут свои заключения. Засим, с заключениями, она снова поступит к флаг-капитану, и тот снова будет решать: а докладывать ли о ней адмиралу?..

Начальства хоть отбавляй, а порядка что ни день все меньше!

Успокоение от этих невеселых мыслей Евгений Романович находит в своем дневнике, который ведет с отменной аккуратностью с самого первого дня плавания эскадры. Поначалу это было так, утешением в минуту сомнений, а потом — постепенно — стало ежедневной потребностью: хоть часок в сутки выкроить для дневника.

Егорьев наугад раскрывает первую попавшуюся страницу и перечитывает добросовестно подробную запись о похоронах офицера с «Осляби» лейтенанта Нелидова, сына русского посланника в Париже.

Оно, конечно, о покойниках не принято говорить плохо, а только... Знавал он этого напoмаженного юнца, знавал!

Беднягу похоронили в трех гробах, дабы уберечь от глена, на случай, если папаша пожелает перевезти останки сына в Россию. И место на танжерском православном кладбище выбрали с расчетом: попесчанистее.

Отпевали его, помнится, все священники эскадры, для салюта над могилой была отправлена на берег целая рота матросов. А эти же самые матросы, пока шла церемония погребения, стояли поодаль и непочтительно перешептывались:

— От спиртного сгорел...

Что ж, пусть и эта запись сохранится в дневнике: авось потомки разберутся что к чему.

С детализацией, достойной истинного литератора, Евгений Романович описывает и то, как выглядят туземцы во встреченных на пути следования эскадры портах, и какие прямые и красивые рога у тамошних быков, и сколь шумно и суетно на базарах.

Не писал он только, — а если и записывал, то как бы между прочим, походя, — о делах на эскадре. Это уж он взял себе за твердое правило: оно так спокойнее. Он верил: найдутся со временем люди, которые сумеют прочесть между строк.

Вначале он предпослал дневнику своему слова философа Сенеки: у каждого века своя истина, — но потом и это убрал: слишком недвусмыслен намек.

Евгений Романович отодвинул дневник, задумался: смело давеча высказался лейтенант Дорош. Смело и, ежели по совести признаться, правильно. Ему, Егорьеву, уже докладывали о том, что кое-кто из офицеров, а по их образцу и боцманы, позволяют по отношению к нижним чинам много лишнего. Надо бы принять какие-то меры, но какие? Лбом стену не прошибешь. Стыдно сознаться, а этот прыщеватый Ильин чувствует себя во флотской службе куда прочнее и увереннее, чем сам он, Егорьев. У Ильина — такие связи при дворе, какие ему и не снились!..

Он барабанит пальцами по столу.

— Прошу разрешения, Евгений Романович?

— Да-да, пожалуйста, — он поспешно прячет дневник в ящик стола.

На пороге — лейтенант Ильин. Егорьев молча, выжидающе смотрит на него.

Лейтенант Ильин затаил обиду на Дороша и теперь с мстительностью, присущей недалеким и жестоким людям, искал повод, чтобы насолить самонадеянному, как говорил он, командиру роты.

Вскоре такой случай представился.

Егорьев решил провести сложные корабельные учения — с действиями артиллерии, с отражением условной минной атаки и заменой убывших матросов в орудийных расчетах и на других боевых постах. Надо же в конце концов иметь более или менее отчетливое представление о том, как сможет действовать экипаж крейсера в боевых условиях.

Правда, адмирал Энkvист, когда Егорьев доложил

ему о своем намерении, плана этих учений не одобрил и посоветовал придерживаться другого, более простого и привычного плана, однако Евгений Романович, не возражая вслух, — все равно от возражений пользы не будет! — решил, что делать все-таки надо так, как он задумал с самого начала.

Лейтенанту Ильину капитан первого ранга поручил быть во время учений посредником у тех артиллеристов, которыми по боевому расписанию командовал Дорош. В течение всех трех часов, пока шло учение, Ильин стоял в стороне, по-наполеоновски скрестив руки на груди, и не проронил ни слова. Ни одного замечания не сделал он Дорошу и после того, как учение закончилось.

...— Вот, Евгений Романович, написал, как вы приказывали, — вкрадчиво говорит Ильин и протягивает Егорьеву какой-то листок. Егорьев недоумевающе поднимает брови: помнится, он ничего такого Ильину не приказывал. Но лейтенант стоит навтыжку, подчеркнуто-официально, и Евгений Романович, слегка поморщившись, пробегает глазами поданную Ильиным бумагу. «Подлец, ах какой подлец!» — скорее изумленно, чем возмущенно думает он.

— Хорошо, благодарю вас, — помолчав, сухо говорит Егорьев. — Можете быть свободны. И не считите за труд — распорядитесь пригласить ко мне лейтенанта Дороша.

Ильин выходит из каюты ликующий: план удался на славу!

С замирающим сердцем явился Дорош к командиру корабля, предчувствуя, что предстоит какой-то неприятный разговор. «Уж не за мою ли речь, произнесенную тогда в салоне, Евгений Романович собирается меня разносить?» — встревоженно думал он. И тут же решил: будь что будет, а стоять на своем.

Командир крейсера расхаживал по каюте, стиснув в уголке рта мундштук папиросы. При появлении Дороша он нахмурился и, нетерпеливо остановив доклад лейтенанта, сухо сказал:

— Садитесь. Хочу сделать вам несколько замечаний.

Дорош насторожился. А Евгений Романович возвратился к столу, уселся в кресло и несколько минут молча разглядывал лейтенанта, будто сравнивая его с тем,

другим, который только что вышел из этой каюты.

Потом он отвел взгляд и взял со стола рапорт Ильина.

— Лейтенант Ильин, которому я приказал быть вчера у вас посредником во время корабельных учений, — Егорьев говорил сердито, теперь уже совсем не глядя на Дороша, — представил мне нынче обстоятельный рапорт.

Дорош сдержал вздох облегчения: ах, вот оно что! Ему на какое-то мгновение даже стало весело: что ж, это похоже на Ильина.

А Егорьев потянулся к пепельнице.

— В рапорте этом отмечается, что вы... в корне неправильно обучаете комёндоров и орудийную прислугу... Выдумываете какие-то необычайные условия, оставляете только треть расчетов у орудий — словом, делаете совсем не то, что требуется по инструкции.

Дорош почувствовал, как жгучая волна обиды перехватила ему дыхание.

— Но позвольте, Евгений Романович, — сдавленным голосом возразил он. — Что ж дурного увидел во всем этом лейтенант Ильин?

— А вы полагаете, что отступать от инструкций — это нормально?

— В бою сама обстановка заставит не только отступать от всех этих инструкций, а, может быть, даже вовсе о них забыть, — не сдавался Дорош. — Морской бой быстротечен и тяжел — почему же я должен приучать матросов не к самому тяжелому, а к тому, что полегче и попроще? Это противоречит простейшей логике!..

Он чувствовал, что говорит нескладно и неточно, однако чем больше горячился, тем нескладнее становилась его речь, и он мысленно ужасался: ведь не поймет его Егорьев! А тот слушал его с нескрываемым любопытством: как достал из портсигара новую папиросу, так и не прикурил.

— Еще петровский Морской устав предусматривал создание наиболее трудной обстановки в учебе, — продолжал Дорош, не замечая, что он почти слово в слово повторяет то, что говорил Егорьев на давешнем совещании офицеров. — Суворов позже говорил о том же самом: тяжело в учении, в бою легко. А вы требуете, чтобы я создавал... обстановку полегче.

Егорьев сделал протестующий жест, но лейтенант его не заметил.

— Как хотите, Евгений Романович, а либо я вас не понял, либо... Либо вы меня в чем-то не поняли...

Дорош остановился, переводя дыхание.

— Ну, а как вы думаете... — осторожно произнес Егорьев. — Вы отступите от инструкций, я отступлю... — У него чуть не сорвалось с языка: «Я давеча отступил». — Получится из этого что-нибудь путное?

Это было настолько упрощенным истолкованием всего происшедшего, что Дорош с изумлением поглядел на капитана первого ранга. А тот наконец-то вспомнил о папиресе. Поднося к ее кончику желтый, трепещущий огонек спички, он вдруг спросил:

— Почему вы не поделились своими мыслями с лейтенантом Ильиным?

— Да просто потому, что он вообще ни о чем не пожелал со мною разговаривать.

«Вот бы кого послушать адмиралу Энkvисту», — невольно подумал Егорьев, продолжая искоса разглядывать лейтенанта. И от этой неожиданной мысли ему стало весело: нет, не все на флоте так уж плохо, если есть еще подобные горячие юноши!..

Егорьев положил спичечную коробку на стол.

— Хорошо. Можете идти. Я почти удовлетворен вашим... темпераментным объяснением.

В тот же день приказом по кораблю капитан первого ранга объявил, что считает необходимым поставить всем офицерам в пример методу лейтенанта Дороша в обучении нижних чинов.

Ильин после этого еще больше возненавидел Дороша.

«Плебей поддерживает плебей, — презрительно улыбаясь, думал он. — От Егорьева, впрочем, ничего иного и ожидать нельзя было!..»

2.

...Подошел ноябрь. В России к этому времени уже и холодный ветер в обнаженном березняке гуляет, и заморозки по утрам прихватывают, и высокое, отчетливосинее небо как будто поднимается еще выше. А здесь — теплынь, духота, от которой нет спасенья даже ночью,

низкое небо, усеянное неправдоподобно большими звездами, и это непрерывное, поначалу кажущееся прекрасным, а потом все более раздражающее мерцание воды за кормою.

В Дакаре, который по всем справочникам значился как маленький городок у мыса Зеленого во Французской Сенегалии, а на деле оказался большим городом, разбросанным на много километров вокруг падковообразной огромной бухты, надежда моряков на то, что им удастся хоть денек-другой отдохнуть на берегу, не оправдалась.

Уже на следующее утро после прихода кораблей на рейд адмирал Рождественский приказал принять запас угля в полтора-два раза больший, чем обычно. Это было настолько странным, нелепым и непонятным, что Егорьев распорядился переспросить: 'нет ли в депеше, принятой по беспроволочному телеграфу, какой-нибудь ошибки.

Впрочем, как только Евгений Романович попал на берег, все разъяснилось. Оказывается, в Дакаре приход эскадры уже давно, с конца сентября, ожидали, по распоряжению из Петербурга, немецкие и английские пароходы с сорока тысячами тонн угля. Каждому «угольщику» платили за простой пятьсот рублей в сутки, сама стоимость угля была астрономической, а эскадра между тем могла принять всего лишь одну четверть того огромного, ненужного, бессмысленного запаса топлива, который был завезен сюда.

Зато о снабжении эскадры местной валютой Петербург забыл позаботиться, и командиры кораблей проводили все дни на берегу, объезжая банки и торговые дома в надежде на кредит. Но все оказалось безуспешным, и ни свежего провианта, ни медикаментов приобрести не удалось: только уголь, уголь и уголь...

Его грузили непрерывно, днем и ночью. Рвались мешки, грохотали и скрежетали использованные для загрузки тележки артиллерийской подачи, шатались от усталости грязные, охрипшие и оглохнувшие люди. На «Авроре», как, впрочем, и на других кораблях эскадры, уже давно были завалены кочегарки, жилые носовые помещения; горы угля преграждали доступ свежего воздуха, и температура в матросских кубриках стала адски-невыносимой, а пароход «Орион» подходил снова

и снова, и немец капитан зычно-нетерпеливо кричал в мегафон:

— Шнеллер, шнеллер! Быстрее!..

Когда наконец-то в среду, третьего ноября, в три часа дня, эскадра ушла из Дакара и легла курсом на Габун, все облегченно вздохнули.

...С того самого дня, когда Аким Кривоносов помещал Нетесу бежать с крейсера, по-дружески приободрил и обласкал его, Ефим Нетес, со всей своей нерастраченной жаждой хотя бы самого маленького человеческого участия безотчетно потянулся к сильному и, как ему казалось, всезнающе-мудрому матросу-богатырю.

Расположился к Нетесу, неожиданно для самого себя, и Кривоносов.

Так началась дружба двух этих очень разных людей, дружба, поначалу вызвавшая у матросов недоумение, а потом — почтительное уважение.

На полубаке их теперь все чаще можно видеть сидящими в обнимку: повеселевшего Нетеса и Акима, который вполголоса рассказывает ему о своей Кате.

— Понимаешь, Ефим, — смущенно-счастливым голосом говорит Аким Кривоносов. — И знаем мы друг друга недавно, и серьезного промеж нас ничего еще нет. А вот так она припала к сердцу, что, кажись, только с сердцем ее из меня и вынуть можно... Днем ли, ночью ли — все ее одну вижу.

Он затягивается махорочным дымком, погруженный в воспоминания.

— Отец у нее старик. Тоже балтийский матрос в прошлом, между прочим. Спрашивает у меня: пошлют тебя, Аким, своих же братьев — рабочих — усмирять, ну, забастовщиков, понимаешь? Так вот, спрашивает: ежели пошлют — пойдешь?

— И что же ты ответил? — шепотом произносит Нетес, с жадностью вглядываясь в лицо комендора.

— Да то же, что и ты, верно, ответил бы, — задумчиво отзывается Аким. Нетес молча, понимающе кивает: известное дело, тут другого ответа и быть не может.

— Ну, а еще... о чем он спрашивал? — продолжает допытываться Ефим.

— О житье-бытье нашем. Трудно ли нам. Говорит: простому человеку в России везде нелегко.

— Это-то верно, — тяжело вздохнув, соглашается Нетес. — У меня, знаешь, папаня — крутого нраву человек, и я его здорово за это не любил. С детства самого. А вот теперь, как по-взрослому подумаю обо всей его жизни, как это он мыкал с нами вековечное горе, хлеба с мякиной и то вволю не едал, — не могу на него сердиться. Не могу!..

Мимо проходит недовольный чем-то Герасимчук. Он останавливается, косится на матросов, те торопливо вскакивают, молча вытягиваются. Боцман стоит минуту, другую, качает головой и, проворчав себе что-то под нос, шагает дальше.

— Шагай, шагай! — негромко говорит вслед Кривоносов, снова усаживаясь. — Ты, шкура, дошагаешься!..

— Тиш-ше! — испуганно шепчет Нетес. — Услышит...

— А леший с ним, — машет рукою Аким. — С ним разговор еще впереди!..

А чем угрожает он боцману — и сам не знает...

Многое передумал после памятного разговора с Катиним отцом Аким Кривоносов. Время, что проведено было в плавании, словно начисто изменило этого застенчивого, чуточку мечтательного крестьянского парня. Он стал внимательнее приглядываться к товарищам по кубрику, вслушиваться в их обрывистые, полупафосами, разговоры у фитиля и вдруг понял, что недоволен службой не он один.

Сколько раз, случалось, вечером, перед сном, когда койки уже были разобраны, молитва прочитана и насто-роженные унтеры отправлялись перекурить, начинался в кубрике мимолетный матросский разговор. Кто-нибудь ругнет вполголоса придиру-унтера, кто-нибудь добавит, что все они, подлюги, таковы — лишь бы им перед начальством выслужиться; кто-нибудь вспомнит о доме: «Эх, надрывается там батя, поди, без меня!..» — но вдруг прозвучит предостерегающий окрик: «Дракон!..» — и снова тишина, снова томительное, тягостное молчание.

И это — жизнь?!

А вот что делать, этого Аким Кривоносов не знает. Не знает, и никто на корабле ему, наверное, подсказать не может.

Изредка, через писаря, который стоял поближе к начальству, он узнавал скудные новости с родины, из России. Они были непонятны и противоречивы. На Херсон-

щине и в Таврии, где-то под Орлом и неподалеку от самого Петербурга крестьяне чинили расправу над своими помещиками, жгли помещичьи усадьбы, делили помещичий хлеб и землю. Но налетали казаки и жандармы, уводили зачинщиков — жизнями расплачивались люди за свой прорвавшийся наружу гнев.

Приближался тысяча девятьсот пятый год.

...Ах, знать бы Акиму, что делать?

А Нетес тянется к нему, жадно ловит каждое его смелое, обнадеживающее слово. Да и разве один Нетес?

Все дальше на юг, огибая Африку, уходила русская эскадра. Штормы сменялись штилями, мелькали яркие, как фазанье оперение, короткие закаты и рассветы, а корабли все шли и шли вперед.

— Названия все какие-то чудные, не нашенские, а жизнь, поглядеть, везде одинакова, — размышлял Ефим Нетес, наблюдая, как на берегу, в одном из очередных портов, бронзовокожие — то ли от тропического загара, то ли от рождения такие — грузчики сгибались под тяжелыми тюками.

— Ну, а ты как же думал? — удивлялся Аким Кривоносов. — Или, может, тутошний помещик добрее твоего, хорольского?

— Уж это вестимо, — соглашался Нетес. — У нас там, на Полтавщине, знаешь...

Ему было приятно, когда Аким заговаривал о доме, о тех, кто остался там, далеко на родине. Пускай неласковая, голодная, нищенская — она все-таки оставалась родиной.

И как-то так само собой получалось, что в долгих и бессистемных этих разговорах Нетес больше расспрашивал, а Аким объяснял. Лишь иногда комендор смущенно сознавался другу:

— Да ты что думаешь, я все на свете, по-твоему, знаю? Нет. Я сам еще во-он сколько не понимаю.

— Нет, Аким Никитич, — почтительно не соглашался с ним Нетес. — Ты знаешь столько, что мне и в век не узнать.

— Эх, Ефим, Ефим, — мечтательно вздыхал комендор. — Подучиться бы малость нам с тобой, глядишь — и жизнь по-другому бы у нас пошла!..

Отец Филарет, не стесняясь сана своего, тоже по-

чему-то зачастил в последнее время на полубак, но друзья, едва заметив его, заводили нарочито громкий разговор о чем-нибудь таком, отчего батюшка сплевывал, вспоминал вместе с евангельскими словами матросскую прабабушку и убирался восвояси.

Ефим Нетес провожал его долгим, тяжелым взглядом и вдруг — без видимой связи — спрашивал:

— А куда нас, Аким, везут, как думаешь?

— Куда? — усмехнувшись, переспрашивал комендор. — Да уж не на солнышке загорать, будь спокоен. Хоть матросу вопросы задавать и не полагается, а скажу: япошек бить везут, понял? Вот как ударим мы с тобой из главного калибра по этой ихней Японии, так, надо думать, и у вас на Полтавщине, и у нас на Черниговщине мужикам сразу легче жить станет. Как полагаешь?

И вприщур глядел на приятеля.

— Япошек? А ты, Аким, хоть одного живого япошку в глаза когда видел?

— Не доводилось. У нас, на Черниговщине, их маловато, — отшучивался Кривоносов.

Иной раз подсаживался к приятелям Степа Голубь. Интересный это был человек: часами он мог слушать, не проронив ни слова. Поглядишь на него со стороны — кажется, будто вовсе и не слушает он, а погружен в какие-то свои раздумья. Но вот умолкнет Аким Кривоносов, и Степа вдруг, не глядя на него, скажет:

— Ну, а дальше-то что? Значит, мясники и взялись бить бродяжку? Это, стало быть, за полфунта ливера? Так ведь ему ж полушка цена, ливеру тому. Убили человека?

И сам себе убежденно отвечал:

— Убили. И не за ливер. За то, что был без места в жизни, вот за что.

Он поднимал на Акима ясные, майской голубизны задумчивые глаза.

— Каждому человеку в жизни место иметь надо. Правда, Аким Никитич?

И тут же, отвечая каким-то другим своим мыслям, спрашивал:

— А и верно, братцы, куда же это мы идем? Плы-
ваем, плывем, а конца-краю нет...

О том, что ожидает эскадру впереди, немало споров и разговоров было и среди офицеров. Мичман Терентин, внимательно следивший за ходом военных событий на Дальнем Востоке, доказывал, что, пока эскадра доберется до Владивостока, Япония будет разгромлена и поставлена на колени.

— Ты сам посуди, — горячился он, — что — Россия и что — Япония: слон и моська. Помнишь, как во французской басенке у Лафонтена...

— Угу, — насмешливо перебивал его Дорош. — Япония, разумеется, будет повержена в прах, а во дворце посрамленного микадо офицеры крейсера первого ранга «Аврора» сыграют свадьбу мичмана Терентина с самой хорошенькой японской гейшей.

— Да ну тебя, право, — обижался Терентин. — Я серьезно говорю.

— А если серьезно, тогда слушай, Андрюшенька, что скажу я тебе...

Он остановился. Помолча:

— Ты, конечно, помнишь покойного адмирала Степана Осиповича Макарова?* Не приходилось прежде с ним встречаться?

— Бородач? Ну как же, помню, конечно. Нелепейшая смерть! Ведь на «Петропавловске» мог и не он в море выйти... Знаешь, он частенько заезжал к отцу, когда был главным командиром Кронштадтского порта. Только мой отец, между нами говоря, почему-то его недолюбливал. Прожектером называл. Мечтателем.

— Еще бы! Адмирал адмирала редко похвалит. Ну, так вот: при всем глубочайшем уважении к твоему отцу, я должен заметить тебе, что, по моему чистосердечному убеждению, Степан Осипович был человеком незаурядного стратегического таланта. В осажденном Артуре, куда мы с тобой сейчас идем, душой обороны, на мой непросвещенный взгляд, был все-таки он, а не Стессель. Побольше бы России таких людей...

— Возможно, но к чему здесь Макаров, в нашем споре? — недоуменно перебил Терентин. — Ведь у нас с

* Выдающийся русский флотоводец и ученый, вице-адмирал С. О. Макаров погиб 31 марта (13 апреля) 1904 г. на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на минной банке.

тобой речь шла о военных преимуществах России, а не о добродетелях покойного адмирала...

— Объясню, Андрюшенька, все объясню, не торпись.

Дорош полез в боковой карман кителя и извлек оттуда маленькую записную книжечку в красном сафьяновом переплете.

— Апреля двадцатого дня, — продолжал он, — одна тысяча восемьсот девяносто шестого года... Обрати внимание, Андрюшенька: девяносто шестого, то есть еще за восемь лет до нашего с тобою спора, вышеупомянутый адмирал Макаров представил Главному морскому штабу отчет о плавании Средиземноморской эскадры под его начальством в Тихом океане и о возможных военных действиях на Дальнем Востоке... Не приходилось встречаться с таким документом?

Заинтересованный мичман Терентин насторожился:

— Нет. И что же?

— А то, что, заглядывая в сравнительно недалекое будущее, сей нелюбимый твоим батюшкой адмирал писал...

Дорош раскрыл книжечку, но прочел, почти не глядя в нее — должно быть, по памяти:

— «Намерения японцев весьма обширные: их агенты изучают и Филиппинские острова, и Австралию, и Сандвичевы острова. Удвоение их флота и армии не оправдывается оборонительными целями. Увеличение армии идет с целью завоевательской и диктаторской. Быстрые шаги Японии угрожают более всего торговле Англии, но пока что страна эта молчит...»

— Дальновидно, — согласился Терентин.

— Вот именно, — подтвердил Дорош и поднял взгляд на мичмана: — Как видишь, Андрюша, предупреждение о военной опасности на Дальнем Востоке, и притом предупреждение очень серьезное и обоснованное, мы имели еще восемь лет назад. Срок достаточный для того, чтобы приготовиться хотя бы к обороне, если уж не к наступательным действиям. А к войне по-настоящему мы все-таки не подготовились. И теперь расплачиваемся за это. Не мы с тобой, конечно, а те тысячи безымянных, на маньчжурских полях...

Дорош умолк.

— Да и мы тоже, — после минутного молчания раздумчиво произнес он. — Кто знает...

— Терпеть не могу похоронных мелодий! — возмутился Терентин. — Ты мне лучше вот что объясни: а что же предлагал... этот твой пророк? Что, по его мнению, для этого нужно было?..

— О том, что нужно было для этого, Степан Осипович Макаров тоже предусмотрительно говорил, — перебил его Дорош. — Слушай дальше, что сказано в отчете: «Могущество России значительно превосходит могущество Японии, но на Дальнем Востоке нам трудно иметь столько же сил, сколько у наших противников. Необходимо иметь в виду, что наш Дальний Восток есть не более как колония... Борьба наша на Дальнем Востоке не будет борьба двух государств, а борьба одного государства против колонии другого...»

Он захлопнул книжечку.

— Вот к каким выводам приходили уже тогда некоторые светлые головы, Андрюшенька. Согласимся, что выводы довольно печальные.

— И как же все это понимать? — недоуменно спросил Терентин.

— А уж это как умеешь, — пожал плечами Дорош. — Я лично понимаю так: когда ввязываешься в войну, отнюдь не необходимую, взвесь предварительно — и не один раз взвесь! — все ли ты сделал для обеспечения победы. Всякая война — это прежде всего ответственность перед историей.

Очевидно, почувствовав, что сказал больше, чем хотел, Дорош круто изменил направление разговора:

— Пойдем-ка лучше ко мне, партийку в шахматы сыграем. От раздумья, говорят, цвет лица портится. Пусть за нас думает адмирал Энkvист, ему это по чину положено.

И первым поднялся, показывая, что разговора продолжать не намерен.

По дороге в каюту Дороша мичман доверительным шепотом спросил:

— Послушай, Алексей, уж ты не социалист ли случайно?

Дорош остановился, изумленно поглядел на Терентина, расхохотался.

— А ты не у отца ли Филарета подозрительности

научился? Неужели каждый хоть мало-мальски самостоятельно мыслящий, а не повторяющий готовые прописи, непременно социалист?

Терентин обиженно замолчал.

«...Нет, а может, и в самом деле Алеша — социалист? — подумал он. — Вот интересно-то!..»

Кто они такие — социалисты, он представлял себе довольно туманно.

3.

В пятницу, девятнадцатого ноября, перешли через экватор и вступили в Южное полушарие.

Лекарь Бравин и мичман Терентин еще накануне, за обеденным столом, переглянувшись, завели осторожный разговор о том, что неплохо было бы это предстоящее событие отметить традиционным морским празднованием.

— Мы, Евгений Романович, конечно, понимаем: условия боевого похода эт цетэра, * — тянул мичман, заговорщически подмигивая Бравину. — Но, с другой стороны, для команды разрядка была бы: скучища же ведь у нас зеленая!..

— Нет, отчего же — скучища? — спокойно возразил Егорьев. — Мне кажется, матросам у нас просто некогда скучать. Занятия со специалистами, чистка абордажного оружия, вахты...

— Это все верно, — уныло согласился мичман и бросил в сторону Бравина свирепый взгляд: «Да поддержите же меня, черт вас возьми!»

Егорьев улыбнулся.

-- Ох, не умеете вы хитрить! Думаете, я не знаю, что у вас давно уже все подготовлено? Ну, показывайте вашу программу, мы ее тут сообща обсудим.

...Праздник открылся процессией богов. Мало кого смущало то обстоятельство, что у голого по пояс Посейдона, когда набегавший ветер относил в сторону его пеньковую полуаршинную бороду, на мускулистой груди виднелась вытатуированная черно-синяя, от плеча до плеча, надпись: «Маруся, твой до гроба!» Мало кого смущало и то, что на голове у Посейдона вместо поло-

* И прочее (лат.).

женной ему по чину короны была водружена какая-то бумажная шляпа, на манер наполеоновской треуголки: портной матрос Шаповаленко, которому поручено было изготовление короны для бога океанских глубин, обжег руку утюгом и уже ничего мастерить не мог.

— У-у, чертово отродье! — буйствовал перед самым началом праздника разгневанный Посейдон. — Заставь дурака богу молиться, лоб разобьет!..

Амфитрита, верная супруга Посейдона, выглядела не менее странно. На ней была юбка до пят, перешитая из офицерской ночной сорочки самого большого размера, полосатый матросский тельник с какими-то затейливыми бантиками на плечах, к непослушным волосам, подстриженным бобриком, сзади была прикреплена мощная пеньковая коса, тоже вся в бантиках; голову Амфитриты венчал неизвестно откуда добытый Терентиным старушечий чепчик с тонкими голландскими кружевами.

Широкие запястья царицы были украшены цепочками от часов; Амфитрита шествовала босиком.

Но все это мало кого смущало. Не смущало зрителей и то, что Амфитрита разговаривала с супругом и с окружающими хриплым, простуженным басом, — при любых обстоятельствах это были боги, и им воздавались достойные почести.

За божественной супружеской четой шествовал оркестр, сплошь состоящий почему-то из негров; в свите богов, при определенном напряжении фантазии, можно было узнать и арлекинов, и чертей, и рыб, и легкомысленных воздушных балерин; все это шествие, под неистовый грохот марша, специально к празднику разученного, прошло от носа до кормы и по всем помещениям корабля.

— Люди добрые, — останавливаясь наконец перед вахтенным офицером и трижды стукнув о палубу самодельным трезубцем, провозгласил Посейдон, — отвечайте, люди добрые, кто вы такие и куда путь держите?

Посейдон почему-то изъяснялся с заметным волжским оканьем, время от времени покашливая в кулак.

— Мы — русские моряки, — серьезно отвечал мичман Терентин, смешливо покусывая пухлые губы. — А путь держим к берегам Японии.

— А зачем же вы туда путь держите? — продолжал допытываться любознательный Посейдон.

— Бить — топить неприятеля нашего.

— Добре! — похвалил Посейдон и, явно выходя за рамки выученной роли, посоветовал: — Всыпьте ему, да покрепче, в гроб, в зюйд-вест, в попутный ветер...

Матросы, столпившиеся вокруг, дружно хохотнули. Амфитрита, должно быть непривычная к подобному жаргону, стыдливо опустила глаза.

— Одначе хоть и за добрым делом вы идете, а выкуп с вас, все одно, полагается, — не растерялся Посейдон, снова входя в роль.

И вот тут-то мичман Терентин пустил в ход козырный номер подготовленной им программы. По его незаметному сигналу на палубе появились матросы, загримированные под офицеров «Авроры». Типаж был подобран настолько точно и сходство оказалось таким поразительным, — не зря Терентин с Бравиным трудились все утро, — что зрители изумленно ахнули.

Особенный восторг вызвал машинист Иванов, изображавший Аркадия Константиновича Небольсина. Он шел, высоко выбрасывая вперед прямые, негнущиеся ноги и словно раздвигая остановившимся холодным взглядом толпу матросов; тонкие губы его были плотно сжаты, большой палец левой руки заложен за борт кителя. Кто-то встревоженно вздохнул, кто-то попятился. Мичман Терентин растерялся: матрос оказался более даровитым актером, чем он предполагал.

Иванов — Небольсин — остановился в центре толпы, намереваясь что-то сказать, но тут его кто-то предостерегающе дернул за рукав.

На палубе в эту минуту показался настоящий Небольсин. С минуту он молча недоуменно глядел холодными недобрыми глазами на своего двойника, потом так же молча, круто повернулся и, не сказав ни слова, легко взбежал по трапу на мостик.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — разочарованно прошептал кто-то в толпе матросов.

Праздник был испорчен.

Вечером в кают-компании Егорьев, — он весь день пробыл на «Суворове» по вызову адмирала Рождественского, — поинтересовался, достаточно ли удачно прошло празднество.

— Недурно, — сухо бросил Небольсин, не поднимая взгляда от тарелки.

Мичман Терентин мучительно покраснел. Но уже через минуту он, как всегда, забыл о своих печалях и невзгодах и заразительно хохотал, слушая какую-то забавную историю, которую вполголоса рассказывал всегда уравновешенный, спокойный лейтенант Лосев.

Егорьев догадался, что в его отсутствие произошло что-то неприятное, досадное, но расспрашивать не стал. Из-за стола Небольсин вышел первым.

Г Л А В А 5

1.

Без малого два месяца проболела Катя, и вконец отчаявшийся Митрофан Степанович начал терять всякую надежду на выздоровление дочери.

Ночи напролет металась она в бреду, шептала что-то пересохшими, почерневшими губами, стонала, звала то отца, то Акима, то снова отца; и старик, сидя у ее кровати, с тоской глядел на дочь, бессильный хоть чем-нибудь помочь ей.

Каждое утро у него начиналось с одних и тех же забот. Осторожно, чтобы не потревожить впавшую в забытие Катю, он выдвигал один за другим скрипучие ящики старенького комода: что еще можно продать? И на врача и на лекарства требовалось так много денег, а от тех жалких грошей, которые накопила Катя за два года работы на фабрике, давным-давно уже ничего не осталось...

Ровно в полдень приезжал врач. Толстенский, неизменно веселый, потирающий руки так, будто визиты к девушке доставляли ему огромное удовольствие, он входил и, сбросив на руки Митрофану Степановичу тяжелую доху, склонялся над постелью Кати всегда с одним и тем же вопросом:

— Итак, что мы наблюдаем сегодня?

Он щупал пульс, клал холодную, мягкую руку на лоб девушки и говорил:

— Недурственно-с. — И, словно кто-то с ним не соглашался, продолжал тоном, не допускающим возражений: — А что думаете, организм молодой, свое возьмет.

Поправитесь, красавица, поправитесь... Я еще на вашей свадьбе погуляю. — Он оборачивался к Митрофану Степановичу: — Куриный бульон плюс жажда жизни — и победа обеспечена.

Он произносил это бесстрастно, будто заученно, снимая с вешалки свою тяжелую доху.

И только на крыльце, когда Митрофан Степанович шел провожать его, добавлял уже совсем иным голосом:

— Редчайший по тяжести случай двустороннего воспаления легких. Однако будем надеяться...

Небрежным жестом пряча деньги в карман, он никогда при этом не договаривал, на что именно нужно надеяться.

Митрофан Степанович шел с ним до калитки, пытаясь на ходу заглянуть ему в глаза и, тоскливо спрашивал:

— Так на что же надеяться-то? Ведь извелась она вся, глядеть на нее — и то больно. Кожа да кости остались...

Но доктор уже не слушал старика: его ожидали другие визиты, он торопился, он и так непростительно долго задержался здесь, старик должен понимать, что это не так просто — быть уже довольно известным в Петербурге врачом.

— Послушайте, голубчик, — бесцеремонно советовал доктор Митрофану Степановичу. — А почему бы вам не пригласить вместо меня другого, более... доступного врача?

Митрофан Степанович вздыхал и признавался, что приглашал уже — своего, фабричного, да ведь от них, от бесплатных, толку мало.

— Н-да, конечно, — снисходительно соглашался доктор и, прощаясь, протягивал старику два пальца.

— Послезавтра загляну еще, — говорил он, откидывая медвежью полость саней, и застоявшиеся сытые лошади устремлялись вперед.

А Митрофан Степанович долго еще стоял у калитки, бормотал себе что-то под нос, потом горестно вздыхал и брел обратно.

Все чаще с затаенной тревогой поглядывал он на дочь: поднимет ли он ее на ноги, спасет ли? Куриный бульон — шутка сказать!..

А она все худела, словно таяла на глазах: скулы ста-

новились все острее, кашель все надсаднее, черные круги под глазами все гуще...

— Как, доченька: не лучше тебе? — с тревогой спрашивал Митрофан Степанович, и она молча кивала: лучше, а сама хваталась за грудь, задыхаясь в надсадном кашле.

Давно отгремела дождями по кровле холодная, ветреная осень; уже выпал мягкий, пушистый снег и по ночам за окнами трещали первые морозы; уже Неву сковывало льдом, и ничего не боящиеся, отчаянные петербургские мальчишки исчертили ее своими коньками вдоль и поперек; уже шальные пурги ревели от зари и до зари хриплыми, одичалыми, наводящими тоску голосами, а Катя все не вставала с постели. Митрофан Степанович не раз ходил в гавань, в надежде получить там хоть какую-нибудь случайную работу, но его оттуда выпроваживали бесцеремонно:

— Иди, старче, иди. Тут и молодым-то работы не хватает...

И снова он выдвигал по утрам скрипучие ящики старенького комода...

Поднявшись в первый раз, — отца в это время дома не было, — Катя не сразу, с передышками, добралась до комода, заглянула в тусклое зеркальце — и отшатнулась в неподдельном ужасе: страшилище-то какое, господи! Аким ее, такую, и не узнал бы, наверно.

Но горюй не горюй, а жить надо, — значит, надо собираться снова на работу.

На следующее утро Катя, еще пошатываясь от слабости, собралась на свой «Треугольник». Митрофан Степанович пробовал отговорить дочь, убеждая повременить, но та молча качнула головой, и тогда он вызвался хотя бы проводить ее до фабрики.

— Не нужно, — тихо сказала она. — Нет, не нужно. Я и сама дойду.

На улице Катя зажмурилась от яркого света. Озаренное утренним солнцем, блестело все. Блестел снег, блестел ледяной покров Невы, блестели разрисованные морозными узорами окна домов. Было холодно, и Катя плотнее закуталась в коричневый вигоневый платок. А на душе у нее стало вдруг так легко и радостно, что она готова была улыбаться всем и всему: и этому солнцу, и встречным прохожим, и даже усатому городовому,

возвышавшемся на перекрестке. Это была радость возвращения в жизнь, а что может сравниться с таким чувством?!

— Что, девушка, сияешь? Или влюбилась в кого? — озорно бросил на ходу какой-то долговязый гимназистик. Катя молча улыбнулась и ему.

Она остановилась возле деревца, потрогала его шершавую кору: жизнь!

Она с веселым любопытством наблюдала, как малыши стараются пробить каблуками синеватый ледок в какой-то лужице: жизнь!

Долго, с передышками, добиралась она до обнесенного высоким каменным забором «Треугольника».

— Прохорыч, здравствуй! — обрадованно воскликнула Катя, увидев в проходной знакомого старика сторожа.

Прохорыч недоуменно глядел на нее несколько минут. Потом он почему-то начал в смущении переминаться с ноги на ногу, опустив взгляд на свои огромные, обшитые кожей валенки, с которыми не расставался круглый год. А когда Катя собралась пройти внутрь фабричного двора, сказал смущенно:

— Нельзя, Катюша. В контору иди, в расчетную часть.

И отвернулся от девушки.

— То есть как... в контору? — не сразу поняла Катя. — Я ведь болела, Прохорыч... Болела, понимаешь? Только нынче поднялась...

— Ничего не попишешь, — повторял старик, все еще рассматривая валенки. — Велено тебе идти за расчетом, и весь сказ...

Катю он знал еще девочкой. Босоногая, в ситцевом платье до колен, с льняными короткими кудряшками, выбивавшимися из-под розовой косынки, прибежала она к матери, работавшей здесь. Тогда он пропускал ее беспрепятственно:

— Скачи, егоза, скачи. Мамашка давно ждет с обедом. — И умиленно глядел ей вслед. — Ишь, растет — Пелагеина любимица. Шу-у-страя девчоночка!..

Теперь он пропустить ее не мог. Рад бы, да не мог.

— Да как же так? — растерянно повторяла Катя. — Навернсе, ты ошибся, Прохорыч, миленький... У нас же

дома ничего не осталось. Пока я болела, все распродали... Мы же с голоду умрем, Прохорыч!

Сторож шумно вздохнул и неожиданно закричал высоким срывающимся голосом:

— Чего тебе от меня надо? Нет, скажи на милость: чего ты привязалась ко мне? Я тебе кто? Хозяин? Директор? Мастер? Я сам такой же, как ты — ладно, что еще не выперли. .

И примиряюще спросил:

— Степаныч-то как там? Жив-здоров?

Девушка не ответила. Она постояла, подумала и вдруг устремилась внутрь двора, туда, где возвышались серые, угрюмые корпуса цехов.

— Куда?! — пытался остановить ее сторож, но Катя уже не слышала его окриков, она бежала по двору, ветер раздувал ее юбку, раскидывал полы легкой жакетки.

У входа в свой цех она остановилась; сердце колотилось так гулко, что Катя прижала к груди ладонь и испуганно прислонилась к стене; ноги дрожали, слабость подкашивала их, она боялась: вот-вот упадет.

Отдышавшись, Катя вошла в цех. Мастера в цехе не оказалось. Девушки-товарки обступили ее, сочувственно охали, расспрашивали, но посоветовали мастера не дожидаться. Все равно бесполезно — во всех цехах идет увольнение. Два дня назад еще сорок человек за ворота выставили.

— А куда ж мне теперь? Что делать-то буду? — в который раз спрашивала себя Катя. — Что делать?

Домой она шла как слепая, на ощупь...

Митрофан Степанович, только взглянув на дочь, без слов понял, что произошло.

— Ничего, доченька, — успокаивал он Катю, а у самого предательски дрожал подбородок. — Проживем как-нибудь и без твоего «Треугольника». Придумаем что-нибудь. Только и свету, что в окне? Питер велик, найдешь работу...

Он бесцельно суетился, сновал из угла в угол, будто разыскивая что-то потерянное: ему было страшно заглянуть в огромные скорбные глаза дочери, затуманенные слезами...

Желая, очевидно, отвлечь Катю от ее невеселых мыслей, Митрофан Степанович пустился в воспомина-

ния о том, как он в молодости тоже однажды остался безработным, но это уж по собственной воле.

— Вижу, что хозяин меня обсчитывает. Ну, из каждой получки, сукин сын, норовит урезать. Терпел я, терпел, а потом пришел к нему да по-нашему, по-балтийски и объяснил, что такое он есть. Пресноводная, говорю, твоя душа — или две жизни прожить собираешься? Ты хоть объясни, для чего жадничаешь-то?.. Думал, полицию позовет — нет, обошлось: струсил, должно быть...

Он откашлялся, помолчал.

— Рабочему человеку, доченька, гордость иметь надо!

Но Катя слушала его плохо, да и история эта была ей давно известна. Вздохнув, она снова надела жакетку, заправила волосы под платок и отправилась к лавочнику — просить в кредит: дома ни горсти крупы, ни ложки масла.

Только после ее ухода Митрофан Степанович изнеможенно опустился на стул и задумался: что же будет дальше? Ему хотелось кричать: «Люди добрые, да есть ли справедливость на свете?! Доченька, милая ты моя, не виноват я в том, что такая страшная, неимоверно тяжелая судьба у тебя!..»

Всю ночь не спала Катя, раздумывая, что ей теперь делать, а наутро пошла по соседкам расспросить, не знает ли кто адреса, где нуждались бы в прислуге или в прачке. Она, Катя, все сумеет — и в комнатах убрать, и обед приготовить, и присмотреть за детьми, и постирать белье.

При этом она так отчаянно кашляла, что сердобольные соседки с сомнением покачивали головами: кто ж это согласится взять в дом хворую прислугу?

Так ни с чем и возвратилась Катя домой.

— Ну ничего, ничего, — успокаивал ее Митрофан Степанович. — Образуется как-нибудь.

А перед вечером забежала к Кате подружка Зоя Гладышева, девушка с «Треугольника».

— Ты, говорят, у нас на фабрике нынче была? Ну как дела твои?..

Она-то и дала Кате адрес жены какого-то инженера на Садовой: там непременно найдется хоть небольшой заработок.

С тех пор, чуть забрежжит рассвет, Катя отправлялась в особняк на Садовой, где жила семья инженера крупного петербургского металлургического завода, — стирать горы белья, мыть полы, помогать кухарке.

Стоя у корыта, с руками, запушенными хлопьями мыльной пены, Катя с горечью думала о своей нелегкой судьбе, о будущем, которое полно тревожной неизвестности. Что, в самом деле, ожидает ее впереди? На что надеяться, какой мечтой поддерживать собственные силы?

Кудряшки волос выбивались на лоб, она распрямляла усталую спину, тыльной стороной ладони поправляла их и снова погружала руки в шипящую, лопающуюся пузырями, теплую мыльную воду. Девочкой она любила помогать матери, когда та устраивала стирку: это доставляло ей удовольствие, она шлепала ладошками по воде и звонко, счастливо смеялась. Сейчас один вид мыльной пены был ей противен...

Можно было поступить так же, как поступали десятки ее подруг: выйти замуж. Тоже, конечно, не райское житье ожидает: какой-нибудь сырой подвал, и каждая получка на счету, и больные, истощенные дети — хорошо еще, если муж не пьяница попадется, а то совсем каторга.

Но опять же, не нужно будет самой думать, где заработать на хлеб да на воду.

Но она тут же отгоняла от себя эту мысль: нет, она дала себе слово ожидать Акима и будет его ожидать, как бы трудно ей ни пришлось, сколь бы несчастий еще не подстерегало ее.

Одно плохо: от Акима — ни единой весточки нет. О том, куда «Аврора» ушла, Катя уже знала, но что там и как на корабле у них, жив-здоров ли Аким — понятия не имела. Попыталась расспросить «инженершу»: не присоветует ли та, как ей узнать про Акима, — ведь у хозяйки столько влиятельных знакомых в Петербурге.

Хозяйка в ужасе всплеснула руками:

— Что ты, милочка! Чтоб я каким-то матросом интересовалась? За кого ж меня примут, ты подумала?

Она не преминула съязвить:

— И потом, в наших кругах как-то не принято... проявлять интерес к судьбе молодого человека, если он не муж, не жених...

Катя с нескрываемым презрением посмотрела на нее, но промолчала. Что ж дурного в том, что она хочет знать, где любимый ее, этот нескладный и ласковый матрос-богатырь, Микула Селянинович?

Аким, Аким!.. И поцеловал-то он ее всего один раз — тогда, на прощанье, и ни одного слова о своей любви не успел сказать, а вот будто душу ей перевернул. И нет ей теперь без него ни покоя, ни счастья, ни самой жизни...

И за что только полюбила она этого застенчивого, неразговорчивого матроса? Вот ведь другие же есть — и красивее, и речистее: вечерами, когда Катя возвращается домой, она чувствует на себе внимательные, восхищенные взгляды моряков. Она знает: поотстань на минутку — сразу подойдут, заговорят, а там хоть трава не расти... «Молодости своей не ценишь, а молодость — она раз в жизни бывает», — говаривали практичные Катины подружки.

Но Катя проходила мимо, будто не замечая этих ищущих взглядов, а дома, засветив неизменную «семи-линейку», писала Акиму длинные и немножко бессвязные письма. В этих письмах она рассказывала Акиму обо всем: и о теперешней своей жизни, и о том, что отец часто вспоминает его, Акима, и о том, что она верит: будет у них еще встреча, непременно будет.

Катя писала о самом сокровенном теми словами, которые подсказывало ей сердце.

«Трудно мне, Аким, без тебя, ох, как трудно, и я не знаю, чем бы жила на свете, если бы не верила, что все у нас будет хорошо.

Береги себя...»

Она закрывала глаза и невольно улыбалась своим мыслям: уж очень как-то не вязалось это «береги себя» с ее представлением об Акиме. Такой большой, сильный, храбрый — он ли станет прятаться по углам в тяжелую минуту?!

Подружки звали ее на прогулки, где собирается веселая компания, — она отказывалась, ссылаясь на то, что не может оставить старика отца. Звали ее в синематограф, она отнекивалась — устала за день, было много работы.

— Гляди, Катя, так и проморгаешь свое девичье счастье, оно ведь короткое, как летняя зорька, — укоря-

ли подружки, но Катя отмалчивалась или отшучивалась.

Как-то — это было под воскресенье — хозяйка предупредила Катю, чтобы вечером та домой не уходила: будут гости, придется прислуживать у стола. Катя растерянно оглядела свое старенькое, вылинявшее, в за-сохшей мыльной пене ситцевое платье:

— Как же?..

— Ах, что ты, милочка! — поняла ее хозяйка. — Конечно, я тебя одену к вечеру. У меня кое-что найдется по твоему росту.

Это было первое в жизни шелковое платье, которое надела девушка, — пускай не новое, пускай не совсем по фигуре, но все-таки настоящее нарядное платье, и Катя, подойдя к зеркалу, невольно залюбовалась собой.

— Красавица! — нараспев произнесла кухарка тетя Поля, оглядывая девушку, и Кате было это приятно. — Писаная красавица!..

«Видел бы меня Аким в таком наряде! — подумала Катя. — На руках бы унес, зацеловал бы!»

Смутившись собственных мыслей, Катя покраснела и закрыла ладонями разгоряченное лицо. Через минуту она выглянула сквозь пальцы: из глубины зеркала смотрела на нее девушка в нарядном платье, обрисовывавшем стройную фигуру; легкими светлыми волнами волосы сбегали с плеч, глаза сияли восторженно.

— Хватит любоваться, — сухо сказала хозяйка, появляясь в дверях. — Пора приниматься за дело.

Гости начали съезжаться часам к восьми. Были это главным образом инженеры с Балтийского, с Путиловского заводов, с завода Михельсона, пожилые и молодые, аккуратно выбритые, надушенные дорогими парижскими духами, подтянутые и корректные. И не один из них, проходя в кабинет к хозяину, останавливался, увидев красивую, нарядную девушку:

— Откуда у вас такая?

Хозяйка поджимала губы и говорила пренебрежительно:

— Девушка из бедной семьи. Ведь мы же обязаны заботиться о бедных, правда?..

Один из гостей, уже немолодой, с заметным брюшком хотел было полубезничать с «горняшкой», но хо-

заяйка, бросив на Катю уничтожающий взгляд, поспешила произнести певуче:

— Сергей Владимирович, пойдете, я покажу вам, какой изумительный саксонский фарфор нам удалось приобрести!..

Катя невольно рассмеялась: что это с хозяйкой, неужели она всерьез думает, что Катя станет с нею соперничать?

За столом, после первых двух-трех тостов, гости разговорились, расшумелись, и хозяйка, сияя улыбкой, то и дело обращалась то к одному, то к другому, пытаясь осторожно водворить порядок, приличествующий во всяком солидном доме.

Катя едва успевала подносить блюда и наливать вино.

Разговор шел либеральный, вольный: о недавней забастовке на Путиловском заводе, о затянувшейся и, кажется, безрезультатной войне на Дальнем Востоке, о том, что ни к чему хорошему — это уж теперь ясно! — война Россию не приведет.

Хозяйка время от времени встревоженно показывала мужу глазами на Катю, но тот посмеивался:

— Пускай послушает. Это ей полезно.

Для Кати все это было неожиданным, новым, и она порою даже жмурилась от страха, когда кто-нибудь из гостей начинал высказываться слишком смело.

Говорили о том, что в высшей степени загадочным остается апрельское сражение на реке Ялу, когда погибли тысячи наших солдат и победа была уже близка — рукой достать! — а горнисты в последнюю минуту все-таки сыграли сигнал отступления. Вспоминали о бесславном поражении русской армии на Цзиньчжоуском перешейке, о разгроме русских войск у Вафангоу: странное дело, как и в битве при Ялу, победа в этих сражениях казалась вполне обеспеченной, а досталась все же неприятелю.

— А разве под Ляояном, в августе, не это же самое повторилось? — горячился один из гостей. — Сто шестьдесят тысяч войск у нас, а у японцев только сто двадцать. Орудий у нас почти в полтора раза больше, чем у противника. А Куропаткин приказывает отходить на

новые позиции, — это, по-вашему, что? Не загадка? Да-с, слишком уж много таинственного...

— А во флоте? — хозяин произнес это громко, стараясь, чтобы его слышали все. — Вы представляете себе, господа, что творится в нашем прославленном флоте?..

Катя насторожилась: может быть, сейчас она хоть что-нибудь узнает об «Авроре».

— Я глубоко убежден, — продолжал хозяин, заметно поигрывая голосом, — что сама идея посылки нашей эскадры в Тихий океан — это курьез, величайший исторический курьез! Поэтому и все, что теперь происходит, суть курьезное следствие курьеза. Ведь эти последние события — это же стыд-позор на всю цивилизованную Европу!..

— А что, что такое? — заинтересовались гости.

— Ну, как же! Об этом сейчас весь Петербург говорит. Только эскадра вышла в Немецкое море, только огляделась да построилась в походные колонны, как вдруг боевая тревога!.. Шум, грохот, пальба...

Щеки инженера мелко затряслись от сдерживаемого хохота.

— Ок-казывается, бесстрашному господину адмиралу или еще кому-то из высших чинов...

Он сделал интригующую паузу.

— Кому-то, одним словом, ни с того, ни с сего вдруг померещился неприятель *. Японцы! Вы представляете: это в Немецком-то море! — хозяин уже не сдерживал хохота. — Ну, конечно, немедленная оружейная стрельба, и в результате — своя своих побивахом. Два снаряда, говорят, получила в виде адмиральского подарка наша собственная «Аврора».

Катя неожиданно почувствовала, что у нее начинает кружиться голова: огни люстры вдруг почему-то поплыли, поплыли...

— «Аврора»! — тихо повторила она одними губами.

— Да-с, — довольный произведенным эффектом, по-

* Речь идет о так называемом «гулльском инциденте», который имел место. До последних лет бытовала версия, будто, поддавшись панике, русские корабли обстреляли мирные рыбацкие суда, приняв их за неприятельские. Однако новейшие исследования не известных ранее документов показали, что русская эскадра в самом деле встретилась с японскими миноносцами, закупленными у Англии.

вторил хозяин. — Вот уж, воображаю себе, какая там паника поднялась. Ночь, прожекторы светят, снаряды рвутся. Неприятель, — а где неприятель, какой неприятель? Ку-урьез!

— И что же? — любопытствовал кто-то из гостей. — Большие жертвы?

— К счастью, нет, — небрежно отозвался хозяин. — Пострадали иностранные рыбаки. А на «Авроре» одного, как его, — комендора, что ли, тяжело ранили. А так в общем все закончилось благополучно. Только лондонская «Таймс» именуется теперь эскадру Рождественского не иначе как «эскадрой бешеной собаки». Бешеная собака — остроумно, не правда ли?

И добавил еще что-то по-французски, от чего гости дружно расхохотались, а хозяйка ударила мужа веером по руке:

— Ты бы хоть меня постеснялся! Этаким шутник!

Катя уже не слышала, о чем еще говорил хозяин. «Комендора»... Аким ведь тоже — комендор...

Кате показалось, что лампы люстры вдруг погасли, а комната — вся, вместе с гостями, с этим богато сервированным столом и с нею вместе — проваливается куда-то...

Блюдо, которое она несла к столу, как-то само собой выскользнуло из ее рук и разлетелось на мелкие куски.

— Что т-ты, мил-лочка! — прошипела хозяйка. — Глядеть надо.

И тотчас мило улыбнулась гостям:

— Извините, господа, она еще неопытная.

— Ничего, ничего, — инженер был настроен философски-благодушно. — Посуда бьется к счастью.

И добавил глубокомысленно:

— Тут империя скоро разлетится на куски, а блюдо — что, пустяк!

Вскоре гости заговорили уже о чем-то другом, а Катя все еще стояла на коленях и невидящими от слез глазами разыскивала на полу мелкие осколки, собирая их на поднос.

Хозяйка вышла вслед за Катей.

— Разиня! — шепотом произнесла она. — Такое блюдо!.. Имей в виду: удержу из жалованья.

— Ах, да удерживайте что хотите! — в отчаянии вос-

кликнула Катя. На кухне она разрыдалась, прижавшись щекой к прохладной стене.

— Полно тебе, Катюша, полно, — пыталась успокоить ее кухарка. — Стоит расстраиваться из-за какого-то дрянного блюда. Да у него, у хозяина нашего, посуды этой окаянной вон сколько — горы!

И она осторожно гладила вздрагивающее плечо девушки.

— Ах, тетя Поля, — всхлипывая, произнесла наконец Катя. — Я не из-за блюда...

— А тогда из-за чего бы? — недоумевала кухарка. — Может, кто из гостей обидел? Они ведь вон какие охальники, даром что господа!

Катя отрицательно покачала головой.

— Хозяин рассказывал: на «Авроре» комендора ранило. А ведь Аким... тоже комендор...

Кухарка, поняв наконец-то, сокрушенно вздохнула и перекрестилась...

— Дивны дела твои, господи...

Утешить девушку ей было нечем.

— Бог милостив, — неуверенно бормотала тетя Поля. — Ну почему непременно твоего Акима? Мало ли их на корабле, этих... комендоров?

И сочувственно покачала головой:

— Д-да, вижу — не на шутку ты полюбила этого матроса... Ладно, поди-ка лучше умой лицо, ишь, какая зареванная.

И она бережно, как больную, подвела Катю к крану. Она что-то рассказывала Кате о своей первой любви — давно это было! — но девушка плохо слушала ее.

А из столовой неслись шум, смех, звон бокалов. Гости разъехались далеко за полночь, изрядно подвыпивший Сергей Владимирович все пытался выяснить, куда же это исчезла красавица-«горняшка», бедная сиротка, но хозяйка велела Кате даже не показываться ему на глаза.

К себе, на Васильевский остров, Катя попасть уже не могла: мосты на Неве давно развели, и тетя Поля уложила ее спать рядом с собой. Теплая, грузная, она легонько похрапывала во сне, а Катя все лежала с открытыми глазами и все думала о страшной новости, сообщенной хозяином.

Она, конечно, не могла знать, что новость эта сейчас

живо обсуждается во всех европейских столицах, вызывая самые противоречивые толки.

2.

С этого вечера Катя стала особенно упорно добиваться хоть каких-нибудь сведений об «Авроре».

Она начала внимательно проглядывать газеты в кабинете у хозяина, когда тот был на службе, а она приступала к уборке. Читала Катя все подряд: «Русский голос», «Новое время», даже «Биржевые ведомости», но никаких упоминаний об «Авроре» в газетах не было.

Катя недоумевала: может быть, тут какая-нибудь ошибка, может, в других газетах есть о крейсере, на котором служит ее Аким? Как-то в воскресенье она решилась пойти в Публичную библиотеку, полдня терпеливо листала там комплекты самых различных газет, но все было безрезультатным.

«Да что ж это такое?!» — в отчаянии повторяла девушка.

Газеты пестрели крикливыми сообщениями о каком-то готовящемся грандиозном контрударе русской армии на полях Маньчжурии, описаниями сверхгеройских подвигов некоего усатого унтера, который один пошел против чуть ли не целого неприятельского батальона и, конечно, обратил японцев в паническое бегство. За всей этой газетной болтовней даже не искушенная в военных вопросах Катя угадывала день ото дня растущую панику, растерянность, плохо маскируемую победными релициями.

А вот об «Авроре» в газетах так ничего и не попало, ни одной строчки. Ушел корабль — и словно канул в неизвестность.

Митрофан Степанович, должно быть, сердцем почувствовал, что творится с дочерью.

— Чем тебе помочь? — говорил он. — Узнать, жив ли твой Микула Селянинович? Не могу, доступа к военным делам не имею.

Он вздыхал:

— Жалко будет, если с ним что случится, с богатырем твоим... Славный парнишка, смысленый. Понравился он мне...

Катя молчала, перебирая неслушающимися пальца-

ми бахрому старенькой скатерти. Умолкал и Митрофан Степанович. Он сердито ходил из угла в угол, потом нерешительно подсаживался к дочери, клал руку на ее плечо:

— Я так думаю, что войне этой скоро конец, — произносил он после долгого молчания. — Может статься, «Аврора» припоздаст, придет туда уже к шапочному разбору... Вот и вернется твой Аким.

Катя продолжала молчать.

— Вернется, говорю, — уже уверенно, будто речь шла о решенном, повторял Митрофан Степанович.

Вернется ли? Ох, если бы только вернулся! Уж тогда она, Катя, не станет таить от него своих чувств. Суди, скажет, меня, как хочешь, думай обо мне, что тебе сердце подсказывает, а только никуда я тебя больше не отпущу. Никогда в жизни!..

Подрагивающими пальцами Катя быстро-быстро перебирает бахрому, и вот ей уже видится, как идет она рядом с Акимом, и он бережно, заботливо — как один он умеет! — поддерживает ее под руку и говорит какие-то первые пришедшие в голову, но для нее полные смысла слова, и она слушает его и не слушает, и ощущает рядом его тепло и улыбается своему безмерному, неумемному счастью...

Однажды, когда она, усталая, поздно вечером возвратилась домой, Митрофан Степанович встретил ее у самого порога.

— Пляши! — Он держал конверт над головою. — Не-ет, ты пляши, иначе не отдам.

Но, заглянув в осунувшееся, потемневшее лицо дочери, пробормотал смущенно:

— Ладно уж. Пользуйся моей добротой.

И протянул конверт:

— Получай!

Тут же, не снимая жакетки, у окна, Катя единым дыханием прочла письмо Акима, — первое его письмо, отправленное еще из Бельта.

«Идем мы на войну, — вполголоса читала она. — Кто знает, вернусь ли живым-здоровым... Но ты верь, что все обойдется хорошо... Жизнь у нас матросская — сама понимаешь, не из легких...»

Так и забыв раздеться, Катя опустилась на стул. «Кто знает, вернусь ли...»

И тут ей припомнились слова отца: эта война долго продолжаться не может; никому она не нужна, всем опротивела, ненавистная! Вот нынче утром, когда Катя бежала на работу, на углу Садовой какой-то барин начал читать вслух только что вывешенную на афишной тумбе сводку с фронта. Ну толпа, конечно, собралась. Он и обрадовался:

— Братья! — кричит. — Будем биться до победы!.. Япония будет поставлена на колени!..

Люди слушали его молча, угрюмо. Многие отходили, покачав головой.

— Экошь, что мелет! — в сердцах сплюнул какой-то рабочий. — Брат... нашелся!

Сквозь толпу протиснулся солдат на костылях.

— А ты что ж не идешь, господин хороший... биться? — тихо произнес он. — Кричать кричишь, а в Маньчжурии, небось, кровь другие проливают!

И замахнулся костылем:

— Прочь, нето зашибу!..

Барин еле ноги унес: обозленная толпа что угодно с ним сделала бы...

«Ах, Аким, Аким, вот и дождалась я первой твоей весточки, а нет радости на душе!»

Катя поднимается со стула и говорит ровным, словно чужим голосом:

— Однако пора ужин собирать.

За ужином она — ни слова. Митрофан Степанович виновато-недоумевающе поглядывает на дочь: столько ждала этого письма, а получила — и как в воду опущенная! Он пробует о чем-то заговорить, но Катя будто и не слышит его, и Митрофан Степанович понимает: сейчас она мыслями далеко-далеко отсюда...

А ночью он слышит, как беспокойно ворочается она с боку на бок, как бормочет что-то, приглушенно всхлипывая в подушку. И только под утро, когда уже рассвет начинает пробиваться сквозь разрисованные морозом стекла, она забывается чутким, беспокойным сном.

3.

Осажденный Порт-Артур доживал последние дни.

Вскоре после поражения русских войск под Ляояном, когда в грандиозной битве все преимущества были на

стороне русской армии и японцы готовы были вот-вот отступить, но Куропаткин своим предательским приказом об отходе опередил их, — русская армия начала готовиться к новому контрнаступлению. В Петербурге возлагали на него особые надежды, только и разговоров было что о реванше. Однако и сражение на реке Шахэ, — сражение, в котором русская армия потеряла свыше шестидесяти тысяч человек, — не принесло ожидаемого облегчения Порт-Артуру.

Отрезанная от главных сил русских войск, обескровленная, истерзанная крепость держалась только на самоотверженном мужестве солдат и матросов.

В Порт-Артуре считали часы до подхода русских кораблей, возлагая на них все надежды и чаяния. Вера в то, что скоро придут «наши», то есть эскадра, умножала силы защитников далекой крепости, поднявшей свои орудийные стволы над вспененными волнами Желтого моря.

...А эскадра в это время продолжала идти и идти вперед — исхлестанная штормами, бессмысленно перегруженная углем, растянувшаяся на много миль в неровном двухколонном строю.

Свирепым, невиданной ярости штормом встретил эскадру неприветливый океан на подходе к острову Сент-Мари, что вблизи Мадагаскара.

Тяжелые, взлохмаченные волны дыбились справа и слева от кораблей, ветер срывал их вспененные верхушки, почти до самых туч поднимал черно-зеленые валы и обрушивал их на корабли; даже огромные броненосцы казались игрушечными рядом с этими почти вертикальными стенами живой, стремительно движущейся воды. Корабли то взлетали кверху на гребнях волн, то проваливались в темные дымящиеся пропасти; грохот океана, завывание ветра, вода, небо, туман — все перемешалось и все обрушилось на эскадру. Казалось, не будет конца этому дикому неистовству природы...

Вторые сутки Егорьев не покидал мостика. Он то вглядывался в ревущую темень, то посылал узнать, не принято ли по беспроволочному телеграфу новых приказаний, то шел к рулевым и подбадривал их.

В середине ночи с седьмого на восьмое декабря, когда шторм достиг наибольшей силы, Егорьев вызвал

на мостик капитана второго ранга Небольсина, а сам отправился в обход по кораблю.

Несмотря на поздний час, в жилых палубах никто не спал. Комендоры сидели не раздеваясь, готовые вскочить по первому сигналу. В роте лейтенанта Дороша маленький ясноглазый матрос — Евгений Романович так и не вспомнил его фамилию — рассказывал что-то веселое; матросы хохотали, слушая его, и лишь время от времени кто-нибудь поднимал голову, прислушиваясь: не утихает ли штормяга?

А он все нарастал и нарастал. Уже на палубах и в жилых помещениях вода переливалась каскадами; уже воздух в кубриках сделался от перенасыщения влагой невыносимо тяжелым; уже внизу, в кочегарках, стало темно от пара и угольной копоти, а ничто не предвещало ослабления шторма.

Лишь к вечеру третьего дня понемногу начало стихать. Стали поступать вести с других кораблей. На «Суворове» во время шторма загорелся уголь. С «Дмитрия Донского» волной смыло катер. Вышел из общего строя кораблей буксир «Русь».

«Аврора» поплатилась вельботом.

— Ну вот, — сказал Егорьев. — Вот мы с вами, Аркадий Константинович, и получили возможность на деле проверить мореходные качества экипажа. Ваше мнение о них?

— Что ж, в общем... — осторожно произнес Небольсин.

— Не «в общем», дорогой Аркадий Константинович, не «в общем»! Превосходные качества, доложу вам. С таким экипажем можно смело идти в бой!

Небольсин отмолчался.

Шестнадцатого декабря, в седьмом часу утра, при ясной, тихой погоде, на облачном небе открылся по носу берег Мадагаскара и лежащего по его восточную сторону небольшого острова Сент-Мари. Эскадра взяла курс в пролив между островами и, медленно и осторожно продвигаясь вперед, около полудня достигла места якорной стоянки. Чистое, чуть тронутое облаками небо, прозрачная сине-голубая гладь моря, диковинная пышная зелень на берегах, ширококрылые неторопливые чайки... И невольно приходило на ум: да было ли все это — шторм, ночь, грохот ветра?..

Они были похожи на стаю огромных взъерошенных птиц, утомленно приникших к воде, — корабли, только что вышедшие из шторма.

На «Авроре» прошел слух: в Сент-Мари эскадра задерживаться не будет — примет запас угля и тотчас пойдет дальше.

Но слух этот не подтвердился, и вот уже третьи сутки стоят корабли на внешнем рейде, чуть покачиваемые легкой зыбью.

Выход из Сент-Мари в Носи-бе был предположительно назначен на послеполуденное время, но шли часы, а приказа от флагмана все не поступало.

— Не знаешь, в чем дело? Почему задерживаемся? — Дорош остановил проходившего по палубе Терентина.

— Говорят, послали какой-то из кораблей разведать новости в Таматаве — там есть почта и телеграф, — объяснил всезнающий мичман, останавливаясь возле Дороша. — Эх, Алеша, благодать-то! Ты только оглянись вокруг!..

Он показал глазами в сторону острова.

— Зелень какая великолепная! Вот уж не думал никогда, что есть на земле такие райские уголки.

И широким жестом он обвел панораму берега.

— Райские? — усмехнулся Дорош. — Все зависит от того, какими глазами смотреть. А я вот тоже гляжу и думаю о том, что где-то здесь, говорят, среди этой самой райской зелени находится знаменитая мадагаскарская каторжная тюрьма. К слову замечу, это — единственное, чем знаменит остров: каторга, с которой еще ни одному человеку бежать не удалось.

Дорош снова жестко усмехнулся:

— А ты говоришь — райский уголок...

— Н-да, — смущенно крикнул Терентин, возвращая Дорошу бинокль. — А у тебя, Алексей, редкостная способность портить настроение.

— Нет, зачем же, — спокойно возразил Дорош. — Констатирую факты, только и всего. А каторга — это, к сожалению, факт.

И тотчас заговорил о другом.

— Никак не привыкну к тому, что здесь все не по-

нашенски. Середина декабря, а жара — словно бы наш июль.

Он пошутил:

— Жив останешься — непременно книгу напиши о том, что увидел в дальних странах. Юношеству — полезное чтение.

— А что думаешь? — отозвался Терентин. — Может, и напишу.

— Вот-вот, — согласился Дорош. — И насчет тюрьмы не забудь.

...Наконец-то на четвертый день стоянки стало известно: завтра поутру эскадра двинется дальше.

В полночь командир «Авроры» был вызван на «Суворов», к адмиралу Рождественскому. Егорьев возвратился примерно через час и сразу же приказал пригласить к себе Небольсина.

— Вот что, Аркадий Константинович, — сдержанно сказал он, когда тот вошел в каюту командира и плотно закрыл за собой дверь. — Сбылось худшее, что мы могли предполагать. Час назад вернулась из Таматавы «Русь» и привезла известие о том, что Порт-Артур пал.

— Пал? — почему-то вдруг шепотом переспросил Небольсин.

— Да, и я прошу вас позаботиться, чтобы весть эта по возможности не сразу дошла до нижних чинов. Конечно, удержать в абсолютном секрете это невозможно, но все-таки... Матросы и без того напряжены, возбуждены... Могут быть неприятные последствия.

Он задумался, хрустнул пальцами.

— Адмирал получил телеграмму из Главного морского штаба, — продолжал он через минуту. — В ней говорится, что после падения Артура на нашу эскадру возлагается задача огромной важности: овладеть морем и тем самым отрезать японскую армию от сообщения с метрополией.

Егорьев хотел добавить: «Это при наших-то силах!» — но, как обычно, удержался.

— Рождественский ответил, — заключил он, — что с теми кораблями, которые находятся в его распоряжении, он не имеет надежды овладеть морем. И что единственно разумное при создавшихся обстоятельствах —

попытаться прорваться во Владивосток, а уж оттуда действовать на коммуникациях неприятеля.

— Попытаться прорваться?.. — вновь побледнел Небольсин. — Выходит, мы сами идем... в ловушку?

Егорьев молча пожал плечами.

— Знаете, Аркадий Константинович, — снова заговорил он после долгой паузы, — к известию о падении Порт-Артура я как-то внутренне был подготовлен, и все-таки... страшно. Да-да, именно — страшно! Страшно становится, как только представишь себе, чего стоила России эта заведомо бессмысленная затея...

Но Небольсин успел взять себя в руки и теперь глядел на Егорьева недоумевающе:

— Затея? Простите, Евгений Романович...

И Егорьев вдруг почувствовал, как огромная расслабляющая усталость овладевает им. Что ж, еще раз тебе самому наука: впредь будь осмотрительнее. Чудак-человек! В ком вздумал искать единомышленника!

— Да, так о чем, бишь, я говорил? — спокойным тоном произнес он. — А, насчет Артура. Прошу вас, Аркадий Константинович: сделайте все возможное...

Аркадий Константинович молча склонил голову, показывая, что он понимает, как это важно и необходимо.

Проводив Небольсина, Егорьев открыл ящик стола, привычно потянулся к дневнику, и вдруг, отложив его в сторону, тяжело задумался.

Так ни одной строки в эту ночь он и не записал. Давило чувство одиночества и какой-то странной, необъяснимой, но все нараставшей внутренней опустошенности...

Как ни старался предприимчивый Небольсин, о падении крепости Порт-Артур команде все-таки стало известно. Трудно сказать, какими путями распространяются на кораблях столь тщательно скрываемые известия: может, вестовой командира что-нибудь услышал да потом передал товарищам, а может, проболтался кто-нибудь из писарей, но только к полудню новость знали уже все на «Авроре». Тут и там собирались кучками матросы; отчаянно жестикулируя, Листовский доказывал на полубаке, что теперь в дальнейшем походе эскадры нет никакого смысла, что надо поворачивать обратно, в Ревель.

— Ведь это что же, братцы, делается! — говорил возмущенно Листовский. — Тыщи наших положили, куда там — десятки тысяч, а за что, спрашивается? За что?

Никто не отзывался на его слова, и Листовский скрипел зубами:

— Где же правда, братцы?!

Тоскующими глазами он обводил круг молчаливых, насупленных матросов.

— А у меня брательник в Артуре... Тоже, поди, костями лег...

— А у кого их там нет? У одних — братья, у других — отцы.

— Стесселя теперь, что ж, судить будут?

— Да судить — дело не хитрое. Судьи строги, да отходчивы — ворон ворону глаз не выклюет. А вот мертвых из могилы не возворишь.

Степа Голубь — тот даже как-то в лице изменился, почернел и осунулся. Он ходил по кубрику, не находя себе места.

— Что же это? — беспрестанно повторял он, растерянно. — Что же это?..

Небольсин, встревоженный докладами о том, что команда возбуждена и чуть ли не в открытую митингует, приказал сыграть боевую тревогу.

Начались артиллерийские учения.

Г Л А В А 6

1.

Декабрь этого года выдался в Петербурге на редкость морозным, вьюжным, ветреным. По утрам на улицах гуляла поземка, и снег, взметенный ветром, был сух и колюч.

Густой сизоватый туман стоял над свинцово-серыми полыньями на Неве, но их с каждым днем становилось все меньше и меньше, — река прочно одевалась в ледяную броню.

Катя в своей старенькой жакетке замерзала так, что, добежав утром до знакомого дома на Садовой, долго потом отогревалась на кухне, возле печки, пока сердобольная тетя Поля собирала ей завтрак.

В кухне было тепло, пахло вкусной пищей, тетя Поля что-то ворчала, но так беззлобно, что Кате даже становилось весело.

— Ох, тетя Поля, что я нынче видела! — рассказывала Катя, растирая пальцами иззябшие щеки. — Воробышко, бедненький, ночью замерз, да так и остался на дороге, не долетел до своего гнезда. Уж я его грела-грела, ничего не помогает.

— Гляди, как бы ты сама не замерзла, как тот воробышко, — ворчала тетя Поля, подбрасывая в печь оттаявшие березовые поленья. — Стужа такая, а ты в какой одежонке щеголяешь? Давно ли воспаление легких было?

— А, меня никакая хвороба не возьмет, — бездумно отзывалась Катя. — Да и на пальто, сами знаете, негде взять. Капиталы мои известные: получишь жалованье — и не знаешь, то ли лавочнику долг отдавать, то ли за комнату платить. А вы говорите — пальто...

С тех пор, как пришло первое и единственное пока что письмо от Акима, Катя преобразилась. Она и работала веселее, и смеяться стала чаще, и к зеркалу нет-нет, да и подойдет, — уж и тетя Поля примечать стала:

— Ты что, не влюбилась ли в кого? Больно веселая что-то.

— Влюбилась, тетя Поля, влюбилась. И уже давно!

— Опять про Акима? — махала рукой кухарка. — Слышала уже про твоего Еруслана Лазаревича!

Катя не спорила с нею. Отогревшись и выпив стакан чаю, она весело спрашивала:

— Ну, тетя Поля, что мне сегодня делать?

— А твое дело известное. Вон гора белья ждет. А хозяева уедут — в комнатах приберешь.

Иногда заглядывала на кухню хозяйка. Она неодобрительно косилась на повеселевшую Катю и презрительно бросала на ходу:

— То по жениху слезы льет, то песни распевает. Вот и пойми ее!..

— Характер у меня такой. Легкий, — отзывалась девушка.

— Ладно, ладно. Болтай поменьше, — обрывала хозяйка и выходила из кухни.

— Во-от привязалась, господи! — пожимала голову тетя Поля. — Ну ровно ты ей дорогу перешла.

— А, мне-то что! — спокойно улыбалась Катя.

Так проходили шесть дней недели. Утомлялась Катя настолько, что иной раз даже была не в силах почитать отцу газету. Тот понимающе успокаивал дочь:

— Ничего, ничего. Отдыхай.

Зато седьмой, воскресный день Катя наконец-то могла целиком посвятить отцу. Она штопала его белье, стряпала Митрофану Степановичу обед повкуснее и только после того, как старик укладывался спать, доставала пузырек с чернилами и бумагу и принималась за очередное письмо Акиму.

Ах, сколько их ушло уже, этих писем — ласковых, обнадеживающих, полных любви, которую Катя скрывать была не в силах.

Заглядывала по воскресеньям старая Катина подруга Зоя Гладышева. Вместе они росли, вместе ходили в школу, вместе начинали работу на «Треугольнике», и от нее у Кати не было секретов.

Высокая, черноглазая, стремительная в движениях, Зоя вносила с собой какое-то непривычное беспокойство, встревоженность; она минуты не могла усидеть на месте: то засыпала Катю вопросами об Акиме, то вдруг бросалась к ней на шею и чуть ли не душила в объятиях, то садилась напротив и долго разглядывала девушку — не то сочувственно, не то изумленно.

— И ты что же, все время вот так дома отсиживаешься? — восклицала она. — Ты что, не видишь, что делается на земле?

— А что делается? — спокойно бросала Катя, занятая штопкой.

— Так ведь Питер весь клокочет! У нас на фабрике что ни день, то митинг. Все требуют прекращения войны. Слышала: в Риге, говорят, были устроены уличные шествия — долой войну! И в других городах тоже...

— Знаю, читала, — останавливала ее Катя.

— Ну и что?

— Ну и ничего. Меня это не касается.

— Как ты можешь так спокойно об этом говорить! — возмущалась Зоя.

— А вот так и говорю. Здесь у нас шествия, а там по-прежнему война, — желчно обрывала ее Катя. — И Аким — тоже там...

— Глупая ты! Да ведь это и за твоего Акима тоже идет борьба.

— Не знаю. Ничего не знаю, — раздумчиво качала головою Катя. — Знаю только, что он далеко и что ему сейчас там... очень трудно.

— Вот ты и должна ему помочь, — убеждала Зоя подругу. — Твой голос, мой голос — миллион голосов; думаешь, царь не посчитается?

Катя отмалчивалась, и тогда Зоя начинала рассказывать о чем-нибудь другом:

— Знаешь, Катюш, у меня теперь такой ухажер!.. С нашего «Треугольника», между прочим...

Однажды Зоя принесла известие: в городе создано «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Петербурга». Главенствует какой-то священник. Говорят, душевный человек. Устраивает чтения, концерты, благотворительные вечера.

— Это в каком же смысле — «Собрание»? — недоверчиво покачал головою Митрофан Степанович. — Значит, рабочий по-прежнему с голода подыхай, а ему замест хлеба развлеченьице? Так, выходит?

Набивая трубку, он снова качнул головой:

— Дивно что-то...

— Ах, дед, ничегошеньки ты не понимаешь! — Зоя, по привычке детских лет, по-прежнему называла Митрофана Степановича дедом.

— Конечно, — обиделся Митрофан Степанович. — Ты, стрекоза, во всем разобралась, а мне, старому, где уж.

— Ну так как же, Катя, — предложила Зоя. — Пойдем, хоть одним глазом взглянем? Любопытно ведь!

— Нет уж, иди ты одна, — отказалась Катя. — Я дома посижу.

— Оно и вернее, — проворчал Митрофан Степанович. — Не верю я что-то в эти увеселения.

— Опять будешь своему Акиму письма писать? — Зоя стала одеваться, сердитая и все такая же стремительная. — Эх, ты!..

Как ни старалась Катя казаться равнодушной к рассказам подруги, «Собрание» заинтересовало ее. Набравшись храбрости, она через несколько дней заговорила об этом с хозяином-инженером.

— Что-о? — сделал тот изумленные глаза. — И тебя захватила эта стихия? Ну и ну!

Он расхохотался, потом пренебрежительно махнул рукой:

— Блажь. Не обращай внимания. Слышала когда-нибудь: есть такие противоинфекционные прививки. Твой поп — как раз такая прививка. Только, по-моему, слишком запоздалая: Россию уж слишком лихорадит! Впрочем, ты все равно этого не поймешь, а значит, не зачем тебе и голову ломать.

Катя действительно ничего не поняла из объяснения хозяина, а расспрашивать подробнее у нее не хватило смелости, потому что инженер тут же бесцеремонно повернулся к ней спиной и, разыскивая в шкафу какую-то книгу, замурлыкал, отчаянно фальшивя:

Если б милые девицы
Да могли летать, как птицы...

Уже направившись к себе в кабинет, инженер снова вдруг остановился и захохотал.

— Нет, я представляю себе: наша Катя — революционерка!

С притворной скорбью он качнул головой.

— Ах, время, время, что ты делаешь с людьми! Запомни, Катюша: чем дальше ты будешь держаться от всего этого, тем меньше пострадает твоя неземная красота.

И захлопнул за собой дверь кабинета.

...А газеты, между тем, нет-нет да и приносили известия, заставлявшие Катю настораживаться: почти по всем крупным городам России идут стачки рабочих, крестьяне в деревнях снова начали нападать на помещичьи усадьбы.

— Будь ты подальше от этой... политики, — советовала и тетя Поля. — Она, знаешь, никогда еще до добра не доводила.

— Вот и я так же думаю, — соглашалась Катя.

И все-таки смутное, неизъяснимое чувство тревоги продолжало нарастать в ней с каждым днем.

Митрофан Степанович, внимательно приглядывавшийся к Кате, обеспокоенно покачивал головою. «Что-то неладное творится с дочерью», — думал он, — а что — понять не мог. Успокаивал себя тем, что, должно быть, просто она тоскует: давно нет писем от Акима.

— Вот, видишь, — как мог успокаивал он дочь. —

В газетках пишут: настроение у всех моряков на кораблях бодрое, все полны решимости.

— Да, да, — поспешно соглашалась Катя. — Я читала об этом.

И не мог он понять: чудеса какие-то, да и только, то она смеется, песни распевает, то вдруг остановится у окна, опустит руки — и уж, кажется, ничего не видит, не слышит.

— Слышь, доченька, — советовал он. — Пошла бы погулять, воздухом подышать.

— Нет, я лучше дома посижу, — отказывалась Катя. — Устала я, папаня. Ох, как устала!..

А за окном бушевала метель, завывал ветер, лед трещал на реке так, что треск этот даже и здесь, в подвале, был слышен.

— Ну, сиди, коли так, дома, — соглашался Митрофан Степанович.

Он сокрушенно качал головой: нет, непонятное происходит с дочерью...

2.

В бухте Носи-бе Дорош отпросился на берег, и минут через пятнадцать — двадцать уже шагал вдоль ряда убогих хижин, крытых тростником: жалкий вид их был особенно удручающим на фоне пышной, великолепной тропической зелени, окружавшей небольшой поселок туземцев.

Маленький островок — всего что-то около шестидесяти пяти квадратных километров — казался пустынным: жители, напуганные приходом большого числа неизвестных кораблей, а того больше — частыми опустошительными набегами французов с находящегося неподалеку западного берега Мадагаскара, пугливо прятались при появлении европейцев.

В Хеллевил — маленькую французскую колонию, где обитают, по рассказам, человек пятьдесят европейцев и, кажется, есть даже католическая церковь и неизменное кафе «Париж», — Дорошу идти не захотелось, и он решил возвратиться на «Аврору».

Шлюпки у берега не оказалось; но тут Дорош увидел, что от стоявшего вблизи «Авроры» крейсера «Дмит-

рий Донской» отошла шестерка и ходко заскользила к берегу. Когда ее нос ткнулся в золотистый, влажный прибрежный песок, один из матросов крикнул весело:

— На «Аврору», ваше благородие? Садитесь, мигом доставим.

Уже на пути к «Авроре» Дорош разглядел этого матроса: широкое, скуластое лицо его, чуть тронутое кое-где оспинками, было добродушно открытым, глаза веселы и немножко насмешливы, из-под бескозырки выбивался белобрысый чуб. Матрос придерживал на коленях самодельный сундучок, для прочности обитый по углам полосками белой жести.

Ленты бескозырки, чтобы не унесло ее ветром, матрос подвязал под подбородком.

— К нам на «Аврору»? — спросил Дорош.

— Так точно, — отозвался матрос. — Переведен.

— Специальность?

— Комендор.

— Значит, у меня будешь служить. У меня как раз некомплект. Скажешь — в роту лейтенанта Дороша.

— Есть, у вас служить, — как-то нараспев произнес матрос.

На «Авроре» Дорош поспешил в свою каюту, а матрос, как требуется, доложил о прибытии и, получив приказание отправляться пока что в кубрик, весело повторил:

— Есть, в кубрик!

Он остановил одного из пробежавших по палубе матросов:

— Слышь-ка, браток, в роту лейтенанта Дороша — это куда мне?

Спустившись вниз, он остановился у порога, выпрямился и, осмотревшись по сторонам, звучно произнес:

— Здорово, други!

Матросы, удивленные, обступили его.

— Гляди-ка! Ты откуда такой взялся?

— Штрафованный матрос первой статьи Евдоким Копотей собственной персоной, на постоянное жительство, — шутливо отрапортовал он. И тут же справился: — Примете в компанию, альбатросы?

— Аль-ба-тросы! — смешливо фыркнул Степа Голубь. — Выдумаешь тоже!

— А что: мы, матросы, и есть альбатросы, — скоро-

говоркой, в лад ответил новичок. — Сегодня — здесь, завтра — за тридевять земель, послезавтра — на дне морском. Как в песне поется: «Матрос — по просторам скиталец, кто скажет, где путь его лег?..»

Он снова оглядел всех:

— Так как же: принимаете или нет?

— Такого да не принять? — отозвался кто-то из матросов. — Ишь, веселый какой. Ты, поди, и хмуриться-то не умеешь?

— А зачем хмуриться? — хитровато улыбнулся Копотей. — На хмурых черти воду возят.

— Но откуда ж ты все-таки взялся? — продолжали допытываться моряки, тесно окружив Копотея.

— Откуда? — переспросил он. И вдруг сделал каменное, «уставное» выражение лица и поднес ладонь к бескозырке, лихо заломленной набекрень.

— Так что переведен к вам с «Донского».

Это был первый случай перевода с одного корабля на другой во время плавания, да еще в чужом порту, и матросы недоумевали:

— За что это тебя, а? Или набедокурил что? Дисциплину нарушил?

— Что вы, други! — Я — тихий, даром и мухи не обижу. Да за это бы и не стали, пожалуй. Ну, отсидел бы в канатном ящике — и вся недолга.

— А за что ж тогда? .

Копотей пожал плечами:

— Начальству виднее, на то оно и начальство.

— Это, понятно, так. А все ж таки? Да ты не бойся, тут доносчиков нет.

Копотей понизил голос:

— За непочитание родителей, ясно?

— Это каких же родителей? — не сразу сообразил Ефим Нетес и удивленно поморгал.

Копотей весело посмотрел на него.

— Вот и видно, что в словесности не преуспеваешь. Поди, вместо того, чтобы унтера на занятиях слушать, мух ловишь.

Нетес обиженно отвернулся.

— Скажешь тоже!..

Матросы грохнули хохотом. Сам не подозревая, Копотей угодил в точку: из всех занятий Ефим Нетес действительно больше всего не любил словесности, и пока

шло объяснение, что́ есть устав и что́ есть матрос императорского флота российского, отчаянно боролся с дремотой. Сколько раз из-за этого приходилось ему выполнять неожиданную команду: «Встать! — Сесть! — Встать! — Сесть!..»

— А должён бы ты знать, — унтерским наставительным тоном продолжал, подмигнув матросам, Копотей, — должён бы знать, что у матроса одни есть родители: царь-батюшка и царица-матушка. Ну, и унтер, само собой конечно. Это уж, можно сказать, больше, чем отец родной.

— Ах, во-от оно что! — понял наконец Нетес.

— То-то самое и есть. А ты, поди, еще и непочтительно о господине унтере отзываешься... Ну, други, где мне тут устроиться можно?

Не успел Копотей расположиться, как в кубрик, побряхтывая на ходу, спустился отец Филарет. Он отдышался, поморгал рыженькими ресничками и сразу же нащупал взглядом нового матроса. Копотей стоял, смиренно опустив книзу хитроватые глаза.

— Прибыл, значит? — неопределенно произнес отец Филарет.

— Прибыл, батюшка, — серьезно подтвердил Копотей, поднимая взгляд. — В целости и сохранности.

— Вот-вот, — продолжал отец Филарет. — Сообщил мне ваш батюшка, отец Афанасий, о твоих проделках. Здесь, небось, тоже на молитву выходить не будешь? А? С унтером спорить и все прочее?

— Что вы, батюшка! — неподдельно ужаснулся Копотей. — Да на молитве я готов хоть целый день стоять. Особливо ежели в этот день вахта... Страсть как люблю помолиться!

— Говорун ты, вижу, говорун, — покачал головой отец Филарет. — А с говорунами на том свете знаешь, что бывает? А?

— Это верно, — вздохнув, печально согласился Копотей. — Говорун я. Сызмальства. У меня и родители такие. Вот мать моя — как начнет, бывало, спорить с дьяконом нашим — уж на что тот брехун был, а и то руки поднимал: сдаюсь, говорит, раба божья.

— Это о лице духовного звания — и так непочтительно?! — ахнул отец Филарет.

— Да какого же она духовного звания, батюшка? —

неподдельно изумился Копотей. — Мать у меня самая что ни есть простая женщина.

— Тыфу, с тобой греха наберешься, — вконец обозлился отец Филарет и, сердито вздернув бороденку, заторопился к трапу. Погрозил со ступеньки:

— Гляди, договоришься!

— Проваливай, проваливай, жеребьячья порода, — вполголоса произнес Копотей. — Ишь, явился — не запылился...

Матросы, с интересом прислушивавшиеся к разговору, кусали губы, сдерживая смех.

— Смотри-ка ты! — покачал головой Копотей. — Какая трогательная забота о спасении матросской души! Не успел я на корабле появиться, а он уже тут как тут. И все ему обо мне, оказывается, известно...

— Может, покурим пойдём? — предложил вдруг Аким Кривоносов.

— Это можно, — согласился Копотей.

У обреза, когда они остались втроем: Аким, Копотей и некурящий Степа Голубь, — Кривоносов сказал вполголоса:

— Я насчет нашего батюшки... Ты с ним поосторожнее.

— А мне что? — беззаботно пожал плечами Копотей. — Детей с ним крестить? Матрос — он весь на виду, верно? Его хоть в охранку, хоть к чёрту в пекло — одинаково не испугается. Как в той песне: «Сотри матроса в порошок, а он себе живет!..»

Он затаился дымком и внимательно, изучающе поглядел сначала на Акима, потом на Степу.

— Однако рассказывайте, как вы тут? Унтеры, небось, бьют?

— А у вас, на «Донском», конфетки раздают? — зло возразил Кривоносов.

— Это верно, не раздают, — согласился Копотей. — Боцманы, поди, сволочь на сволочи?

— Двоюродные братья вашим.

— Тоже верно. Они на всех кораблях одним миром мазаны. Ну и что же теперь?

— А что? — не понял Кривоносов.

— А то, что мне, к примеру, — невозмутимо ответил Копотей, — моя физиономия настолько нравится, что я не хотел бы ее боцманскими синяками украшать. Она

и без них вот ведь как хороша, даром что конопатая. Как думаете?

Кривоносов повернулся к Копотею.

— А ты что — слово петушиное знаешь против боцманского кулака? — спросил он. Новый матрос начинал ему все больше нравиться.

— Знаю, — подтвердил Копотей. — Вот.

И он показал Кривоносову руку с растопыренными пальцами.

— Это к чему бы? — недоумеая, спросил Кривоносов.

— А к тому самому. Если я тебя одним пальцем ткну, как думаешь — больно будет?

— Н-не очень, — сказал Кривоносов: он стал уже понимать, куда клонится разговор.

— Ну, а ежели я все эти пальцы да вот таким манером сожму, — и Копотей показал внушительных размеров кулак. — Пожалуй, даже тебя, богатыря, свалить можно. Верно?

— Ну, верно, — согласился Кривоносов.

— А боцман — он телосложения более хлипкого, — подтвердил Степа, просветленный догадкой.

— Боцманы, — непонятно поправил Копотей. — Имя существительное, число множественное. А матросов все-таки больше!..

Он поднялся, размялся:

— Однако что ж это мы от других уединились? Не-гоже так. Пошли в кубрик?

По дороге он спросил у Кривоносова вполголоса:

— Много у вас на корабле... таких, как ты?

— Найдутся, — так же тихо отозвался Кривоносов.

...А вечером, после отбоя, Копотей, оказавшийся соседом Акима по койке, продолжил дневной разговор.

— У нас, на «Донском», вроде вашего боцман был: зверь, а не человек, — вполголоса рассказывал он. — Прямо тигра какая-то! Половина матросов с синяками ходила. А уж поперечное слово ему сказать — это и не думай: со свету сживет! Ну и что ж: проучили малость — сразу мягче стал. Нехитрая наука, а полезная.

— Как проучили? — заинтересовался Кривоносов.

— А очень просто. Идет он как-то ночью по палубе, вдруг сзади одеяло ему на голову кто-то набрасывает и давай бить! Чует, что не один бьет — много кулаков,

а кто — поди, догадайся. Уж он и ругался, и грозил, и потом упрашивать стал: пощадите, дескать, больше не буду. И так его славненько извалтузили, что он, сердешный, даже сознания лишился. А когда очухался — ни одеяла, ни матросов кругом. Один на палубе, только звезды над ним помигивают...

— Нажаловался?

— А на кого жаловаться? Да и знает он, что командир не похвалил бы его: битый боцман — это уже не боцман... Так и ходил потом недели две с синяками. Споткнулся, говорит, ушибся. А какой там споткнулся — вся морда фиолетовая.

Копотей насмешливо крикнул и умолк.

— Вот это здорово! — восхищенно воскликнул Степа Голубь. — И что теперь, мягким, поди, стал?

— Ну, не очень, чтобы мягким, — проворчал Копотей. — А все-таки зуботычины с оглядкой дает.

— Слышь, Евдоким, — жарко прошептал Кривонос. — А за что ты... штрафованный?

— За правду, — не сразу отозвался Копотей. — Кое-кому она, правда эта, хуже яда...

Кривонос нащупал в темноте руку Копотея и крепко ее пожал, будто хотел сказать: «Считай, что мы с тобой теперь — самые верные товарищи!»

Не меньше, чем Кривонос, обрадовался прибытию нового матроса Листовский. Правда, расположился он к Копотею не сразу, не так быстро, как Аким, — он долго присматривался, раздумывал, прислушивался к словам штрафованного матроса, а дня через три вдруг сам подошел к Копотею:

— Вот что, Евдоким. Я насчет себя коротко тебе скажу: горняк я, шахтер. И весь род у нас шахтерский... Батьку моего по доносу нашего попа арестовали. Так в тюрьме и умер.

Он задумался, будто подыскивая самые нужные слова.

— Прежде, знаешь, до флота, — продолжал он, — я многого не понимал. А теперь вот присматриваюсь.

Он умолк.

— Э, да что там! — вдруг воскликнул он. — Одним словом, если нужен тебе верный товарищ, вот моя рука!

Так, понемногу, узнавал Копотей тех, с кем предстояло ему служить и дружить. И пусть их мало еще

было, этих надежных друзей, — он верил: будет больше.

Однажды вечером он решил рассказать им о себе самом.

Рано, очень рано кончилось детство Евдокима Копотея.

До боли отчетливо помнит он тот вечер. Евдоким сидел за столом, готовил уроки: он учился в третьем классе реального. Мать, по другую сторону стола, проверяла ребячьи тетради, изредка улыбаясь — забавные изложения пишут ее ученики. В квартире было тихо и уютно, пахло сухими травами, собранными матерью еще в прошлое лето. На стене мирно отбивали такт старые часы: маятник ходил вверх — вниз, вверх — вниз, и Евдокиму казалось, будто часы укоризненно приговаривают: «Так-так... Так-так... Хорош, нечего сказать, опять сегодня штаны разорвал? Так-так...»

Из ба́шенки, наверху часов, выскочила кукушка. Она прокуковала девять раз и снова юркнула за дверцу, в темное свое деревянное гнездышко. Мать, словно проверяя кукование кукушки, подняла глаза на циферблат:

— А батьки-то нашего все нет, сынок. И куда он мог запропасться?

И, как будто в ответ на эти слова, в передней звякнул колокольчик — нетерпеливо, раз, другой, третий...

Мать поспешила в переднюю. Она возвратилась с каким-то незнакомым мужчиной. Он остановился в дверях, неуверенно вертя в больших жилистых руках старенький, измятый картуз.

— Варвара Павловна? Я — из депо, от вашего мужа...

Мать испуганно прислонилась к дверному косяку:

— Что-нибудь случилось? Говорите скорее!

Мужчина отозвался не сразу.

— Ну говорите же! — умоляюще повторила мать. — Арестовали?..

— Да, — выдохнул он наконец. — Нынче, в обеденный перерыв, взяли... Просил передать вам, чтобы не беспокоились.

Мать не закричала: крик был в ее зрачках. Она зажала рот ладонью, расширенными глазами глядя на пришельца:

— Взяли!..

Она так и не заплакала в тот вечер — она нервно ходила по комнате, поминутно прислушиваясь, не позвонят ли у входа. Придут с обыском или не придут? Долго и старательно жгла она какие-то бумаги, а пепел собрала в ведро и вынесла во двор. Евдоким следил за ней испуганным взглядом и не понимал: что же это происходит?

С обыском пришли уже перед рассветом. А на следующий день мать вызвали в участок: ей надлежало вместе с сыном в трехдневный срок покинуть город...

Девять лет после этого скитался по свету Евдоким: батрачил у кулака в богатом селе под Оренбургом; копал землю на строительстве железной дороги, которую начали тогда прокладывать на восток, к берегам Тихого океана; таскал тяжелые мешки на крупорушке где-то под Елабугой. И не было, наверное, работ, которых бы он не перепробовал за эти девять лет.

В эти-то годы и познакомился Евдоким с хорошими людьми, которые открыли ему глаза на правду. Он узнал имена Степана Халтурина, Обнорского; рискуя быть схваченным, он возил по селам социал-демократические листовки, выполнял большие, а чаще всего маленькие, но всегда сопряженные с опасностью задания подпольной революционной организации.

И вот — война, призыв во флот, нелегкая и постылая служба...

Только то и спасало Копотея, что в скитаниях по свету, в бесконечных мытарствах не растерял он свою веселость, не однажды выручавшую его в самые трудные минуты...

— Помирать — и то с шуткой буду! — говаривал он.

Таков он был, Копотей, — матрос «разряда штрафованных».

Со дня прихода на «Аврору» нового комендора повеселел Аким Кривоносов.

Правда, не на все вопросы, тревожившие его, мог дать ответ Копотей: многое, признавался он, и ему самому еще не понятно. Но главное-то он знал: надо не падать духом, не вешать носы, а объединяться и действовать сообща — вот так же, как объединяются рабочие на заводах.

Слушая Копотея, Аким все чаще вспоминал теперь старика Митрофана Степановича: так он и не сказал тогда, что же нужно сделать, чтобы облегчить матросскую участь. Но если бы сказал, — верил Кривоносов, — то сказал бы наверняка то же самое, что говорит сейчас Копотей.

Аким решил открыться Копотею, рассказать ему о том, что вот нет ни одной весточки от Кати, и не знает он, что с нею, как она там живет, и мучает его эта неизвестность. Уходил в море — больная она была...

Копотей выслушал его молча.

— А ты, Аким, не отчаивайся, — успокоил он. — Такая девушка не разлюбит и не забудет. Ну, а если писем нет — это понятно. Офицеры — и те жалуются, что не получают свежую почту. А нашему брату — матросу, кроме всего прочего, письма еще и вредны: чего доброго, узнает кто-нибудь о том, что в России сейчас неспокойно...

Однажды Копотей, когда они были вдвоем, достал из-под форменки какой-то листок, старательно свернутый несколько раз:

— На-ка, почитай. Еще от самого Петербурга берегу!..

Аким развернул листок, прочел первую строчку: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

— Это кто же такие — пролетарии? — с интересом спросил он.

— Ну, люди, у которых нет ничего. Понимаешь: ничего, кроме собственных рабочих рук. Вот как у тебя, например, — пояснил Копотей. — Ни кола, ни двора, юдни мозоли...

— Что ты! — удивился Аким Кривоносов. — Мы с той поры, как из Киева приехали, кое-какой худобишкой обзавелись. Какой же я... — пролетарий? Я — самый что ни есть хлебороб.

— Во-от оно что! — насмешливо-добродушно протянул Копотей. — Однако, как говорят у вас на Черниговщине, це дило треба разжуваты... Вот скажи-ка ты мне, хлебороб, земли у тебя много? Небось, десятин пятьдесят имеешь?

— Полдесятины... на шесть душ, — глухо отозвался Кривоносов. — И та — один суглинок.

— Та-ак. Скота, конечно, много?

— Смейшься? Телок годовалый да еще недавно полтора десятка кур завели, писал отец.

— Телок, стало быть, на шестерых? Тебе достается что-то побольше полноги? При твоём богатырском росте на один хороший обед. Так или нет?

— Ну, так, — подтвердил Кривоносов. — Однако тоже соображай: телок-то подрастет!

— А пока подрастет, его за недоимки успеют взять. Может статься?

— Может...

— Вот видишь. Земли у тебя, выходит, нет, скота — тоже. Чем же ты богат? Поди, хоромы какие-нибудь отгрохал в своих Крутоберезках?

Кривоносов не сдержал невольной улыбки:

— Хоромы? По сию пору ютимся у бобылихи Варвары. Избенка-то наша, как переехали мы в Киев, завалилась, а вернулись — все мочи нет строиться...

— И выходит, хлебобоб, что и впрямь ничего, кроме собственных мозолистых рук, у тебя пока что нет, — подвел итог разговора Копотей. — Вот, оказывается, и есть ты самый настоящий бедняк-пролетарий.

Кривоносов задумчиво почесал в затылке: возражать Копотею было нечего.

— А что, скажи на милость, — начал он, но так и не удалось ему ни листок дочитать, ни закончить этот разговор: боцманская дудка настойчиво звала на палубу.

— Ничего, мы с тобой еще не раз потолкуем, — обнадежил его Евдоким Копотей. — А пока что — спрячь, пролетарий, подальше листочек да шагай на ученье...

Г Л А В А 7

1.

Митрофан Степанович неожиданно заболел.

Еще в пятницу вечером он начал жаловаться на то, что его ломает и лихорадит. Ссутулившийся, молчаливый, с потемневшим лицом, он сидел в углу и дымил своей трубкой, безучастный ко всему. Мимоходом Катя потрогала его лоб: горячий!

— Ты вот что: ложись-ка, а я сейчас за доктором сбегаю, — предложила она.

— Зачем? — безразлично возразил старик. — Что у нас — денег девать некуда? Ведь он, доктор, меньше чем за целковый и не пойдет, а у нас и так до твоей полочки навряд хватит...

Он просяще поглядел на Катю.

— Вот если бы ты мне косушечку сообщила, иное дело. И расход невелик, и лечение проверенное, матросское, — невесело пошутил он. — С перчиком наведу — пойдет по жилам, утром, глядишь, здоровым встану.

Катя сбегала на угол, в лавчонку, но и водка не помогла старику: к ночи он горел.

Всю субботу Катя работала, не соображая, что она делает; мысли ее были дома: как там отец, не стало ли ему хуже. Вечером она собралась домой пораньше, — тетя Поля, узнав, что случилось, сама заторопила ее — иди, иди, чего ж ты тут прохлаждаешься? — и начала собирать пакет с какой-то снедью. Но тут вошла хозяйка.

— Ты что, уже уходишь? — недовольно сказала она. Катя пыталась объяснить ей, почему она торопится, но хозяйка не слушала. Она пожала плечами: ей-то до всего этого какое дело?

— Ну что ж, если нужно — иди, — нетерпеливо обрвала она девушку. — Только завтра, пожалуйста, приди пораньше. У Игоря Вениаминовича день рождения, будут гости... Правда, приглашенных немного, время военное, но все-таки...

И вышла из кухни.

— Вот тебе и на! — огорченно покачала головой тетя Поля. — Ничего, Катюша, не поделаешь, придется прийти... Да что ж это она меня не предупредила? Надо будет с утра на рынок отправляться.

Утром в воскресенье, еще затемно, Катя собралась на Садовую. Она приготовила отцу обед, убрала в комнате и в нерешительности остановилась возле постели старика:

— Я пойду?

— Иди, доченька, иди, — поспешно согласился Митрофан Степанович. — Мне малость легче — ничего, отлежусь...

Катя начала одеваться. Нехорошо, ох, как плохо было у нее на душе...

Петербург был еще погружен в утренний полумрак.

Падал мягкий, крупный снег; потеплело, и снежинки, не относимые ветром, осторожно ложились на оголенные ветви деревьев, на ступеньки парадных лестниц, на гранитный парапет. Живая белая сетка висела над городом.

Второпях Катя не сразу заметила, что город сегодня выглядит как-то необычно, не по-воскресному возбужденно. Скрипели калитки, хлопали двери в подъездах, люди выходили на улицы семьями — мужчины, женщины, детишки; празднично одетые, они весело перекликались друг с другом, останавливались на мостовой, что-то горячо обсуждая. Чем ближе к Неве, тем людей становилось больше, и уже сплошной гул голосов заполнял улицы, и в этом гуле ничего нельзя было разобрать. Да Катя и не пыталась. Поглощенная мыслями об отце, она не придавала этому значения: идут — и ладно, а ей-то какое дело?

Неподалеку от Среднего проспекта ее окликнул веселый, звонкий девичий голос:

— Катюша, и ты с нами?

Катя оглянулась: Зоя! В старенькой шубейке с истертым заячьим воротником, в огромном пуховом платке и в стоптанных валенках, она тем не менее была на диво хороша и привлекательна — возбужденная, радостная, порозовевшая от мороза.

— Как же это ты все-таки решилась? — затормошила она подругу. — Ой, молодец какая!

— На что решилась? О чем ты говоришь? — не поняла Катя.

— Как, разве ты не с нами идешь?

— Куда?!

Но в это самое время кто-то закричал с крыльца:

— Становитесь по четыре!.. По четыре в ряд становитесь!..

И другой — высокий, почти женский — голос выкрикнул:

— Кто там с хоругвями? Выходите вперед!..

Толпа колыхнулась, задвигалась на месте, зашумела, смешалась в одну сплошную говорливую, разноликую массу, но это продолжалось совсем недолго, всего несколько минут, и вот из этого хаоса постепенно начали вырисовываться контуры более или менее стройной колонны.

Впереди нее, высоко над головами, появились парчовые серебристо-зеленые хоругви. Трепыхались, раскачиваясь, тяжелые кисти; наклонялись вперед и снова выпрямлялись деревянные древки.

— Бат-тюшки! А иконы-то где? — всплеснула руками пожилая, грузная женщина, и спереди, оттуда, где были хоругвеносцы, тотчас донеслось:

— Кто с иконами? Выходи тож вперед!.. Пропустите, господа, пропустите!..

Катя изумленно смотрела на эту бурлящую, волнуемую массу возбужденных людей и все не могла понять: что ж тут происходит?

Какой-то паренек заметил ее:

— А ты что остановилась? Не видишь — люди в ряды строятся...

Ей хотелось спросить: ну, а она-то при чем тут, ей-то зачем строиться, но паренек уже отвернулся, он о чем-то спорил, что-то приказывал и вскоре убежал в другой конец колонны — ему было не до Кати.

Она оглянулась, разыскивая Зою, — ее не было. Ее, оказывается, уже оттерли от Кати, втиснули в шеренгу, и оттуда, приподнявшись на цыпочки, она крикнула, стараясь перекрыть гул голосов:

— Ну так как же, Катя? Идешь с нами?

— Куда? Куда вы? — переспросила Катя.

— К Зимнему... Царю петицию вручать!..

Растерянная, ошеломленная, Катя не успела собраться с мыслями, хоть что-нибудь ответить Зое, а толпа уже как-то странно подалась вперед, еще не сделав первого шага, потом с минуту будто раскачивалась на месте, и все тот же знакомый высокий, почти женский голос, который давеча распоряжался насчет хоругвей, неумело скомандовал:

— Пошли!.. Да пошли же, господа!

И шеренги вот-вот двинулись бы мимо Кати, но тут какая-то девочка лет пяти, закутанная в материнский платок так, что лица ее разглядеть было нельзя, крикнула испуганно:

— Мама, я зайца уронила!

И заплакала.

— Где заяц? Какой заяц? — рассмеялись люди, и тотчас несколько голосов разом закричало:



— Осторожнее, осторожнее! Тут девочкин заяц!

И тогда смех — хороший, спокойный смех — прокатился по всей колонне. Шеренги перепутались, люди, торопливо расступились, и через минуту заяц был поднят над толпой — тряпичный, с нелепо длинными намалеванными усами и с одним ухом, болтавшимся на ниточке.

— О, это зверь серьезный! — громко сказал кто-то, и все снова рассмеялись.

— Держи, дочка, — женщина в полушубке подала зайца девочке. Та благодарно вздохнула и прижала игрушку к себе.

— Пошли, господа, пошли! снова скомандовал высокий голос.

И вот шеренги — не в ногу, растягиваясь, уминая снег на дороге, стали проходить мимо Кати, испуганно



прижавшейся к стене какого-то дома, и опять парень — тот что окликал Катю, увидел ее.

— А ты, значит, остаешься?..

Уже давно последний ряд колонны исчез за поворотом улицы, уже не было слышно ни людского говора, ни скрипа снега, а Катя все еще стояла, прижимаясь к холодной, заиндеветавшей стене.

Только через час добралась она до Садовой. Несколько раз ее останавливали солдатские патрули:

— Куда идешь, девушка?

И она говорила, что спешит по делам, на работу, и что у барины ее сегодня день рождения, и если она опоздает, ей будут неприятности. И ее пропускали, и солдаты бросали ей вдогонку какие-то шутки, а потом снова начинали пританцовывать на месте, чтоб только разогреться; а она уже не шла — бежала, и все думала об одном: зачем солдаты? Зачем на улицах солдаты?..

Уже совсем неподалеку от дома, где жил инженер, дорогу Кате преградил городской:

— Нелегкая тебя тут носит. Не видишь разве, что делается?

Но Катя даже не обиделась на его грубость: она мысленно повторяла одно: зачем солдаты?..

Как ни удивительно, хозяева, несмотря на ранний час, уже не спали. Инженер в полосатой пижаме и в меховых туфлях стоял в гостиной у окна и дымил папиросой. Время от времени он почему-то приподнимал голову и настороженно прислушивался, а к чему прислушивался — непонятно. Потом он начинал ходить по комнате, из угла в угол, нервным, торопливым шагом, но через минуту снова возвращался к окну и все прислушивался.

Хозяйка, с ночными папильотками в жидких волосах, испуганно глядела то на мужа, то на окна, за которыми, неторопливое и широкое, сейчас пока еще едва угадываемое, занималось зимнее утро.

— J'ai peur! * — повторяла она шепотом.

— Ах, оставь! — нетерпеливо отзывался инженер. — Не до тебя сейчас!

И снова принимался вышагивать от окна к двери, временами останавливаясь и поеживаясь, словно ему было холодно.

— Пришла-таки? — как будто не веря самой себе, удивленно воскликнула тетя Поля при виде Кати.

— А почему же не прийти? — в свою очередь удивилась девушка.

— Да на улицах-то: видела, что творится? Тыщи тысяч вышли. Весь Питер всколыхнулся!

— Видела, — подтвердила Катя. — Там одна девочка зайца в снег уронила. Чуть не затоптали.

— Какого зайца? — не поняла тетя Поля.

— Матерчатого. Забавный такой заяц!

Тетя Поля махнула рукой: поймешь тебя! Помешивая что-то в кастрюле, она рассуждала вслух:

— Ишь ведь что удумали: к самому царю идти!

— Тетя Поля, а почему на улицах солдаты? — спросила Катя.

— Потому и солдаты, что незачем идти к царю.

— Так ведь миром же, тетя Поля! Я сама видела!..

Кухарка круто повернулась к девушке, во взгляде ее была тревога и растерянность.

— А хоть бы и миром. Что ему, царю, иного занятия нет, кроме как голытьбу выслушивать? Я вот двадцать пять лет живу в Питере, а ни разу не удостоилась

* Мне страшно! (франц.).

увидеть его даже издали. Это понимать надо: у него дела. Держава — шутка сказать!..

— А там детишки, тетя Поля! Женщины.

— Вот я об этом самом и толкую, — кухарка с остервенением швырнула ложку. — Доиграются!

— И откуда у вас такая злоба к народу? — задумчиво возразила Катя. — Я ж вам говорю: люди с чистыми сердцами, как на праздник. С иконами!.. А вы этакое говорите!

Тетя Поля задохнулась от обиды.

— Как ты сказала? Злоба? Дуреха ты, как я погляжу! Это я-то худое о народе скажу? Думаешь, что мелешь? Я всю жизнь, не разгибаясь, батрачу — нашла барыню!

Ситцевым фартуком она машинально вытерла раскрасневшееся лицо.

— А только одно знай: добром эта нынешняя затея не кончится, помяни мое слово! Ох, не кончится!..

Она снова отвернулась к кастрюлям, зло гроыхая крышками.

— «Злоба!» — ворчала она вполголоса. — Девчонка, что ты понимать можешь?..

— А, вам все какие-то страхи мерещатся, — с усмешкой возразила Катя. Ей вдруг представилось, как вот сейчас эта колонна, которую она встретила по пути сюда, сольется с другими такими же колоннами, и как вся эта громада — необъятная, но мирная и торжественно-просветленная, словно во время крестного хода — двинется к Дворцовой площади, и как царь, увидев приближение людей, выйдет и, отвесив земной поклон, спросит — совсем как в былине о Владимире Ясном Солнышке:

— С чем пожаловали, люди добрые?

Катя тряхнула головой, усмехнулась: красиво, как в театре...

Часу в одиннадцатом тетя Поля послала Катю — уточнить у хозяйки, сколько же будет гостей? Инженера и хозяйку Катя застала по-прежнему в гостиной: он все так же стоял у окна, курил и, казалось, к чему-то прислушивался, она полулежала на диване и не сводила с мужа тревожно-расширенных глаз.

— Ах, что ты, милочка! — трагическим шепотом от-

ветила хозяйка на катин вопрос. — Какие там гости, ты что — не видишь, что ли...

В одиннадцать неожиданно приехал Сергей Владимирович — тот самый немолодой, с брюшком, инженер, который когда-то пытался ухаживать за Катей.

— Дома? — отрывисто бросил он и, не ожидая ответа, прошел в гостиную. Хозяин обрадованно заторопился ему навстречу, и они поспешили в кабинет.

— Бастуют на заводе Семянникова, на Франко-русском, на бумагопрядильной Шау, — слышала Катя, как Сергей Владимирович на ходу рассказывал хозяину. — Я к вам еле добрался: на улицах не пробиться!

— Ах, что ж это будет? Что будет?.. — растерянно бормотал хозяин.

Все, что поручала ей тетя Поля, Катя делала механически, будто чужими руками. Она то и дело отрывалась от работы, поднимала голову и вслушивалась, а почему — и сама не знала.

Вдруг она резко выпрямилась и замерла: откуда-то издалека-издалека донесся сухой, рассыпчатый грохот, будто там, вдали, сгружали доски, швыряя их прямо на землю. Охваченная неизъяснимым чувством тревоги, Катя подбежала к окну и распахнула форточку. И тогда она услышала, как с той стороны, где были Нева и Дворцовая площадь, нарастая и перекатываясь, приближался непонятный, страшный многоголосый гул...

Снова послышался рассыпчатый треск, и тогда этот неизъяснимый, странный гул на мгновение прекратился, а потом опять возник с удесятеренной силой.

— Тетя Поля! — иступленно закричала Катя. — Да ведь там же... стреляют!..

И она бросилась к вешалке, неслушающимися руками натягивая жакетку. Куда она побежит, зачем — этого она не знала, она только чувствовала — до боли остро, невыносимо отчетливо, — что не может, не в состоянии сидеть здесь, когда там, быть может, убивают!

В передней стояли уже одетый в свое тяжелое, с бобровым воротником пальто, Сергей Владимирович и хозяин — все еще в пижаме и в туфлях. Каким-то вторым зрением, бессознательно Катя отметила про себя, что она еще никогда не видела хозяина таким: растерянным, жалким. Она хотела проскользнуть мимо них, но хозяин резко повернулся к девушке:

— Куда?! — грубо крикнул он и схватил Катю за плечо. — С ума сошла?

Что было с Катей в этот день?

Она что-то делала, что-то говорила сама и слушала, как что-то говорит ей плачущая тетя Поля. Она в положенный час накрывала на стол и уносила грязную посуду, в сумерках зажигала во всех комнатах керосиновые лампы (электричества не было) и помогала тете Поле убирать кухонную утварь, но что она делает и для чего она это делает — она не понимала.

А там, за окнами, в осязаемой, сгустившейся темноте, бился, стонал, метался, скрежетал и проклинал истоптанный подковами казачьих коней, исхлестанный нагайками, расстрелянный огромный город.

Он жил, этот разом прозревший город — жил, чтобы ненавидеть и мстить.

...Домой Катю тетя Поля не отпустила, и девушка пролежала всю ночь с широко раскрытыми сухими глазами. Она чувствовала, что внезапно, разом повзрослела, нет — постарела за одну эту ночь...

И только на следующий день Катя узнала, что среди сотен смертельно раненных и убитых на Дворцовой площади была и ее веселая, беспокойная черноглазая подружка Зоя Гладышева, которая умирала теперь в маленькой окраинной больничке.

2.

Жара, жара, жара...

Можно ли представить себе в таком пекле, что где-то там, в далекой России, лежат сейчас трехаршинной высоты, огромные голубые снежные сугробы, гуляет метель по дорогам, трещат свирепые морозы?

Лейтенант Дорош много прежде читал об Африке, о южных тропических странах, но как-то не представлял себе, до чего же это изнуряюще: непрерывная, неослабевающая жара...

Вечером, чуть стемнеет, вестовые вытаскивают на верхнюю палубу матрацы и оборудуют офицерам постели. Но спать невозможно: на смену зною приходят полчища гнуса.

В матросских кубриках, этих железных тесных ко-

робках, донельзя нагревающихся за день, должно быть, еще более удушливо и тяжело.

Дорош отсчитывает дни: поскорее бы сняться с якоря и уйти в океан — пусть будет все: и штормы, и качка, и ветер, но только не эта обезволивающая, сковывающая духота.

По ночам Дорош устраивает тренировки комендоров. Матросы работают сноровисто, и Дорош доволен; но как только он скомандует отбой, комендоры валятся тут же у орудий.

— Ты бы пощадил матросиков, — насмешливо-сердобольно говорит мичман Терентин. — Да и себя заодно: гляди на себя, эконо ты похудел, подался...

Но Дорош только стискивает зубы и мичману ничего не отвечает: да, трудно сейчас матросам, а в бою разве легко будет? Пусть привыкают к трудностям, пока есть время. Под разрывами снарядов тяжелее будет...

Он прислушивается к тому, что говорят матросы его роты, и удовлетворенно отмечает: никто не ропщет, не жалуется на тяготы. Вот разве только Голубя жалко: уж очень велика для него нагрузка, паренек-то слабый, хилый, совсем ребенок.

И Дорош, неожиданно для Голубя, приказывает матросу: по сигналу учебной тревоги на боевой пост не являться.

— За что? — испуганно и недоуменно спрашивает Степа Голубь. — За что наказываете, ваше благородие?

Дорошу делается стыдно, что он усомнился в силах и выносливости этого маленького матросика.

Каждую ночь учебные тревоги на плутонге продолжают по-прежнему.

В Носи-бе эскадра задержалась дольше, чем предполагалось вначале: не было корабля, где бы не требовались ремонтные работы.

Неисправности в машинах на судах эскадры обнаруживались во время перехода по несколько раз, в особенности на броненосце «Бородино», где эксцентрики выходили из строя почти каждый час.

Пароход «Малайя» из-за поломки в машине еще на подходе к устью реки Габун был взят на буксир. На подступах к Грэт-Фишбэй сперва на «Камчатке», а потом на броненосце «Орел» приключились крупные по-

вреждения в механизмах; на «Нахимове» вышел из строя рулевой привод.

Где-то неподалеку от Ангра-Пекуэна «Камчатка» снова сообщила флагману семафором: согнулся шток цилиндра низкого давления, не вполне пригнанный.

К этим зловещим прибавились новые: с каждым днем все ощутимее становилась нехватка провианта. Давно уже должен был прийти пароход с мукой, сухарями и консервами, но дни шли за днями, а его все не было. Рождественский терялся в догадках, слал депеши самого отчаянного содержания, но Главный морской штаб ни на одну из них даже не отозвался. Суточный рацион нижним чинам сокращался почти ежедневно.

Тропическая жара, недоедание, огромное напряжение сил при бесконечных угольных погрузках — все это резко сказалось на здоровье матросов, особенно тех, кто послабее. Теперь в кубриках все ночи напролет почти ни на минуту не умолкал тяжелый, надсадный кашель, возникавший то в одном, то в другом углу.

Егорьев, изменяя своему правилу не касаться в дневнике дел на эскадре, записал:

«На днях переселили с госпитального «Орла» на французский пассажирский пароход, уходящий в Европу, двадцать три человека больных нижних чинов — таких бедняг, которые уже безнадежны... Отправлены они без всяких докторов, фельдшеров и других сопровождающих...»

Перечитав написанное, Егорьев решил было вычеркнуть все это от первой до последней строки, но потом как-то равнодушно подумал: а, ладно, пусть остается!.. Вообще в последние дни он чувствовал, что с ним творится что-то необычайное. Приступы апатии, когда все на свете ему становилось совершенно безразлично, охватывали его все чаще. И все чаще приходила мысль: а нужны ли эти недомолвки? Сказать бы все, что он знает, всю правду — горькую, неприглядную!

Иногда это желание становилось настолько острым, что он, противясь осторожному голосу рассудка, тянулся к перу.

«...Находимся в скептическом настроении относительно дальнейшего. Начинаем думать, что Владивосток может быть отрезан, и тогда наша дальнейшая цель становится необъяснимой.

Флот без базы — до сих пор неслыханное предприятие!»

Неслыханное...

А ведь может именно так и получиться, и тогда — все, конец! Тогда все эти сегодняшние титанические, достойные изумления, усилия тысяч и тысяч людей, вся эта самоотрешенность, готовность молчаливо переносить любые невзгоды и лишения — все это теряет свой смысл, становится печальным историческим казусом, не больше.

Что там ни говори, а кажется, к этому все и идет. Черт побери, как же это обидно — расплачиваться за просчеты и ошибки, в которых ты сам нимало не виноват!

Единственной радостью в эти дни оказалось неожиданное прибытие почты, доставленной одним из транспортов.

Аким Кривоносов, узнав о том, что на полубаке раздают письма, бросился туда: вот теперь-то он узнает, как там Катя, поправилась ли после болезни, помнит ли его, любит ли...

Но писарь выкликал одну за другой фамилии матросов, а фамилии Акима так и не назвал. Опечаленный, Аким понуро ушел к «обрезу» и, молча скрутив сигарку, затянулся горьковатым теплым дымом. Кто-то из матросов окликнул его, но он сделал вид, что не слышит. Не хотелось ни с кем говорить, ни о чем думать, — вот сидеть бы так все время и молчать, наблюдая, как тает в воздухе сизоватый махорочный дымок.

Внезапно он почувствовал, как кто-то положил ему руку на плечо. Он поднял взгляд: Копотей.

— А ну-ка подвинься, молчальник, — будто не замечая настроения Акима, весело сказал Копотей. — Да подвинься, тебе говорят! Ишь, нахохлился...

Усевшись возле Кривоносова, он ловко свернул сигарку, прикурил у Акима и только после этого, будто между прочим, бросил вполголоса:

— Ну? Письма не получил? А ты думаешь — один ты не дождался?

Левой рукой он обнял Кривоносова за широкие плечи и легонько, ласково притянул к себе:

— Столько дел впереди, а ты голову повесил! Него-

же, друг! Я тебе говорил: никогда она тебя не разлюбит, не такая она девушка, понял? А письма... Будут еще письма!

— Хороший ты мужик, Евдоким, — задумчиво сказал Кривоносов.

— Чего уж там! — рассмеялся Копотей. — Самый лучший в мире.

...В отличие от своего подчиненного — комендора Кривоносова — ротный командир Дорош получил с этой почтой письмо — первое за все время плавания эскадры. Но лучше бы оно не приходило, это, даже за несколько месяцев не утратившее тонкого запаха французских духов, письмо в узком плотном конверте.

Оно было написано на листке голубой бумаги небрежным, торопливым почерком, без запятых: Элен никогда не любила писать и ни о стройности слога, ни о возможности хотя бы с трудом разобрать написанное не заботилась.

Но Дорош все-таки разобрал каждое слово. Элен сообщала о последних петербургских новостях, о том, какой великолепный бал бы устроен вскоре после отъезда Дороша у князя Гагарина и как она, Элен, до изнеможения танцевала на этом балу с итальянским посланником, а все перешептывались: до этого вечера посланник был известен как женоненавистник.

Дорош читал письмо Элен и словно видел перед собой эту избалованную красавицу с обнаженными плечами, холодно и снисходительно улыбающуюся ему: совсем так же, как улыбалась она при их последней встрече.

«Да, между прочим, Алексис, — писала она. — Помните ли Вы Анатолия Викторовича, сына фабриканта Теушева? Вы еще с ним, кажется, знакомились не то в Летнем саду, не то в Морском собрании. Так вот — он предложил мне на днях руку, и я, наверное, соглашусь. Будем откровенны: а что мне остается делать? Не me tourmentez pas * упреками и не сердитесь на меня, милый, за это решение. Эта противная война неизвестно когда закончится, а мне, — в конце концов все мы немножко эгоисты, не правда ли? — мне, как никак, уже двадцать пять. Скоро я стану совсем старухой.

* Не мучайте меня. (франц.)

Soyez bon enfant que vous avez été *, поймите меня правильно и не осудите...»

Он не дочитал письма. Он скомкал этот душистый листок и в ожесточении швырнул его в угол каюты.

— Вот и все... И все! — повторял он, вышагивая из угла в угол и не замечая, что говорит вслух. — А ты надеялся, верил, жил своей смешной верой!..

В этот день аккуратный и пунктуально точный Дорош в первый раз за всю службу не вышел в положенный час на вахту. Напрасно Зиндеев пытался растолкать его: ротный командир бранился площадной боцманской бранью, скрежетал зубами и бормотал что-то непонятное, то и дело повторяя имя какой-то женщины. Больше всего Зиндеев был изумлен тем, что вином от их благородия вроде бы и не пахло. Да и откуда ему было взяться — вину, если Зиндееву доподлинно известно, что начатая накануне бутылка рома не убавлена ни на одну рюмку.

А между тем лейтенант был похож на пьяного. Один раз он даже открыл глаза и посмотрел на Зиндеева, но посмотрел так странно, будто не узнавая его, что матросу стало не по себе. Потом Дорош снова отвернулся к стене и молча скрежетнул зубами.

Зиндеев постоял, послушал, сокрушенно вздохнул и на цыпочках вышел из каюты.

Дороша разбудил мичман Терентин.

— Алеша! — взывал он. — Ну, проснись же ты, Алешка!

Дорош вскочил, протер глаза.

— Уф, наконец-то растолкал! — смеялся Терентин. — Хорош! Нет, ты погляди на себя в зеркало: всклокоченный, под глазами черные круги... Не будь мы в море-океане, я бы подумал, что ты... недурно провел эту ночь.

Дорош потянулся к часам:

— Что, пора на вахту?

Терентин снова расхохотался:

— Вахту я за тебя отстоял. Евгению Романовичу доложили, что ты болен — что-то вроде легкого солнечного удара. Не забудь, кстати, угостить ромом милейшего Бравина: из любви к тебе сей эскулап готов перед

* Будьте таким же добрым, каким вы бывали прежде. (франц.).

распятием поклясться, что у тебя шизофрения, эпилепсия — все, что твоей душе угодно.

Мичман принялся рассказывать:

— Я давеча к тебе кинулся — твой Зиндеев на порог не пускает. «К их благородию нельзя, говорит. Они... бабу какую-то ругают». Какую же это... бабу, а, Алеша?

Дорош угрюмо отмолчался.

— Что на крейсере? — спросил он, надевая китель.

— На крейсере, ваше благородие, все благополучно, — с серьезной физиономией отрапортовал мичман. — Если не считать маленького происшествия: боцман Герасимчук получил от одного из твоих подчиненных легкое внушение посредством удара вешлом по голове. Голова цела, весло немного пострадало.

Довольный своим каламбуром, Терентин рассмеялся.

— Брось паясничать, — резко остановил его встревоженный Дорош. — Расскажи толком, что случилось.

— Пожалуйста, — пожал плечами Терентин.

...Случилось вот что.

Боцман Герасимчук, уже давно искавший удобного случая, чтобы расквитаться с Ефимом Нетесом, становился день ото дня придирчивее. Трогать же Нетеса беспричинно после предупреждения ротного командира Герасимчук не решался: подобно многим жестоким людям, он был к тому же и трусоват.

Нетес, понимая, что при малейшей его оплошности Герасимчук расправится с ним сразу за все, из последних сил старался нести службу так, чтобы боцману не в чем было его упрекнуть. Рассыльным он по трапу не бегал, а, казалось, летал, во время утренних приборок драил палубу так усердно, что песок жалобно скрипел под его руками, в строй становился, не мешкая ни минуты.

Это-то еще более злило Герасимчука.

Но вот вчера боцман приказал ему взять у подшхипера ведро с белилами и подновить краску на бортах катера. На локтях, не касаясь железных ступенек, слетел Нетес в подшхиперскую, получил все, что полагалось, и уже через несколько минут так усердно работал кистью, что на лбу у него даже выступил пот.

В работе Нетес забывался. Он и сам не заметил, как начал вполголоса, осторожно напевать:

Карие очи, очи дивочьи...

Время от времени он отходил на шаг-два назад — любовался: белила ложились не очень тонким, зато ровным слоем, матово поблескивающим в лучах заходящего солнца.

Дело приближалось к концу. Увлеченный своим занятием, Нетес не заметил, что боцман вот уже минут десять стоит поодаль и, шевеля тонкими бровями, наблюдает за его работой.

Только после того, как оба борта катера были выкрашены и Нетесу оставалось сделать последние мазки, Герасимчук, не торопясь, как-то по-кошачьи подошел к Нетесу.

— Ты что ж это, голубчик, делаешь? — угрожающе-вкрадчиво произнес он своим тихим голосом. — Ты чем думаешь, мать твою...

— А что? — растерянно спросил Нетес. — Разве не так что-нибудь?

— «Не так!» — передразнил боцман. — Вы поглядите, этот остолоп еще спрашивает!

Он вырвал у Нетеса кисть:

— Ведь этих белил, которые ты тут извел, хватило бы на два катера! Так блины сметаной на масленицу мажут, а не красят...

Он замахнулся на матроса.

— Не трожь! — угрожающе выдохнул Нетес и отступил на шаг.

— А что: опять пойдешь ротному жаловаться? — глумливо улыбнулся Герасимчук. — Я из тебя эту дурь выбью!..

Нетес видел, как после каждого слова лицо боцмана становится все более бледным — верный признак того, что боцман в ярости.

Неожиданно тот быстро нагнулся и, выхватив из банки кисть, с размаху ткнул ее в лицо Нетесу. Белила залепили Нетесу рот и нос, побежали тягучими струйками с подбородка, перемешиваясь с кровью.

— Вот тебе, дубина стоеросовая, — спокойно, будто враз охладев, сказал Герасимчук и, бережно опустив



кисть в краску, достал носовой платок и начал вытирать пальцы.

Нетес плохо помнит, что было дальше. Он задохнулся от гнева и обиды, глотнул воздух и осмотрелся вокруг. Рядом с катером стояли весла. Нетес схватил одно из них и — откуда только взялась у этого хилого матроса неожиданная сила! — размахнувшись, опустил его на голову боцмана.

Герасимчук покачнулся и начал медленно сползать на палубу.

А Нетес уже совершенно не помнил себя, он снова угрожающе поднял весло над головой:

— Убью, сволочь! — иступленно выкрикивал он. — Все одно убью!..

Быть бы Герасимчуку убитым, но тут кто-то сзади

властно ухватился за весло и рывком потянул его к себе. Нетес оглянулся: за его спиной стоял задохнувшийся от бега Евдоким Копотей.

— Ты что? — шепотом произнес он, переводя дыхание. — С ума спятил? Ради этой гниды на тот свет захотел? А ну, марш в кубрик!

И Нетес в одно мгновение весь как-то обмяк. Он уронил весло на палубу и закрыл лицо руками.

— Не могу я больше! — сквозь всхлипывания повторял Нетес. — Не могу, понимаешь?

— Ай-яй-яй! — к месту происшествия, на ходу поддерживая полы подрясника, спешил отец Филарет. — Что делается, пресвятая богородица! Что делается!

Отец Филарет наклонился к боцману, пытаясь его приподнять.

— Господи, спаситель наш, — вздыхал он, — ведь это же не матросы, а душегубы какие-то!..

Копотей поднял с палубы весло, прислонил его к катеру и спокойно, слишком спокойно сказал, многозначительно отчеканивая каждое слово:

— Вот что, батюшка. Шли бы вы отсюда подбру-поздорову... И запомните: вы ничего не видели.

— Это как же так? — снизу вверх непонимающе взглянул на него отец Филарет.

— А вот так. Не видели — и все. А то ведь и священники, упаси бог, иногда за борт падают...

И он неторопливо, вразвалочку зашагал по палубе, кивнув Нетесу: иди за мной.

Дознание было коротким, оно заняло всего два часа. Нетес своей вины не отрицал, и уже на следующий день его судил корабельный суд под председательством лейтенанта Ильина. Ильин был особенно обрадован тем, что это чрезвычайное происшествие случилось с матросом Дороша.

— Вот они, результаты демократизма, столь усердно насаждаемого некоторыми господами офицерами, — нарочито громко говорил он утром в кают-компании. — Офицер матроса, разумеется, пальцем не тронь. Как же: это аморально, деспотично и все прочее! А матрос своего командира бьет, как разбойник на большой дороге...

Офицеры угрюмо молчали, но Ильин не замечал этого.

— Вы бы поглядели, господа, — продолжал он, — на несчастного искалеченного боцмана!

— А по-моему, Герасимчуку еще мало досталось, — среди общей тишины спокойно произнес лейтенант Лосев. — Скотина преизрядная — этот боцман. Недаром его матросы так ненавидят.

— Он ко мне начал было похаживать, — вмешался в разговор Терентин. — Так, мол, и так, ваше благородие: тот-то сказал такое-то слово, а вот этот — его поддерживает... •

— И что же вы? — любопытствовал лекарь Бравин.

— А что я? — пожал плечами мичман. — Я ему вежливенько сказал: вот тебе, голубчик, бог, а вот тебе порог. И — адью!

Ильин обиженно поджал губы.

Дорош участия в разговоре не принимал, будто все это его вовсе не касалось. Ему было досадно, что председателем суда оказался именно Ильин, но он понимал, что изменить что-нибудь было не в его силах.

О, уж теперь Ильин покажет себя во всей своей красе!

С затаенной тревогой он ожидал начала суда.

Ровно в полдень на фок-мачте «Авроры» был поднят гюйс, прогремел пушечный выстрел* — судебное заседание открылось.

Перед столом суда Нетес стоял побледневший, но спокойный. Ремень и бескозырка с него были сняты.

Медленно, подбирая за словом слово, он начал рассказывать о том, как преследовал его в последнее время боцман Герасимчук, как угрожал расправиться, как неумоготу стало ему, Нетесу, жить на «Авроре».

— Довольно! — сорвавшись на высокой ноте, выкрикнул лейтенант Ильин. — Нас совершенно не интересуют твои... словоизлияния. Ответь только на один вопрос: признаешь ли ты себя виновным в оскорблении унтер-офицера словом и действием?

*Подъем гюйса (крепостного флага) на фок-мачте, сопровождаемый пушечным выстрелом, означал начало заседания «суда особой комиссии» — специального судебного учреждения на эскадре во время плавания.

— Да. Признаю, — глухо подтвердил Ефим Нетес.

Суд приговорил Нетеса к переводу в разряд штрафованных и к списанию, по возвращении «Авроры» в базу, в штрафную роту сроком на восемь месяцев.

Егорьев рекомендовал суду заменить это наказание двухнедельным заключением Нетеса в карцер.

Дорош встретил решение суда внешне безразлично; когда шло заседание, он находился на вахте и, сменившись, молча выслушал сбивчивый, торопливый рассказ Терентина.

— Нет, я не понимаю, — горячился Терентин, — как ты, Алексей, можешь оставаться таким спокойным? Ведь это же падение всех флотских устоев. Сегодня бьют боцмана, завтра таким же порядком начнут бить тебя, меня...

— Ну, тебе, Андрюшенька, это не угрожает, — зевнув, лениво произнес Дорош. — Давай-ка, господин мичманок, лучше партийку в шахматы сыграем...

С некоторых пор Копотей стал замечать, что ротный командир странно приглядывается к нему: постоит, помолчит и пройдет мимо.

— Смотри, не к добру это! — встревоженно предупреждал друга Кривоносов.

Листовский — тот сразу загорячился:

— Да если он только посмеет! — он сжал огромный кулак. — Вот этим!.. И за борт, понятно?

— Тише ты, дуrolомный, — остановил его Копотей. — Вот ведь не понимаю я тебя, Епифан: горняк, рабочий парень, а выдержки в тебе — никакой. А нам выдержка нужна, ясно всем, други? Дело от нас этого требует.

— Ну да! — не успокаивался Листовский. — А ежели ж тебе свинью подложит, я на него, что, — молиться должен, по-твоему?..

— Ничего! — отмахнулся Копотей. — Я заговоренный, мне еще до прихода на флот бабка-ворожея предсказала, что я ни в воде не утону, ни в огне не сгорю.

— Ты вот все шутишь, — с горечью упрекнул Кривоносов. — А упекут, гляди, в штрафную...

— Ну, положим, второй раз не упекут, — спокойно возразил Копотей. — И рады бы спихнуть куда-нибудь, да некуда. А что шучу — так у меня привычка такая.

Не трусить же, в самом деле, перед кучкой каких-то негодяев.

— Осторожней ты! — одернул его Кривоносов, но смелость друга ему понравилась: уважал он смелых, задиристых, бесстрашных. Уважал и завидовал: у самого далеко не всегда хватало вот такой же смелости.

— Это раб в тебе еще прочно сидит, — будто отгадав его мысли, сказал Копотей. И вдруг спросил: — О декабристах в школе тебе, конечно, не рассказывали? Они против царя затеяли... Пятерых повесили, остальных в Сибирь угнали. Думаешь, они испугались, хныкать начали, о помиловании просить? Как бы не так! Они вот что писали оттуда...

И он на память прочел звучно:

И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями!

Он задумался.

— Смелее нам нужно действовать, Аким. Раскрывать матросам глаза на правду, а не прятаться по углам. Флот-то — ведь он весь на матросе держится. Не будь матроса, любой адмирал, самый выдающийся — ничто. — И он дунул на ладонь. — Понял?

...Повышенный интерес к штрафованному матросу проявлял, оказывается, не один только ротный командир.

Как-то вечером, в кубрике, Степа Голубь вдруг сказал:

— Послушай, Евдоким, нынче меня отец Филарет ну, ей-право, не меньше как полчаса охаживал, чтобы я ему все о тебе докладывал. Зачтется, говорит, сын мой...

— Погоди, погоди, — с любопытством остановил его Копотей. — Это как же докладывал?

— А вот так: что ты говоришь, чему нас учишь. Ну и вообще...

Он смущенно потупился:

— Одного в толк не возьму: почему он именно меня?..

Степа опасался, что Копотей обидится на него, скажет: вот ты какой! А я-то тебе верил! Но тот только спросил:

— И что ж ты ему, Степушка, ответил?

— А я, понимаешь, дурачком прикинулся: дескать, о чем это вы, батюшка. Мы — люди темные!.. Он даже выругал меня: ослица ты, говорит, вифлеемская, а не матрос.

— Ого, да ты не такой уж темный! — Копотей рассмеялся, обнял Степу. И добавил непонятное: — Отец Филарет — леший с ним. За тебя самого — спасибо!

Г Л А В А 8

1.

Словно что-то оборвалось внутри у Кати в тот страшный воскресный день января, и с тех пор беспокойный, лихорадочный блеск, какого никогда прежде не замечал у нее Митрофан Степанович, появился в ее глазах.

— Ты нездорова, доченька? — с тревогой спрашивал Митрофан Степанович, но она молча отрицательно качала головой.

Многое передумала она в эти дни. Все чаще теперь вспоминался ей упрек Зои Гладышевой, что вот, мол, жизнь проходит где-то мимо, трудная, в борении, в радостях и печалях, а ты одна ничего не хочешь знать, кроме своей маленькой мечты о личном спокойном счастье. Нет, теперь бы, наверное, она, Катя, сама пришла к Зое и напрямик сказала: научи, что нужно делать?

Но Зою похоронили вместе с другими жертвами Кровавого воскресенья. И чуть ли не весь рабочий Питер шел за ее гробом: люди, которые никогда не знали ее, но которым, оказывается, была она дорога. И многие из них плакали. И гудки на окраинах города ревели в этот час протяжно, скорбно и торжественно.

Запорошенный снегом невысокий холмик теперь над Зоей. А Катя так и осталась одна — со своими сомнениями, раскаяниями и тревогами. И кто знает, как бы все сложилось в ее судьбе, если бы не один случай.

В общем Катя неплохо чувствовала себя у инженера.

Правда, работы набиралось столько, что иной раз с утра до вечера и на минутку присесть было некогда. Но работы она не боялась: с детства самой жизнью

была приучена к тяжелому труду. Она не ждала напоминаний тети Поли и, едва закончив помогать кухарке чистить зелень, принесенную с рынка, или разводить огонь в печи, бросалась убирать в комнатах, доставала огромный железный бак, в котором кипятили белье; и все у нее получалось быстро, ладно, без суеты, так, что теща Поля не могла нахвалиться своей помощницей.

Вот только с хозяйкой у Кати отношения по-прежнему почему-то не налаживались. Хозяйка любила покрикивать на девушку: то платье не так отутюжено, то в гостиной где-то на подоконнике осталась нестертой пыль.

Голос у нее был низкий, почти мужской, целыми днями он наполнял квартиру гудением.

— Милочка, — хозяйка всегда начинала вкрадчиво. — Куда же ты смотришь, милочка? Я тебя приютила, одела-обула, это в наше-то смутное время, когда все без работы мучаются! Я тебе деньги плачу, а ты как к делу относишься?

И она швыряла в лицо Кате неудачно отглаженное платье.

Катя обычно отмалчивалась. Хозяйкин крик мало беспокоил ее: пусть себе кричит, а ты знай свое дело и не обращай внимания. Покричит, покричит — перестанет.

Беспокоило ее другое: что-то уж слишком часто стал на нее посматривать сам хозяин-инженер: не к добру это. В отличие от жены, он был сдержанно вежлив, молчалив, и крик жены вызывал у него болезненную гримасу.

До сих пор к Кате он относился так, будто ее здесь и нет. Поздоровается, пройдет к себе в кабинет — и не видно его, не слышно. А тут чуть не каждый день, увидев девушку, останавливается, заговаривает с нею, расспрашивает о здоровье, об отце, да так участливо...

Невысокого роста, по плечо жене, с крохотными черненькими нафабранными усиками-стрелочками, с золотистым пушком, окаймляющим лысинку, в узеньких своих брючках и в коротеньком пиджачке, он поначалу казался Кате ненастоящим, игрушечным, вот только голос у него был неожиданно громкий, с рокочущими перекатами на басах, особенно когда хозяин самодовольно смеялся.

Несмотря на свой маленький рост, он был сильный: хвастался тем, что начинал когда-то простым рабочим в цехе. Однажды он вызвался помочь Кате передвинуть шкаф и делал это играючи, без напряжения.

Неделю назад, увидев, как после работы Катя надевает свою старенькую жакетку, он извлек бумажник и двумя пальцами вытащил несколько разноцветных кредиток:

— Вот. Купи себе пальто.

Деньги он держал так, словно брезгал ими — отставив мизинец.

— Возьми, возьми.

Катя испуганно замахала руками: нет-нет, она ни за что не возьмет этих денег!

Он молча скользнул по ней взглядом и спрятал ассигнации в бумажник.

— Как угодно. Не смею уговаривать, — сухо сказал он и, уходя, почему-то еще раз оглядел Катю с головы до ног.

Катя, как это со многими бывает вслед за болезнью, быстро поправлялась, даже сама удивляясь: отчего бы это она стала так заметно, день ото дня, полнеть, набираться сил, несмотря на изнуряющую работу? Должно быть, просто молодость брала свое. Она посвежела, похорошела, и инженер, проходя мимо, нет-нет, а и бросит взор на высокую грудь девушки, плотно обтянутую пестрой ситцевой кофточкой. Катя при этом смущенно краснела.

— Гляди, — качала головой наблюдательная тетя Поля. — Как бы он не стал приставать к тебе.

Что-то тетя Поля не договаривала, а что — Катя понять не могла.

— Бог не выдаст — свинья не съест, — отшучивалась девушка, а на душе у нее становилось смутно, тревожно, нехорошо. И ушла бы она из этого дома, да ведь куда? Везде идут сокращения, возле фабрик — длинные, молчаливые очереди безработных. А здесь и тепло и сыто, да и старик отец, который только начал после болезни понемногу идти на поправку, не сидел теперь без куска хлеба...

А тетя Поля словно бы в воду смотрела.

Как-то утром, когда хозяйка, как обычно, уехала на Невский за покупками, а Катя торопилась до ее возвра-

щения закончить уборку гостиной, из своего кабинета, лениво дымя папироской, вышел инженер.

— Работаешь? — неопределенно произнес он, останавливаясь в дверях. — Ну-ну, не буду мешать.

Катя хотела спросить, почему он сегодня не на заводе, но потом передумала: спросишь, а он оборвет — не твое, мол, дело.

В квартире было тихо, только из кухни доносился приглушенный звон посуды: там хлопотала тетя Поля. Мерно и певуче ходил маятник стенных часов. На бронзовом диске то взлетал кверху, то уплывал вниз крохотный солнечный зайчик.

Заложив руки за спину, инженер прислонился к дверному косяку и долго наблюдал, как быстро и ловко действует девушка, смахивающая с мебели невидимую пыль. Казалось, он думал о чем-то своем, но Катя чувствовала на себе его тяжелый пристальный взгляд, и от этого неотступного, будто раздевающего взгляда ей стало тревожно. Она зябко повела плечами и хотела выскользнуть из гостиной, но в эту минуту хозяин шагнул вперед и, не выпуская изо рта папиросу, преградил дорогу. Катя испуганно остановилась.

— Что-то ты со мной неласкова, все букой глядишь? — вкрадчиво сказал он. — Или я тебя чем-нибудь обидел? Ты скажи, не бойся...

— Нет, что вы, — сухо отозвалась девушка, тыльной стороной ладони отбрасывая выбившуюся из-под косынки прядь волос. — Простите, Игорь Вениаминович, мне сейчас некогда разговаривать. Работы много...

— Ну, а если я все же не пущу? — инженер шутливо расставил руки. — А что думаешь: не пущу — и все!

— Что вы! — Катя отступила назад. — Шутите? Пропустите, пожалуйста, прошу вас...

Но инженер неожиданно отшвырнул в сторону папиросу и сомкнул руки за спиной девушки. Катя невольно отшатнулась, откинула голову назад. Он тяжело, прерывисто дышал, от него пахло табаком и дорогим одеколоном.

— Полюби меня... недотрога, — бормотал он, переводя дыхание. — Ведь ты же знаешь, что ты — красавица... Требуй от меня, чего хочешь... Озолочу, только полюби...

В ужасе вырвалась Катя из его рук, с лихорадочной

поспешностью соображая: что же ей делать? Кричать? Звать на помощь?..

Так вот почему он не уехал нынче на завод: все выбирал подходящий момент, когда жены не будет дома! Катя отбежала в дальний угол гостиной. А он уже достиг ее и снова обнял. Легко, одним рывком поднял ее на руки и понес к дивану. Задыхающаяся девушка отбивалась, царапала ему руки, но чувствовала, что силы оставляют ее.

Он швырнул ее на диван.

— Пустите! — смогла наконец выдохнуть Катя. — Да отпустите же!.. Тетя Поля!..

— Не услышит тебя тетя Поля, не услышит! — бормотал он.

Неожиданно инженер отскочил в сторону и, как-то странно пригнувшись, быстро пробежал к себе в кабинет. Дверь за собой он захлопнул с такой силой, что люстра под потолком отозвалась тревожным перезвоном хрусталиков.

Ошеломленная, не помнящая себя девушка оглянулась, ее трясло как в ознобе.

— Кажется, я вовремя пришел, — в дверях гостиной, спокойно покашливая, стоял однорукий полотер. Он покачал головой вслед инженеру: — Ишь, старый кот!

Катя заплакала, стыдливо скрестив руки на груди.

— Полно реветь, — грубовато-участливо сказал полотер. — Перестань...

Но Катя не могла справиться с собой, судорожный плач все сильнее сотрясал ее.

— Да перестань, говорю, — повторил полотер. — Ты вот что: хозяйке лучше ни о чем не рассказывай. Все одно она не поверит. Она, старая дура, скажет, что это ты сама его соблазнила, тебе же и достанется. Муж да жена — одна сатана.

Он прошелся по гостиной, потом подсел к девушке.



— Уходить тебе отсюда надо, вот что, и немедленно уходить. Все равно житья тебе здесь теперь не будет. Не хозяин со свету сживет, так хозяйка: злющая она у вас!

— Да куда ж я пойду? — сквозь слезы возразила Катя. — Сейчас бы убежала, но нигде не возьмут... Везде работниц за ворота выставляют.

— Это-то верно, — согласился полотер, стараясь не глядеть на девушку, приводившую в порядок свои волосы. — Бездомных да безработных теперь в Питере столько развелось, что ой-ой!.. Однако ничего, что-нибудь придумаем, не оставлять же тебя в беде, — успокоил он.

Полотер поднялся:

— А пока я попрошу у кухарки иголку — приведи-ка себя в порядок. Лихое дело — хозяйка вернется. Вот крику-то будет!..

И он, усмехнувшись, ушел. Вскоре он возвратился с иглой и нитками.

— Удивилась тетя Поля, зачем это мне, а дала, — так, будто ничего не произошло, сказал он спокойно. — Занимайся своими делами, а я тут начну работать.

Катя, все еще время от времени всхлипывая, принялась торопливо пришивать пуговицы к кофте.

Полотер приходил каждую среду: хозяйка требовала, чтобы паркет в гостиной всегда блестел, как стекло, и полотер старался изо всех сил.

Было этому однорукому парню в солдатской шинели и выцветшей гимнастерке без погон лет двадцать пять. Был он простоватый на вид, курносый, веснушчатый, но с внимательными, изучающими серыми глазами: такие глаза все примечают, но мало о чем рассказывают сами.

Катя давно уже привыкла к его приходам по средам. Первым делом по приходе он обычно заглядывал на



кухню, где в это время сутились кухарка и помогавшая ей разбурманившаяся от жары Катя.

Еще в дверях полотер опускал на порог ведро с застывшей мастикой, стаскивал с головы поношенную шапочку и, засунув ее в карман шинели, проводил ладонью по волосам, которые упрямо не хотели слушаться.

— Здравия желаю, девицы-красавицы, — весело, нараспев и всегда одними и теми же словами приветствовал он. — Как живется-можется? Как драгоценное здорovie, тетя Поля?

— Спасибо, Илюша, на добром слове, — ласково отзывалась кухарка. — Один ты моим здоровьем и интересуешься. Опять пожаловал лоск наводить?

И, смахнув с клеенки на столе какие-то крошки, уже открывала дверцу шкафа с посудой.

— А то как же! — отзывался полотер. — В вашем житье, поди, без лоску никак нельзя... Ведерочку тут у вас можно пока что оставить?

— Да уж оставляй, конечно, — разрешала тетя Поля. — Что каждый раз об одном и том же спрашивать? Раздевайся-ка лучше, отдохни с дороги.

Она начинала накрывать на стол.

— Нынче что же: быстро управишься или снова до вечера провозишься?

— А уж это как придется, — говорил Илья и ловко, одной рукой стаскивал шинель с плеча, вешал ее на гвоздь и одергивал гимнастерку. — Сами, чай, знаете, хоромы у вас немаленькие, пока натанцуешься — ноги отвалятся. Оглянуться не успеешь — и вечер.

— Натанцуешься? — смеясь, переспрашивала Катя. — Веселое дело, выходит?

— А то как же! — он подмигивал Кате. — Конечно, веселое. Самый беззаботный я есть жених в Петербурге. Почитай, от рассвета дотемна, только юдно и знаю, что танцую польки-кадрили всякие. Уж чего бы лучше, кажется? Как полагаешь, Катюша?

— А на самом-то деле танцевать умеете? — улыбалась Катя.

— Не приходилось, — признавался парень. — Да ведь оно, милейшая Катерина Митрофановна, ежели рассудить, в жизни все так устроено. Сапожник сапоги тачает, а сам босиком разгуливает. Пекарь день и ночь тесто месит, над квашней не разогнется, а детишки у него с го-

лоду пухнут. Вот и полотер тоже: другим для танцев полы навощит, что твое зеркало, любо-дорого поглядеть, а сам, может, и умрет, ни разу на этих полах не потанцевавши. Никогда над этим не задумывалась?

— Полно девке голову-то забивать, — сурово останавливала его тетя Поля. — Чего бы в ее годы об этом думать? Придет время — разберется, что к чему.

— А что? — невинно улыбался Илья, — или неправду я сказал, тетя Поля? Взять, к примеру, ваше дело: вы тут всякие де-валяи да кремы-консомэ господам изображаете, а отец с матерью в деревне, сами небось рассказывали, картошки досыта не едали. Или, может, опять не так говорю?

— Сказано тебе: полно! — обрывала тетя Поля. — Беспутная голова!

— Ну полно так полно, — послушно соглашался полотер. — Не обессудь, Катерина Митрофановна, ежели что лишнее сболтнул.

Он шутливо вздыхал:

— А вообще-то верно: ремесло у меня самое что ни есть легкомысленное. Где добрая женщина поднесет стопочку перед работой — и ладно, дело, глядишь, веселей идет.

— Не намекай, не намекай, — смеялась кухарка. — Присаживайся лучше к столу. Ишь, пьяница какой нашелся: стопочку ему!

Но все-таки лезла в какой-то потайной угол за бутылкой.

— И, отчего это ты, Илюша, этакий худющий? — удивлялась она. — Кожа да кости.

— Не в коня корм, должно быть, — посмеивался Илья. — Да и корм этот не всегда бывает.

На мгновение он становился грустным.

— Когда обе руки целы были, лучше меня на заводе токаря не находилось. Тогда, небось, по барским кухням не околачивался.

И Кате вдруг становилось жалко этого общительного, славного парня: видать, много мяла и терла его жизнь, хотя и молод он еще по годам.

Неожиданно он интересовался:

— Какие новости у вас, Пелагея Филипповна?

— Да какие ж у нас новости могут быть? — отзыва-

лась тетя Поля. — Хозяин, как всегда, царя-батюшку пушит да коньяк глушит.

— Это верно, — соглашался Илья. — Под коньяк с лимончиком ругать правительство — самое разлюбозное дело. И работа не трудная, и риск не велик. Коньяк-то, поди, Шустовский?

— А то как же! Иного не держим.

— Вот-вот. Шустовский — он легкость в мыслях образует, — насмешливо заключал Илья. — Ко всяким манифестам от него тянет...

Он быстро справлялся с едой, вставал, благодарил и, разогрев мастику, уходил в гостиную.

— Душевный человек — Илья, — говорила вслед ему тетя Поля. Ей нравился этот простодушный, разговорчивый парень, и Кате она не раз советовала:

— Чем не жених? Безрукий? Беда не велика. Зато голова золотая. Подумай-ка, может, и свадьбку сладим? Я тебе за посаженную мать буду.

— Что вы, тетя Поля! — краснела Катя. — А Аким?

— Аким? Да ведь ты же сама говоришь, что он не давал обещания жениться? Вот увидишь, привезет себе какую-нибудь чернокожую негру. У ихнего матросского брата это запросто: сколько городов на пути, столько и жен. В каждом порту по законной супруге.

— Выдумаете! — обижалась Катя. — Аким не из таких.

— А, ну да, конечно, — насмешливо соглашалась кухарка. — Он не из того же мужицкого теста вылеплен. На бабу, поди, и не глянет.

Катя присматривалась к полотеру: он оказался далеко не таким простачком, каким выглядел. Пританцовывая со щеткой на одной ноге, он, между делом, рассказывал девушке о себе. Как забрали его в армию и погнали за тридевять земель в тридесятое царство, откуда до государства японского, можно сказать, рукой подать. И как посадили их, солдат, в окопы, а винтовки выдать забыли. И как перед боем ходил вдоль окопов поп в золотой ризе и кропил их святой водой, а солдаты говорили: «Ты нам оружием дай, что ты нас водичкой потчешь?» И как в первом же бою Илья был ранен, и вот — возвратился с пустым рукавом...

Странное дело: обо всем этом Илья рассказывал спокойно, будто посмеиваясь над прежней своей соб-

ственной глупостью: вот, мол, серость наша — вертят тобой, как игрушкой. А Кате от этих спокойных, неторопливых слов становилось вдруг жутковато, и она понимала, что за этим сегодняшним спокойствием Ильи — пережитые страдания, боль и горечь.

— Так-то и получился из меня танцор-кавалер, — не весело усмехался Илья. — Никогда прежде не думал, что таким ремеслом придется заняться.

Катя не уставала расспрашивать его о Дальнем Востоке и о войне, требовала бесконечных подробностей, так что он однажды даже удивился:

— Зачем тебе все это знать?

— Так, — смутилась Катя. — Просто так. Любопытствую.

Илья с сомнением покачал головой и внимательней обычного поглядел на девушку.

— Ой ли, красавица? Жених, наверное, там? — высказал он догадку. — Солдат?

— Матрос, — опустив голову, чуть слышно прошептала Катя. — Комендор на крейсере «Аврора»...

— Поня-ятно...

И еще ожесточеннее начал двигать ногой со щеткой.

Пробовала Катя заговорить с ним о том страшном воскресенье девятого января, которое навсегда перевернуло ее душу, но Илья, как-то странно, будто изучающе посмотрев на девушку, промолчал, а через минуту повел речь совсем о другом.

Случалось несколько раз, что Илья провожал Катю домой, хотя им было не совсем по пути. Катя предлагала помочь ему нести ведро с остатками мастики, но он испуганно восклицал:

— Что ты, девица-красавица! Я еще и сам не слабый.

И мрачнел почему-то.

Невский шумел веселыми голосами бесчисленных прохожих, был наполнен звоном «конки», цокотом сытых извозчичьих рысаков; ярко сияли витрины, доносилась откуда-то музыка — ничто не напоминало о том, что где-то идет война. И только этот однорукий солдат, никому не уступавший дороги, был как бы живым ее укором сытому, довольному проспекту. Может, поэтому прохожие испуганно сторонились Ильи...

Совсем так же, как когда-то с Акимом, они весь

путь почти ни о чем не говорили, и Катя была благодарна ему за это молчание, будившее в ней дорогие сердцу воспоминания. Возле ее калитки Илья торопливо прощался и уходил не оглядываясь.

И лишь один раз — это уж совсем недавно — Илья, остановясь около знакомой калитки, сказал глуховато, глядя куда-то в сторону:

— А что, Катюша, пошла бы ты за меня... За такого, однорукого?

Катя подняла на него испуганный взгляд: этого вопроса она боялась больше всего, хотя уже давно начинала смутно предчувствовать, что он рано или поздно будет задан.

— А как же Аким? — растерянno спросила она. — Илья, милый, не сердитесь: дело совсем не в вашей руке... Я очень... очень люблю Акима...

И она смущенно умолкла, досадуя на себя, что сказала как-то не так, не то, — Илья может понять неправильно и обидится.

— Да нет, я просто так, к слову, — начал неловко оправдываться Илья. И поспешнее обычного попрощался, отводя смущенный и растерянный взгляд.

В следующую среду он был, как обычно, ровен и шутлив, беззлобно поддразнивая кухарку, а когда ушел натирать пол в гостиной и Катя по привычке остановилась у двери, наблюдая его работу, он сказал, вдруг переходя на «вы»:

— То... давешнее, простите мне, Катерина Митрофановна...

Катя дружески улыбнулась ему.

...— И вот ведь пакостник какой! — нисколько не тревожась о том, что инженер в своем кабинете может услышать, рассуждал Илья, сдвигая мебель в дальний угол гостиной и не глядя на девушку. — Старик ведь, седина в волосы, а бес в ребро... До тебя тут одна работала... тоже приходящая. Снасильничал, а когда она затяжелела — красненькую ей в руки сунул: ступай, милая, на все четыре стороны. Думает, красненькая — вся цена человеку... Не-ет, нечего тебе тут делать! Да и я сюда больше не покажусь — ну их к чертям собачьим, без работы не останусь!..

Когда возвратилась хозяйка и, очевидно, смутно до-

гадиваясь о чем-то, подозрительно посмотрела на заплаканное, с красными припухшими веками лицо Кати, которая молча помогала Илье, тот, не отрываясь от работы, промолвил — будто между прочим:

— Вот видишь, Катерина Митрофановна, надо было раньше хозяйке сказать, что у тебя нарыв на ноге. Сейчас, когда прорвало, небось, полегче стало?

Хозяйка поверила выдумке полотера и не стала допытывать Катю расспросами.

— Можно было и дома денек посидеть, — милостиво заметила она.

Вечером Илья вызвался проводить Катю домой. У калитки он долго переминался с ноги на ногу, потом спросил глуховато:

— От Акима вестей нет?

Катя покачала головой: ни строчки.

— Будешь писать ему — поклон от меня пошли. Кланяется, дескать, неизвестный тебе солдат, который уже хлебнул войны...

Он хотел сказать еще что-то, но вздохнул и торопливо попрощался с девушкой.

— А насчет работы, — возвратился он неожиданно, — сделаем. У меня по всему Питеру дружков много, что-нибудь сообща придумаем.

Когда Катя пришла домой, отца, к счастью, не было. Она села за стол и, больше уже не сдерживая себя, расплакалась. Потом встала, умылась и начала накрывать на стол к ужину: отец вот-вот должен возвратиться, незачем ему видеть ее плачущей.

На следующее утро Катя объявила Митрофану Степановичу, что больше к инженеру ни за что не пойдет. Напрасно встревоженный старик пытался расспросить: уж не случилось ли там что-нибудь, не обидел ли кто ее — она отмалчивалась.

— Ну, оно и к лучшему, — согласился Митрофан Степанович, поняв, что ничего у дочери не выведает. — Не ходи, ну их. Проживем как-нибудь.

А через пару дней неожиданным гостем нагрянул Илья. Еще от калитки он весело воскликнул:

— Ну-ка, ну-ка, знакомь меня с отцом!...

И был исподдельно огорчен, узнав, что старика нет дома и до вечера не будет — ушел к кому-то из старых своих друзей-моряков.

— А ведь я по делу, Катюша, — объявил Илья, входя вслед за девушкой в комнату. — Есть работа для тебя! Пойдешь сортировщицей на табачную фабрику? Заработок, конечно, не ахти какой, но ничего лучшего пока что найти, пожалуй, не удастся.

— Илья, милый! — в порыве неподдельной радости Катя бросилась ему на шею. — Если бы ты знал, как нам с отцом сейчас трудно!..

— Ну, вот еще, вот еще, — растроганно-смущенно пробормотал Илья, осторожно освобождаясь от горячих обнаженных рук девушки.

— Стало быть, так и решили: приходи завтра утром прямо к конторе табачной фабрики. Там тебя кое-кто встретит, и все будет устроено самым лучшим манером.

Он понизил голос:

— Об одном хочу предупредить: нигде не говори, что ты со мной знакома.

— Почему? — удивленно спросила Катя.

— Так нужно. Потом все поймешь.

И начал прощаться.

Вечером Катя села писать письмо Акиму — ей хотелось поделиться с ним своей радостью: она получит работу!

2.

...А комендор Аким Кривоносов в эти самые дни жил тревогой за своего нового друга Копотей.

Отец Филарет после случая с Нетесом, перепуганный не на шутку, никому не пожаловался на Копотей, зато начал следить буквально за каждым шагом штрафованного матроса.

— Берегись, Евдоким, — не уставал напоминать о грозящей опасности Кривоносов. — Батя — он зловредный, он обиду годами может вынашивать. Даром что рыжий...

— Обойдется как-нибудь! — спокойно отзывался Копотей. — Хуже, чем есть, все одно не будет. Двум смертям не бывать, одной не миновать.

И запевал какую-нибудь грустную, задумчивую песню. Пел он легко, мягко и душевно, казалось, песня сама лилась из его сердца, и Кривоносов невольно заслушивался, подперев щеки ладонями.

А Копотей пел о казаке, умирающем вдалеке от ро-

димого дома, и о том, как прощается казак с друзьями и как дает им последний наказ: жить правдой и нигде не отступать с нелегкой, но славной дороги дружбы и вольного казачьего товарищества.

Или запевал он о Ермаке, уставшем в дальнем сибирском походе, и о кострах на берегу Иртыш-реки, и о широких, как волны Иртыша, Ермаковых думах...

Аким Кривоносов растроганно вздыхал: нет, ну что за сердце у этого рябого, неказистого на вид матроса! Листовский — на что не охотник до песен был, — горняк, говорит, он все больше под землею, ему песня ни к чему, — а и тот, бывало, вечерами всякое дело бросал, чтоб только послушать песни Копотей.

А уж о Степе Голубе и говорить не приходится: у того душа была такая, что хорошей песней его, как колдовским словом, можно было хоть на край света увести.

— Вот, други, был у нас на строительстве железной дороги, когда мы ее к Байкал-озеру вели, грабарь один, — говорил неожиданно Копотей, задумчиво глядя куда-то вдаль. — Неказистый такой парнишечка... Поглядишь бывало: и в чем только душа держится? А пел! Другого такого певца я не слыхивал... Землей его потом придавило...

— Это как? — весь подавался вперед Степа Голубь.

— А очень просто. Полсопки под откос... Э, да что там!

И снова начинал прерванную песню:

Бродяга Байкал переехал,
Навстречу родимая мать...

И вовсе напрасно прислушивается отец Филарет, о чем толкуют промеж собой матросы, сгрудившиеся возле Копотей. Ни о чем они не толкуют — просто слушают песню. Почему не послушать хорошую песню, если она и впрямь хороша?

В очередное воскресенье, после обедни, отец Филарет неожиданно появился в матросском кубрике роты Дороша.

— Побеседовать с вами хочу, дети мои, — объявил он. — Ако пастырь, тщусь я денно и ночью о спасении душ ваших.

Вообще-то беседы священника с нижними чинами

были на корабле не редки, но сегодня — многие в роте догадывались об этом — беседа обещала быть несколько необычной: неспроста зачастил батя перед. этим в кубрик.

Копотей, Аким и Степа Голубь быстро переглянулись; Евдоким Копотей вдруг озорно подмигнул друзьям: ладно, мол, проучим батюшку!

А отец Филарет между тем неторопливо уселся, расправил бороденку и, сложив руки на животе, заговорил, оглядывая матросов — каждого поочередно.

Говорил он долго, минут сорок: о том, что нужно всегда помнить неминуемую расплату за грехи наши земные, любить ближнего, поменьше слушать смутьянов и побольше — своих командиров, ибо матросу, не слушающему своего командира, уготованы страшные кары, от которых нет спасения.

Матросы слушали отца Филарета рассеяннo, многие, не стесняясь, зевали в кулак, переговаривались шепотом; и только один Евдоким Копотей, казалось, впитывал каждое слово, произносимое батюшкой. Он всем корпусом подался вперед, выражение лица его еще минуту назад веселое и даже озорное, теперь было простовато-почтительным, благоговейным.

Смешливый мичман Терентин, еще за утренним завтраком прослышав о предстоящей душеспасительной беседе отца Филарета и заранее предвидя, что тут не обойдется без чего-нибудь забавного, тоже спустился в кубрик и теперь кусал губы, сдерживая смех: насчет специальной кары для матросов батюшка явно перестарался!

Терентин случайно перевел взгляд в сторону Копотея и насторожился: о, этот рябой матрос с плутоватыми смысленными глазами, кажется, что-то затевает.

Он не ошибся.

— А дозвольтe вопросик, батюшка? — Копотей заговорил робко-почтительно. Отец Филарет нахмурился, но на простодушном лице штрафованного матроса не было ничего, кроме такой умиленности, что батюшка на какое-то мгновение устыдился собственных опасений.

— Дозвольтe вопросик, — повторил Копотей. — Очень любопытно знать: разве библия и о матросах поминает?

— Ну а как же, — растерялся отец Филарет. —

В библии, сын мой, сказано обо всех и обо всем, ибо книга эта — мудрость всех мудростей...

— Понятно, — согласился Копотей. — Я так и думал. Стало быть, уже и в те времена матросы были? Вот ведь, оказывается, с каких пор наш матросский род ведется! Выходит, вроде как бы матросский корень древнее боярского? Ишь ты!..

«Дурак! Боже мой, какой дремучий дурак!» — мысленно повторял в восторге мичман Терентин, наблюдая, как растерянно краснеет отец Филарет. Мичман радовался, что не ошибся в своих ожиданиях: поразвлекаться тут было чем, и он уже прикидывал в уме, как нынче же вечером деликатненько потешится в кают-компании над задиристым и обидчивым священником.

Отец Филарет пробормотал что-то неопределенное и, поспешно осенив всех сразу широким крестом, заторопился к трапу. Беседа, на успех которой он возлагал такие большие надежды, скандально провалилась. Матросы расходились, тихо пересмеиваясь.

А Копотей, когда боцман Герасимчук после ухода священника подбежал к нему, угрожающе показывая кулак, сделал удивленные глаза:

— Дак ведь вы ж сами советовали не стесняться и спрашивать, ежели что будет непонятно нам, осто-лопам?

— Спрашивать, спрашивать... С умом надо спрашивать, ду-у-ра!

— А где ж его взять — ума-то, ежели нету? — страдальчески вздохнул Копотей. — А что: разве неверно батюшка говорил, что матросский род — он древнее лю-бого боярского?

— Замолчь, серость! — прикрикнул боцман.

Вскоре на всем корабле только и разговоров было, что о скандальном провале затеи отца Филарета. Кто посмеивался над священником в открытую, кто потихоньку, — одно было ясно: доверие нижних чинов к беседам священника резко пало.

Боцман Герасимчук ругал себя: его недогляд, надо было на время этой беседы найти Копотею какую-нибудь работу, да потяжелее.

По собственному почину, в то самое время, когда матросы были на очередном артиллерийском учении, боцман устроил проверку вещей Копотея. Он был уве-

рен, что найдет что-нибудь такое, о чем можно будет потом доложить старшему офицеру, и тот похвалит за усердие и расторопность.

Ничего предосудительного, однако, в вещах штрафованного матроса он не нашел, если не считать довольно потрепанной на вид книги «Мертвые души», сочинение господина Н. В. Гоголя, изданное в Санкт-Петербурге с высочайшего дозволения.

Боцман был разочарован. Старший офицер наверняка скажет, что ежели матрос читает религиозные книги (а, судя по названию, книжка была как раз такая!), то это не так уж плохо, пусть себе читает.

Одно вызывало у боцмана сомнение: как же это могут быть мертвые души, если отец Филарет говорит, что единая только душа бессмертна, а все остальное — тлен?

Но спросить об этом у батюшки он не отважился: спросишь, а потом неприятностей не оберешься.

На всякий случай Герасимчук перелистал книжку, наугад читая по слогам отдельные строчки. Речь в ней, кажется, шла о каких-то коммерческих сделках, и это еще более повергло боцмана в недоумение: вот тебе и бессмертная душа!

Он твердо решил, что отныне не будет глаз сводить с этого непонятного штрафованного матроса.

Г Л А В А 9

1.

Жизнь вносит свои суровые поправки в романтические представления юности.

Наверное, многим молодым офицерам на эскадре там, в Ревеле, когда шла подготовка к этому дальнему переходу, заранее думалось: вот оно, долгожданное большое плавание, извечная мечта любого настоящего моряка, — тропические ночи и звезды в воде, экзотические острова, еще не нанесенные на карту, каждый день — встреча с неведомым, манящим, загадочным.

Но как же, оказывается, жестоко ошибался тот, кто по наивности представлял себе, будто плавание в чужих морях и дальних океанах — это ежедневные открытия и откровения. Ежедневным и в своем однообра-

зии неизменным было только одно: небо вверху, вода внизу. Небо и вода. И больше ничего.

Так, день за днем, неделя за неделей: вода да небо, смыкающиеся где-то далеко-далеко, за краем выпуклой поверхности океана...

Иногда и то и другое меняет свой цвет; бывает, что случается это по несколько раз на дню — глядишь, еще утром все до горизонта, и сверху и снизу, было одинаково синим, а к обеду — серое небо, серые волны, все серое; а перед закатом горизонт уже расписан такими щедрыми золотисто-пурпурными красками, что стоишь и глаз отвести не можешь.

И все-таки в походную жизнь моряков это не вносит разнообразия. Четыре месяца плавания эскадры — как один большой, неправомерно затянувшийся, утомительный день; экзотика заморских берегов давно уж надоела, и сердцу все чаще хочется к милым русским бережкам, к овейным ветрами знакомым косогорам, к черемухе за плетнями, к зимним сугробам.

Новый год на «Авроре» встретили невесело. Тридцать первого декабря уходил в Россию транспорт «Малайя» с тяжело больными, которых на эскадре становилось все больше.

С «Авроры» переправили на «Малайю» шестерых матросов и одного унтер-офицера: прощались с ними всем экипажем, совали им в карманы написанные вторых адреса, записки, письма, делились на дорогу махоркой, от души желали скорого выздоровления.

Через неделю после новогодия начался обычный для этих мест период дождей, и теперь дожди шли каждый день, почти непрерывно.

Так, в мелких будничных хлопотах, серенький, неинтересный, прошел весь январь.

«...Первого февраля эскадра вышла на двусторонний маневр...»

Евгений Романович откладывает в сторону ручку и задумывается. Весь этот поход кажется ему каким-то сплошным кошмаром, нагромождением безалаберщины, и — если останется жив — он почтет за счастье никогда не вспоминать о нем.

Взять, к примеру, хотя бы сегодняшней маневр: ведь это был позор, а не учение! Корабли, подобно слепым котяткам, чуть ли не натыкались друг на друга, то и дело

путаясь и нарушая строй; воля и инициатива командиров были скованы бесчисленными приказами, минутно поступавшими с флагманского броненосца...

Если учения — преддверие боя, то что же будет самый бой?..

И он вспомнил: у адмирала Лазарева, кажется, есть замечание касательно того, что нигде так не нужны инициатива и находчивость каждого командира в отдельности, как в скоротечном морском бою.

Нет-нет, об этом он все-таки ничего не скажет в своем дневнике!

Евгений Романович тянется за пером и продолжает каллиграфически четкую запись:

«Ко всему начинаем понемножку привыкать... На «Анадыре», вследствие плохой изолировки большой паровой трубы, проходящей через угольные трюмы, произошло самовозгорание около тысячи тонн угля...

Посылаются люди со всех судов для разгребания горящего угля и перегрузки его по остыванию на другие корабли. Этой канительной работой заняты несколько дней, снова начинаем разводить на судах угольную грязь...»

Вот тоже: штаб Рождественского, очевидно, помешался на этих запасах угля. Корабли перегружены сверх всякой меры, крейсерский ход снизился, а с флагманского «Суворова» снова и снова поступают приказания: пополняться углем.

Евгений Романович дописывает слово, которое так само и просится на бумагу: «бестолковщина!», но тут же тщательно зачеркивает его. О другом надо писать, о другом! Вот хотя бы так:

«...По воскресеньям суворовская музыка от четырех до шести дня играет в городе против губернаторского дома... В эти часы здесь можно увидеть весь «свет» Носи-бе... Там — в кружке — губернаторша, особа не-вредная по наружному виду. Около нее еще несколько дам, видимо, принадлежащих к администрации. Губернаторшу прохаживают и занимают разговорами флаг-офицеры Рождественского... Кругом черные няньки с белыми детьми, две-три французские монашенки, аккуратно одетые, с четками на боку, с распятием на груди, с контрастными к одежде белыми лицами и ручками, с глазами, умеющими многое сказать.

Над всем этим единственным в неделю приятным развлечением шелестит листва громадных манговых деревьев, с которых в прошлое воскресенье длиннохвостая светло-серая обезьяна бросала в публику тяжелые, незрелые плоды манго, величиной в очень большую европейскую картошку...»

Тьфу ты, до чего ж дописаться можно: даже обезьяну не забыл!

А стоянка в Носи-бе недопустимо затягивается. Как это вчера мичман Терентин сказал: «Это — присказка пока что, сказка будет впереди». Довольно печальная присказка!

Егорьев задумчиво барабанит пальцами по столу. Иногда он просто не в состоянии понять, что и зачем ему приказывают.

То адмирал ни с того, ни с сего затевал поутру такие бессмысленные и рискованные эволюции, что оставалось лишь диву даваться; то неожиданно семафором вызывал к себе всех командиров кораблей, а когда те прибывали, начинал расспрашивать о каких-нибудь незначительных мелочах, пустяках; то вдруг вспылал желанием перемещать людей с одного корабля на другой: с «Авроры», например, забрал весельчака Бравина, а взамен него прислал доктора Кравченко. Правда, Кравченко производит неплохое впечатление — толковый, кажется, человек и не сухарь. Но и с Бравиным, к которому все привыкли, расставаться было тяжело.

А самое главное то, с чем Егорьев мириться никак не мог, — это полное безразличие адмиральского штаба к характеру обучения нижних чинов. За все четыре месяца всего только один раз было разрешено произвести настоящий, а не условный, учебный залп. Адмирал все напоминает: берегите снаряды! — а о том не подумает, что это же не обучение комендоров, а так, бог знает что, пародия какая-то...

Больше всего удивляло Егорьева странно сочетавшиеся в Рождественском бесспорный ум — а это так! — с самым ограниченным, чиновничьим консерватизмом, боязнью всего нового.

Как-то однажды на совещании командиров Егорьев высказал предложение: по возможности, в ближайших портах изменить окраску кораблей эскадры.

— Районы, в которые мы идем, — доказывал он, —

изобилуют летом частыми и густыми туманами, и японцы не случайно красят свои корабли в шаровый цвет, хорошо маскирующий в тумане. Наши же черные борта и оранжевые трубы будут выдавать нас с головой.

— А-а, прожект! — брезгливо махнул рукой адмирал. — Надоели мне эти прожекты. И потом, Евгений Романович, — он пожевал мясистыми губами, — прошу запомнить, что японцы нам не пример. У российского флота свой опыт, свои собственные традиции.

«Вот традиции-то у нас и попираются, — с горечью подумал Егорьев. — Ушаков, Нахимов, Сенявин, Лазарев, Корнилов наконец — все учили офицеров творчески осмысливать порученное им дело...»

Он хотел возразить, что мысль о камуфляже — вовсе не его, что принадлежит она Макарову и достаточно четко изложена в известных «Рассуждениях по вопросам морской тактики», но вступать в спор с адмиралом было по меньшей мере бесполезно.

Да Евгений Романович и знал из опыта, что одно упоминание имени Макарова было бы встречено штабными офицерами как некая бестактность. Рождественский не прочь был при случае помянуть похвалой память незаурядного адмирала, но допустить какие-нибудь сравнения с ним, сопоставления? Нет уж, избавьте!..

Макаров был, конечно, прав в том, что для ведения серьезной войны на Тихом океане следовало сначала по-иному позаботиться о дальневосточной окраине. Ведь что, в сущности, знают о ней в Петербурге? О царстве Берендеевом по сказкам и то больше известно.

А какие силы были положены на открытие этих земель! От Дежнева, Хабарова до недавних плаваний того же Макарова — целая плеяда самоотверженных храбрецов!..

Всеволод писал в Петербург: «Владивосток потрясает своей забытостью. Дикость и произвол, первозданная нетронутость природных богатств, а с тем вместе полное пренебрежение к возможности их освоения...»

Что ж, точно определено, Евгений Романович отлично помнит Владивосток. Город с огромным океанским будущим, если, конечно, думать об этом, беспокоиться. Уж России ли не нужны ворота в Тихий океан!..

Да, тут дело не только в том, что на эскадре проис-

ходит. Эскадра — что: это не больше, как слепок с государства.

Но все эти печальные мысли не для дневника.

Он дописывает — уже совсем сдержанно, лаконично:

«Долгожданный пароход «Регина» муки не привез, так как ему не позволили в Порт-Саиде грузить ее, узнав, что она предназначена для продовольствия эскадры.

...Объявлено, что артиллерийских снарядов в запас у транспортов не имеется, а потому расходовать свои при встрече с неприятелем крайне экономно.

...Нескончаемое количество адмиральских сигналов».

Что ж, кому надо — тот поймет.

Он выходит из каюты и вдруг останавливается: с полубака доносится песня матросов. Широкая, грустная, щемяще-грустная песня — хорошо поют!

Догорай, гори, моя лучина,
Догорю с тобой и я...

Егорьев возвращается в каюту, наполняет портсигар запасом папирос и идет на полубак.

2.

Рабочий Питер жил незамирающими отголосками Кровавого воскресенья.

Расправа, учиненная над массой безоружных мирных людей, была настолько зверской, бессмысленной и чудовищно жестокой, что она полностью, враз погасила веру в самодержавие у тех, в ком пока еще теплился слабый огонек этой веры, — теплился, не глядя на переносимые ими долголетние муки, голод, унижения и притеснения. Люди вдруг словно прозрели, и правда, которую они увидели прозрев, оказалась неумолимо страшной: люди поняли, что у них нет царя.

Одним из таких людей был Митрофан Степанович. До того незабываемого январского утра он все еще как-то верил, что людские страдания могут быть и непременно будут облегчены мирным путем и что дело все просто в нечестных министрах: это они — лиходеи — скрывают от царя правду о бедственном положении народа.

— Вот я после флота где только не скитался и каких работ не перепробовал, — убеждал он, бывало,

Катю. — И везде одно и то же: обшеты, унижения, грабеж. А рабочий человек молчи и терпи, иначе — в кутузку. Да если б царь все это знал, он, думаешь, что, — по головке погладил бы эту шайку?..

Теперь Митрофан Степанович таких разговоров даже не начинал, словно стыдясь своей прежней наивности. Перемены, которые вдруг произошли в нем, были настолько ощутимы, что даже Катя начала их замечать. Он сделался неразговорчив, замкнут; едва после болезни в первый раз поднялся на ноги, как тотчас ушел к своим друзьям, таким же, как сам, старикам балтийцам и возвратился лишь поздно вечером.

Катя глянула на него — и ахнула:

— Ты что — снова простудился? На тебе ж лица нет!..

— А-а, какое там — простудился! — досадливо махнул он рукой. Весь вечер он потерянно молчал, лишь иногда что-то говорил себе под нос.

— Три тысячи полегло! — бормотал он, не глядя на Катю. — Подумать только: ни один палач за всю свою поганую жизнь столько душ не загубил, сколько он за одно утро!..

Теперь Митрофан Степанович почти каждый день приносил Кате свежие политические новости: от чтения газет он отказался наотрез, все равно в них ни одного слова правды не найдешь.

— Я и без газетки разберусь, что к чему, — говорил он Кате, когда она по привычке вечерами предлагала ему почитать вслух.

Забастовка питерских рабочих, начавшаяся десятого января, на другой день после расстрела на Дворцовой площади, перекинулась на все города России. В Москве создавались вооруженные рабочие дружины. В Саратове, Тифлисе, Киеве, Брянске, Екатеринославе шли демонстрации...

— Пошла Россия-матушка, двинулась! — убежденно говорил Митрофан Степанович. — А уж коли она пошла — ее не остановишь!

Работа на табачной фабрике, куда, как и обещал Илья, Катю приняли сразу же, едва она только разыскала нужных людей, была нелегка и изнуряюще однообразна.

Целыми днями, с семи утра до семи вечера, девушки подносили из склада перепоясанные прочным шпагатом спрессованные пачки дымчато-коричневых табачных листьев, похожих на тонко раскатанные лепешки. Катя, вместе с девятью другими сортировщицами, должна была раскладывать эти листья по кучкам: дело в общем-то нехитрое, но требовавшее внимания. Табак, что сортом повыше, шел на изготовление «Дюбека», «Тройки», ароматных дамских пахитосок с длинными и тонкими золочеными мундштуками; табак низших сортов и табачный мусор сваливали прямо в корзины и относили в цех, где изготавливались дешевые — «бедняцкие» папиросы в грубой бумажной упаковке.

Сортировочная находилась в темной и тесной подвальной комнате, подслеповато глядевшей на мир тремя зарешеченными окнами у самого потолка. Вдоль комнаты тянулись длинные, широкие, грубо сколоченные столы; за ними-то и работали десять сортировщиц. Воздух в подвале, застоявшийся, неподвижный и словно сгущенный, был всегда пропитан едкой табачной пылью, не успевавшей ни осесть, ни улетучиться за ночь. Пыль эта ложилась коричневым слоем на кожу, на волосы, разъедала глаза, отчего они постоянно слезились, перехватывала дыхание; и Катя вскоре же поняла то, что ее так удивило в первый день: отчего почти все работницы имеют нездоровый, землистый цвет лица и тяжело, с натугой кашляют.

— А что, девушки, — спросила Катя в тот первый день, — разве нельзя тут как-нибудь проветривать?

Никто на ее вопрос не отозвался, лишь одна из сортировщиц молча показала взглядом под потолок: высоко, не достать до окон. Катя пожала плечами, но расспрашивать больше не стала ни о чем.

— Да ты не сердись, — произнесла через минуту все та же девушка. — Все дело просто в том, что не ты первая задаешь этот вопрос. Все мы, когда приходили сюда, тоже спрашивали и возмущались...

И пояснила с каким-то поразившим Катю равнодушием:

— Сама подумай, кто станет об этом беспокоиться? Кому мы нужны?

— Да как же так? — воскликнула Катя. — А мы что — не люди?

— Люди, ясное дело, — согласилась девушка. — Пока чухотку не получили — люди...

И снова угрюмо замолчала, быстро-быстро перебирая табачные листья. Но Катя видела, что разговор этот взволновал всех: должно быть, каждая из сортировщиц вспомнила свой первый день на фабрике.

О том, что надо потребовать от хозяев, чтобы они соорудили вентиляцию, Катя заговаривала с сортировщицами еще не раз, но они при этом мрачнели и умолкали или бросали неохотно:

— Думаешь, не требовали?..

Одна только веселая, неистощимая на выдумки блондинка-хохотушка Наташа Фокина, с которой Катя подружилась как-то особенно быстро, поддерживала ее:

— Видать, плохо требовали!

И восклицала:

— Погибнем мы тут, девушки, все до одной погибнем! Это ж добровольная каторга, а не работа. Я уже ни есть, ни пить не могу: во всем чудится запах этого проклятого табака...

— А кто тебя держит? Уходи, коли не нравится, — раздраженно отзывалась одна из сортировщиц, высокая, с крупными мужскими чертами лица: она почему-то давно невлюбила Наташу и не скрывала этого. — Подумаешь, барыня! Два года каких-нибудь работает — и уже ее запахи преследуют!.. А как же я: не два, а десять!.. Уходи, уговаривать никто не станет.

— И уйду! — запальчиво восклицала Наташа, упрямо встряхивая головой. — Думаешь, не уйду?..

— Как же, уйдешь, — насмешливо возражала та. — Каторга — она и есть каторга: не уйдешь, не сбежишь, пока начальство само не выставит. Или, может, в самом деле, на женишка рассчитываешь?

Наташа мечтала выйти замуж за какого-нибудь богача, который увидит ее, полюбит с первого взгляда и немедленно заберет отсюда. Но шли годы, богач не появлялся, и неугомонная смешливая девушка, веселившая когда-то подруг своими безобидными проказами, понемногу чахла, мрачнела, все чаще гулко, подолгу откашливалась в кулак.

— Эх, Катя-Катерина, — жаловалась она. — Несчастливая наша доля... В содержанки податься к кому-нибудь, что ли?

И тут же пугалась:

— Нет, нет! Только не это!

Катя присматривалась к этой девушке. Было в Наташе что-то такое, что заставляло думать о ней с уважением: как ни трудно ей, а она никогда не собьется с дороги и чувств своих не разменяет. Где-то на фронте был у нее, говорят, солдат-жених, но даже Кате она рассказывала о нем редко и неохотно.

...И все-таки Катя была счастлива: она имела работу. И по субботам, когда в сером конвертике она приносила домой свою грошовую получку, ей было приятно сидеть рядом с отцом и прикидывать, что они смогут купить, когда окончательно рассчитаются с лавочником, и что можно отложить на всякий случай.

Митрофан Степанович грустно покачивал головой, но радостного настроения дочери старался ничем не омрачать.

— А все же это лучше, чем на инженера батрачить, — успокоительно говаривал он.

Чем внимательнее приглядывалась Катя к девушкам-сортировщицам, работавшим с нею, тем больше убеждалась, что она была не права в своем первом суждении о них. Нет, они не были ни замкнутыми, ни угрюмыми, как показалось это Кате вначале. Просто жизнь — тяжелая работа, лишения, постоянное опасение очутиться за воротами фабрики — все это наложило на них свой отпечаток, сделало их немногословными и какими-то до времени увядшими, будто ни до чего на свете им нет уже дела.

Но зато как они оживлялись по субботам!

Еще задолго до окончания смены они начинали сговариваться, куда пойдут завтра сообща, строили веселые планы: что купить из получки, сколько можно будет растратить на конфеты и дешевенькие духи; они перебрасывались безобидными шутками, смеялись, и в смехе их лица хорошели, будто снова обретая молодость.

Заметила Катя и то, что Наташа в последнее время словно откуда-то сбоку внимательно приглядывается к ней, как будто решая: сказать Кате нечто очень важное или не говорить?

Однажды субботним вечером, перед окончанием смены, Наташа заговорила с Катей вполголоса:

— Ты приходи к нам сегодня, мы все вместе живем. Посидим, поговорим, чайку попьем... Придешь?

Наташа сделала многозначительную паузу и только после этого добавила:

— Между прочим, там будет один человек, который тобой очень интересуется. Он-то и просил тебя прийти.

— Мною интересуется? Кто же это такой?

Но сколько Катя ни допытывалась, Наташа так больше ничего и не сказала. Вместо этого она вдруг запела мягким, грудным голосом:

Хороша я, хороша,
Да бедно одета...

— Что, задала тебе Наташка задачку? — подмигнула Кате одна из девушек. — Вот теперь мучайся, ломай голову...

И рассмеялась.

Сортировщицы подхватили песню, и она, тоскливая, безысходно жалобная, заполнила всю комнату, напрасно пытаясь вырваться через наглухо закрытые и зарешеченные окна:

Никто замуж не берет
Девушку за э-это...

Катя все думала: что бы могло означать это неожиданное и какое-то таинственное Наташино приглашение? Кто в Питере может интересоваться ею — у нее-то ведь и знакомых почти нет, она все больше домоседничает.

«Вот загадала мне загадку, а самой и горюшка, поди, мало. Тоже — подруга! — неприязненно подумала Катя о Наташе. — Распевает себе песенки...»

Пойду с горя в монастырь,
Богу помолю-у-ся...

Но тут Катя взглянула на Наташу и растерялась: девушка пела, а в глазах у нее — огромных, расширенных, будто изумленных — дрожали вот-вот готовые сорваться с ресниц крупные слезинки.

— Ты что, Наташа? — метнулась к ней Катя, но та только виновато улыбнулась:

— Уж очень песня жалостливая...

И снова напомнила:

— Так, значит, придешь?

— Да ты скажи, кто этот человек? — продолжала допытываться Катя, однако Наташа словно и не слышала ее: она быстро, с остервенением расшвыривала в стороны сухие табачные листья.

Катя еле дождалась конца смены и, придя домой, торопливо умылась, заплела косы. Ей вдруг почему-то захотелось одеться понаряднее, а почему захотелось, — она и сама понять не могла; но «выходное» платье было единственным и — думай не думай — ничего иного не придумаешь.

Начинало смеркаться, когда она вышла из дома. Дом, в полуподвале которого жили девушки, помещался далеко, на противоположной окраине города, и Катя добралась до этого дома, когда стало уже совсем темно. Она неуверенно толкнула дверь, та скрипнула несмазанными ржавыми петлями. Катю обдало застоявшимся запахом теплой сырости.

Темная полуподвальная комната выглядела нищенски. В два ряда были расставлены койки, заправленные ситцевыми лоскутными одеялами; в дальнем углу запыленный фикус протягивал к окну свои глянцево-листья; в другом углу светлячком мерцала зажженная лампада. Пахло сыростью, дешевой помадой, постным маслом.

Девушки убирали в комнате: выравнивали одеяла, взбивали подушки, встряхивали дешевенькие тюлевые накидки. Наташа, поставив ногу на табурет, быстро-быстро зашивала распутившийся чулок; нога у нее была маленькая и стройная, и, наверное, поэтому как-то особенно несуразно выглядел на ней огромный стоптанный башмак.

Катя остановилась у порога.

— А-а, пришла, — обрадованно сказала Наташа и мелкими белыми зубами перекусила нитку. — Ну, проходи, будь гостьей.

— А где же... — нерешительно спросила вполголоса Катя, усаживаясь на краешке Наташиной койки. Она смутилась: кто знает, что может подумать о ней Наташа?

— Человек, который тобой интересуется? — усмехнулась Наташа. — Всему свое время, не торопись.

Она взглянула на часы-ходики, бойко отщелкивавшие маятником, и крикнула:

— Девчатки, время... Кончай базар!

Девушки быстро расселись на своих кроватях, выжидательно поглядывая на дверь. Почти в ту же минуту она пропела надтреснутым, ржавым голоском, и на пороге, в клубах пара, появился... Илья!

— Добрый вечер, девицы-красавицы, — весело сказал он. Увидев Катю, он благодарно улыбнулся ей одними глазами. — Вот видите, опять вместо Ивана Федосеевича я к вам пожаловал.

— А он что же? — встревоженно спросила одна из девушек. — Случилось что-нибудь?

— Ему некоторое время снова приходится грустить в разлуке, вдали от вас... Да вы не беспокойтесь: вообще-то все в порядке.

Он добродушно усмехнулся:

— От разлуки девичья любовь еще крепче становится. Не так ли?

Катя не понимала, что здесь происходит. А Илья спокойно снял свою изношенную солдатскую шинель, одной рукой одернул гимнастерку и присел к столу, стоявшему в самом углу, под иконостасом.

Он достал какие-то листки, но подумал и отодвинул их в сторону.

— Подсаживайтесь поближе, — пригласил он. — Наташа, ты насчет дежурства у входа побеспокоилась?

Молчаливым кивком Наташа подтвердила: все в порядке.

— Ну что ж, тогда можно начинать. Как нынче, весь кружок в сборе?

«Какой кружок?» — удивленно подумала Катя, все еще ничего не понимая в происходящем. Но спрашивать было уже некогда. Илья откашлялся и просто, без вступлений, сказал:

— Сегодня, товарищи, мы побеседуем с вами о войне — кому и с какой целью она нужна...

Впоследствии, как Катя ни напрягала память, она так и не смогла вспомнить всего, о чем говорил в тот вечер Илья. Она расширенными, изумленными глазами смотрела на него, словно не узнавая этого застенчивого, простоватого паренька, и все ей в этот вечер казалось необычным, неожиданным, диковинным: и этот однору-

кий солдат, которого она вдруг увидела в совершенно ином свете, и то, что, обращаясь к девушкам, Илья называл их товарищами, и то, как горячо, возбужденно, враз заговорили девушки, когда Илья спросил:

— Ну, признавайтесь, кому что непонятно?

После, попрощавшись с девушками, Илья вдруг спросил у Кати:

— Нам ведь с вами, кажется, в одну сторону идти, Катерина Митрофановна?

Возвращались они уже совсем в темноте. Илья долго молчал, потом сказал:

— Вы на меня, Катюша, не обиделись, что я вот так — без предупреждения попросил пригласить вас в этот кружок?

— Что вы, Илюша! — горячо воскликнула девушка. — Наоборот, я вам так благодарна!..

— Верно? — радостно спросил Илья. Катя подтвердила: верно.

Она хотела сказать Илье о том, что первый раз в жизни услышала сегодня беспощадную правду, высказанную открыто, что вся жизнь для нее словно озарилась теперь новым, ясным светом. Но слова вдруг показались ей такими истертыми, бесцветными, а иных слов она подыскать не смогла.

«Если бы Зоя была жива, — подумала Катя, — она обрадовалась бы, что судьба все-таки свела меня с этими людьми...»

Илья понял ее. В темноте он нашел Катину руку и молча ее пожал.

...С этого вечера началась новая жизнь Кати.

Кружок мог собираться не часто: то на фабрике объявляли о сверхурочных работах — это случалось обычно тогда, когда поступал особенно большой заказ, — то Илья передавал через Наташу, что нынче вечером он очень занят и прийти не сможет, и в такие вечера Катя чувствовала, что ей чего-то недостает: она бесцельно ходила по комнате, пробовала что-нибудь шить или штопать, но работа валилась из рук.

Вечерние отлучки дочери встревожили Митрофана Степановича, он истолковал их по-своему: видать, влюбилась в кого-нибудь, вот и места себе не находит, томится, когда остается дома.

И ему становилось грустно от мысли, что так быстро остыла Катина любовь к Акиму: богатыря-матроса он все не мог забыть.

Митрофан Степанович умышленно заговаривал с Катей о нем: вот, мол, писем от него нет, уж не случилось ли что-нибудь? Матросская служба — она такая: риск на каждом шагу, да особенно сейчас, когда война.

Но Катя, казалось, была безучастна к словам отца, она молча выслушивала и тотчас заводила речь о чем-нибудь другом, и это еще больше обижало и обескураживало старика: теперь он уже почти не сомневался, что дочь об Акиме забыла.

Как-то Катя проговорила, назвала имя Ильи.

— Илья? — настороженно переспросил Митрофан Степанович и насупился. — Это еще что за Илья? Вроде ты о нем никогда прежде не говорила.

— Так... Знакомый один, — как можно равнодушнее отозвалась Катя, и Митрофан Степанович почувствовал, что дочь хитрит, чего-то не договаривает. Ложь у нее никогда не получалась, и она в таких случаях сразу же с головой выдавала себя.

— Так-так, — раздраженно произнес старик. — Значит, Илья...

Он хотел уже высказать дочери все, что думал о происходящем с нею, но случайно взглянул в ее глаза и смущенно умолк: столько в них было тоски, отчаяния, большого женского горя, что сердце Митрофана Степановича дрогнуло. Он растерялся: что же ей сказать, чем ободрить?

Но Катя продолжала молчать, и он набил трубку, раскурил и сердито закашлялся, закрывшись клубами дыма.

Весь вечер они оба отчужденно молчали: Катя что-то шила, отец попыхивал трубкой. Кажется, это была первая их размолвка, и Митрофан Степанович переживал, что так и не сумел утешить, успокоить дочь.

...А Катя все обдумывала: рассказать отцу, куда и зачем она ходит по вечерам, или не рассказывать? Ей было до слез обидно: неужели отец, всегда такой умный, чуткий, понимавший ее с полуслова, способен теперь предположить, будто она и впрямь забыла своего Акима, разлюбила?

Нет, и все-таки она ничего отцу пока не скажет...

Она воткнула иглу в отворот старенькой кофточки, поглядела на часы и деланно-равнодушно сказала:

— Пожалуй, спать пора.

3.

В вечерние часы эскадра, растянувшись на несколько миль, напоминала диковинный плавучий город, иллюминированный разноцветными ходовыми огнями.

Впереди бороздили иссиня-черную воду разведчики «Светлана», «Урал», «Терек» и «Кубань». За ними в двух кильватерных колоннах шли громадные броненосцы; еще дальше, раскачиваясь с кормы на нос и с носа на корму, следовали нагруженные до отказа транспорты. И уже совсем далеко, почти у самого горизонта, замыкали эскадру «Олег», «Аврора» и «Донской», окруженные миноносцами.

Зрелище было величественное, и настроенный на поэтический лад мичман Терентин, возвращаясь после ночной вахты, восторгался:

— Понимаешь, Алексей, стою я нынче, гляжу на эту вереницу огней — и кажется мне, будто я в какое-то волшебное царство попал!

— А ты получше приглядишься, что в этом волшебном царстве творится, — охлаждал его пыл более уравновешенный и рассудительный Дорош. — Не очень-то много... волшебства увидишь: грязь да мразь, да горе людское...

— А что: опять что-нибудь приключилось?

— «Опять!» — возмутился Дорош. — Люди мрут, как мухи, а ты ничего не видишь, кроме... очаровательных разноцветных огоньков!

Он взволнованно прошелся по каюте.

— Нет, ты только посмотри, что делается! На «Бородино» двое трюмных умерли. На «Урале» тоже двое погибли. Из команды «Сисоя» третьего человека списывают на «Орел» со скоротечной чахоткой... А сумасшествия? Давеча доктор Кравченко рассказывал в кают-компании, что на эскадре насчитано уже три случая психического расстройства.

Он гневно сжал кулаки:

— И, главное, ничего удивительного в этом нет! Питаются люди все хуже. Климат изнуряющий. А за-

бота о матросе... Э, да что там говорить: сам небось видел, как они босиком, без сапог уголь грузят... Смотреть страшно!..

— Хорошо, а что же ты предлагаешь? — нерешительно спросил Терентин. — Где ты выход видишь?

Дорош резко остановился:

— В том-то и дело, милый мой Андрюша, что выхода этого я, как и другие, не вижу!

...Андрей Терентин, как это часто бывает с молодыми офицерами, старался походить на кого-нибудь из бывалых моряков. Сначала это было увлечение Аркадием Константиновичем Небольсиным: его строгой походкой, его умением говорить холодно и раздельно, будто отрубая фразу от фразы. Потом Небольсина сменил стремительный, веселый, темпераментный флаг-офицер адмирала Рождественского — ему Терентин подражал особенно долго. И позже всего пришло подражание командиру «Авроры»: так же, как тот, мичман каждое утро выбривал до синевы подбородок, так же сверкал неизменно белоснежным воротничком, так же неопределенно улыбался, слушая собеседника.

— Скоро ты тенью Егорьева сделаешься, — заметил ему однажды Дорош, и мичман расценил это как похвалу.

В одном только мичман не был согласен с командиром «Авроры»: уж очень тот «либеральничает», как выражался Терентин, с нижними чинами. Может вечером, после дудки «команде петь песни, отдыхать», запросто прийти на бак, петь с матросами или рассказывать им о звездах и еще какой-нибудь чепухе. Может, не смущаясь командирским положением, интересоваться: что, мол, пишет какому-нибудь «духу»-кочегару рязанская Дунька-невеста.

— А ты чего хотел бы? — недоумевал Дорош. — Чтобы он бил матросов, орал на них?

— Конечно, нет. Но останавливаться на палубе, разговаривать как с равным с каким-нибудь марсовым — это, Алексей, выше моего понимания! Ты помнишь инцидент в Танжере?

Да, Дорош, конечно, помнил, что произошло в Танжере.

Командир крейсера пригласил тогда на корабль местного французского консула и двух-трех наиболее

именитых танжерских жителей: некоего сомнительного испанца Риоса, толстенького немчика-негоцианта и еще кого-то.

Это была в общем-то вынужденная любезность: правила приличия требовали отблагодарить за гостеприимство, оказанное русским морякам.

Ужин удался на славу, офицерский повар не ударил в грязь лицом, и стол оказался сервированным так, что французик только ахнул от изумления, а когда корабельный оркестр исполнил национальный гимн Франции, консул даже прослезился.

Однако после рюмки-другой, оказавшись уже навеселе, консул стал уговаривать Егорьева показать ему корабельных плясунов: говорят, «Аврора» славится ими.

— К сожалению, не могу, — сдержанно сказал Егорьев.

— Почему? — шутливо возразил консул. — Разве нас теперь не соединяют узы дружбы?

— Все это верно, — уже значительно суше объяснил Евгений Романович. — Однако команда крейсера, как вы знаете, весь день работала на погрузке. Матросы утомились, им нужен отдых. Тем более, завтра также предстоит тяжелый день.

— О, вы сердобольный командир! — насмешливо сказал консул, обиделся и заспешил на берег.

— Напрасно вы ему отказали, — осторожно заметил Небольсин. — Ничего с матросами не случилось бы, если б и поплясали часок-другой.

— Здесь боевой корабль! — резко оборвал Егорьев. — И потом, Аркадий Константинович, согласитесь, что после такого тяжелого дня работы матросам действительно надо дать отдых.

Небольсин обиженно поджал губы, поправил на своем кителе академический значок, что делал в минуты наивысшего раздражения, и холодно простился с Егорьевым.

«Либеральничает! — подумал тогда Терентин о командире корабля. — Матросским «отцом» хочет себя показать».

— Ну и молодец, — одобрил Дорош. — Я бы на его месте тоже так поступил.

— Вот потому ты и по службе не будешь продви-

гаться, — съязвил мичман. — Евгению Романовичу давно пора в адмиралах ходить, ан — нет!..

Он сострил:

— Во флотском деле, знаешь, не уйти от каламбура: либо ты — адмирал, либо ты — либерал. Что ж, добрейший Евгений Романович предпочел второе, зато лишился первого...

Терентин пророчески погрозил Дорошу:

— Подобная участь и тебя ждет.

— Меня это, милый Андрюшенька, не так уж тревожит, — спокойно отпарировал Дорош. — Пусть продвигается в службе господин Ильин. У него, как у боцмана, кулак увесистый и жалости к матросу никакой.

Он задумался, глядя на огонек папиросы.

— Меня сейчас другое интересует: чем в последние дни так обеспокоен Евгений Романович? Ты заметил, что он нервничает, делается временами рассеянным и даже иронизирует меньше.

— Заметил, — подтвердил Терентин. — По-моему, все объясняется очень просто: жена — в Петербурге, он — здесь. А штабные офицерики — они, знаешь...

— Ты не можешь без пошлости, — раздраженно возразил Дорош. — Стыдись: жену он давно похоронил. Сын у него взрослый, тоже моряк...

Он помолчал.

— Нет, я думаю, тут что-то иное.

Как и на всей эскадре, эти дни на «Авроре» были мрачны и напряженны. Возбуждение, вызванное сообщением о падении Порт-Артура, все еще не улеглось, и унтер-офицеры метались от одной группы матросов к другой, прислушиваясь к каждому слову.

Офицеры старались держаться подальше от нижних чинов.

Даже вездесущий отец Филарет не решался подходить к кучкам, которыми собирались матросы: он прикинулся больным и отсиживался в своей каюте, всечасно прикладываясь к заветной бутылочке. Напившись, он вслух рассуждал сам с собой, грозил каким-то смутьянам отлучением от лона матери-церкви и геенной огненной, и вдруг фальшивым, неверным голосом затягивал:

Спаси, господи, люди твоя-я!

А события на эскадре между тем еще более подогревали возбужденность матросов.

Четвертого марта с «Жемчуга» выбросился за борт матрос: вылез из лазарета через иллюминатор и прыгнул в воду. Корабли прошли вперед; «Жемчуг» возвратился, спустил вельбот, но матрос так и не был найден. Подобрала его спасательная шлюпка, спущенная на ходу с госпитального «Орла».

Говорили, что от непрерывной тропической жары матрос сошел с ума, но версии этой мало кто на эскадре поверил.

— Какая там жара! — возмущался Степа Голубь, и ясные глаза его темнели от гнева. — Вали все на жару, с людей меньше спроса. Небось довели человека черт знает до чего, что ему больше оставалось, как не в воду головой? А теперь говорят — жара...

Еще через два дня на вспомогательном крейсере «Урал» один из матросов наотрез отказался выполнить какое-то приказание унтер-офицера. Неделей позже подобный случай повторился на броненосце «Сисой Великий».

— Это же прямо поветрие какое-то! — возмущался за обедом Небольсин. Егорьев слушал и угрюмо молчал.

Снова поступило приказание флагмана: принять дополнительный запас угля. Можно было подумать, что в этих непрерывно пополняемых запасах угля — спасение от всех зол и несчастий.

Это оказалось очень трудным и рискованным — грузиться прямо в море, при неослабевавшей крупной зыби. Уже через час-другой матросы начали падать от изнеможения, а катер, сновавший между низкобортным, осевшим в воде углевозом и «Авророй», все подвозил и подвозил тонны, десятки тонн угля. Вскоре не только трюмы, но и палубы были до предела загружены кардифом. Небольсин распорядился было прекратить погрузку, но с флагманского корабля тотчас поступил семафор: продолжать!

Небольсин недоуменно пожал плечами, но приказал продолжать работу.

— Держись, орлы! — весело покрикивал неунывающий Евдоким Копотей. Лицо его стало черным от уголь-

ной пыли, только зубы да белки глаз поблескивали. — Держись! Загрузимся годика на три!..

И он легко вскидывал на плечи четырехпудовый мешок с антрацитом.

Ефим Нетес, расхворавшийся в эти дни, уже едва волочил ноги, но поодаль стоял боцман Герасимчук, и Нетес, напрягаясь, взваливал на спину мешок и шел к трапу, рискуя вот-вот свалиться.

Он чувствовал, как гулко, учащенно бьется сердце, будто ему стало вдруг тесно в грудной клетке, как делаются вялыми, непослушными слабеющие ноги, а кровь в висках стучит резкими, отрывистыми толчками.

Зеленые, красные, желтые, оранжевые круги плыли у него перед глазами, переплетаясь и снова разбегаясь в стороны. Нетес остановился и глотнул воздуха, но колючий взгляд боцмана уже разыскивал его в цепочке матросов, снующих с тяжелыми, черными от пыли мешками.

— Ты, Ефим, посиди, отдохни. Мы тут без тебя управимся, — уговаривал его Копотей. Нетес показал взглядом в сторону боцмана, но Копотей только выругался:

— А, черт с ним! Пусть попробует что-нибудь сказать!.. Ему что — хоть подыхай человек?

К вечеру «Аврора» приняла сто шестьдесят тонн. Темное облако угольной пыли долго еще висело над палубой.

Офицерскую кают-компанию переместили в столовую командира корабля, буфет был выломан и тоже превращен в угольную яму. Ссыпали уголь в световые люки машинных отделений, ссыпали всюду, куда только возможно, а горы угля на верхней палубе все не уменьшались.

Неожиданно хлынул тропический ливень, и на заваленной углем палубе стало твориться что-то невообразимое. Сточные трубы, забитые углем, бездействовали, уровень воды на палубе быстро поднимался; грязные черные волны перекатывались от носа к корме корабля.

Погрузка угля в море продолжалась в течение трех следующих дней. В кают-компании офицеры почти в открытую пересмеивались: либо выбрасывать уголь за борт, либо грузиться сверх всякой нормы и вопреки здравому смыслу.

— Бачили очі, що купували, — не без оснований вспоминал доктор Кравченко известную украинскую поговорку.

И только Егорьев отнесся ко всему этому не весело, а скорее встревоженно: он понимал, что в случае боя перегруженные корабли утратят свою маневренность, и за эту бессмысленную жадность эскадре придется тяжело расплачиваться.

Он распорядился передать флагману семафором, что «Аврора» имеет более чем достаточный запас топлива, но Рождественский даже не ответил: адмирал терпеть не мог, когда начинали сомневаться в целесообразности его приказаний.

Егорьев досадливо вздохнул, но решил больше не тревожить самолюбивого и своенравного адмирала.

Однако когда Терентин вздумал в кают-компани, перед началом обеда, спеть с шикарным парижским акцентом: «Malbroug s'en va-t-en, guerre...» *, Егорьев сделал ему такое резкое замечание, что мичман смутился и покраснел.

...Эскадра отстаивалась в бухте Ван-Фонг, куда она пришла около трех часов дня девятнадцатого апреля.

Ожидали подхода отряда контр-адмирала Небогатова, который пошел вдоль западного побережья Африки.

Отряд этот, названный в Петербурге Третьей Тихоокеанской эскадрой, был снаряжен за счет еще одного уменьшения численности Балтийского флота; теперь, сокращая пути, он догонял эскадру Рождественского, чтобы присоединиться к ней.

Вечерело, когда Терентин, только что сменившийся с вахты, остановился у борта полюбоваться закатом.

Солнце еще не село, и косые лучи его насквозь просвечивали высокие, громоздившиеся у бортов густо-зеленые волны. Увенчанные белыми затейливыми гребнями, они казались вырезанными из цветного хрусталя; поток света, преломляясь в них, еще более усиливал это сходство, и лишь живое, непрерывное движение их разрушало иллюзию. Волны убегали, сшибали друг друга, снова возникали, и просторная открытая бухта казалась Терентину теперь уже бескрайним, взволно-

* «Мальбрук в поход собрался...» (франц.).

ванным зеленым полем, усыпанным белыми хлопьями снега.

«Нет, что ни говорят, — думал Терентин, — а вряд ли найдется в мире что-нибудь красивее моря вот в этот короткий закатный час. Алексею бы посмотреть на эту волшебную картину!..»

Мичману вспомнился вчерашний — который по счету! — спор с Дорошем, когда они вечером по привычке расставляли фигуры на квадратах шахматной доски.

— Что с тобой происходит, Алеша? — напрямик спросил Терентин. — Ведь мы друг друга уже года два, наверное, знаем, а я тебя еще никогда таким не видел.

— Каким? — равнодушно произнес Дорош, выстраивая в ряд пешки. — Каким это ты меня не видел?

Было похоже, что он старается не глядеть на Терентина.

— Ну, я даже не знаю, каким... — замялся Терентин. — То ты вот тогда, помнишь, вдруг на вахту не вышел, а ведь раньше с тобой этого никогда не случалось. То начинаешь такое странное рвение в службе проявлять, что даже милейший Аркадий Константинович диву дается. То так же неожиданно остываешь... И с матросами как-то странно держишься. Глядишь на тебя — и не поймешь: жалеешь ты их или наоборот? Нет, тут что-то не то! Может, по старинной французской мудрости: «Ищите женщину»?

Он сделал паузу и осторожно поинтересовался:

— У тебя что-нибудь с Элен не ладится?

— С Элен? — помертвевшими губами повторил Дорош, не поднимая взгляда. — Нет, откуда ты это взял? С Элен все прекрасно. Вот даже письмо от нее получил, как ты знаешь.

Внимательно, слишком внимательно расставлял он фигуры, будто важнее этого занятия для него сейчас ничего не могло быть.

— Ну, а что же тогда? — продолжал допытываться Терентин. — Или в службе разочаровался? Помнится, ты был поклонником морской романтики...

— Романтики? — Дорош внимательно посмотрел на мичмана. — Чепуха это все — романтика. Пусть ею господин Станюкович в своих книжках занимается, у него неплохо выходит.

— Видишь, ты уж и на Станюковича нападать стал. А ведь зря, талантливый писатель. Я когда его «Коршуна» прочел...

— Возможно, — безразлично перебил Дорош. — Но ему все было ясно, его ничего не тревожило. А тут...

— Что тут? — насторожился мичман.

— А тут... главного в жизни не понимаешь! — Дорош помолчал. — Вот у меня есть новый матрос: Копотей. Видел его?

Мичман кивнул: и что же?

— Вот он, кажется, понимает... А я — нет!

— Это каким же путем пришел ты к такому скорбному умозаключению? — насмешливо любопытствовал Терентин, но Дорош словно не заметил его тона.

— Я и сам не знаю каким, — сознался он. — Но по тому вниманию, с каким матросы слушают его, как уважительно относятся они к каждому его слову, нетрудно понять, что он для них — настоящий авторитет. Так безоговорочно верят только людям, знающим какую-то очень большую правду, недоступную другим.

— Авторитет? Ну, это ты уж, знаешь, того!.. Авторитет, брат, штука, прикладываемая лишь к людям, вроде нас с тобой, — возразил Терентин. Дорош устало покачал головою: нет, это неправда. Он вдруг спросил, глядя в упор на мичмана:

— Слушай, Андрюша, ты никогда не задумывался — вот если бы в России случилась... революция: что бы ты стал делать?

— Как... революция? — растерянno переспросил Терентин.

— А очень просто. Как совершаются вообще революции... Ну так что же ты все-таки стал бы делать?

— То же, что при землетрясении на Невском, — отшутился Терентин. — Вероятность не бóльшая. Да ты что, в самом деле: или переутомился? Несешь какую-то чепуху несусветную — матрос, авторитет, революция... Моя нянюшка покойная говаривала в таких случаях: окснись, голубчик!..

И он деланно расхохотался.

— Вот видишь, и ты не знаешь, — грустно возразил Дорош и помедлил: — А Копотей — тот знает!

И он задумчиво побарабанил суставами пальцев по шахматной доске.

— Да что знать-то? — продолжал допытываться мичман. — Нечего сказать, хорош офицер флота, добровольно признающий, что какой-то матрос стоит выше него! Не вздумай когда-нибудь высказать эту ересь в присутствии Небольсина: Аркадий Константинович никогда тебе этого не простит. А того паче — отец Филарет.

— Ах, милый мичманок, все это не то! — вдруг лениво прервал Дорош. — Делай-ка лучше первый ход своими белыми...

Так и не допытался мичман Терентин, в чем же, интересно, жизненное преимущество матроса Копотея. Дорош играл рассеянно, путал ходы, а в середине партии вдруг смешал фигуры в одну кучу, поднялся и устало потянулся:

— Надоело играть. Спать хочу чертовски!.. Ты не сердись, Андрей, но я, кажется, действительно устал.

...Мичман постоял у борта и медленно пошел вдоль палубы.

Возле люка, ведущего в кубрик матросов роты лейтенанта Дороша, он остановился в нерешительности. Хорошо бы осторожненько потолковать с этим Копотеем: что, интересно, нашел в нем Алексей? Может, и вправду какой-нибудь матросский пророк объявился.

Он уже намеревался спуститься вниз, однако неожиданно остановился: снизу, из кубрика, доносился разговор, заставивший мичмана насторожиться.

— Так как же, братцы? — говорил кто-то, и мичман узнал по голосу Копотея. — Там, в Петербурге, кровь наших отцов, братьев и сестер пролита, а мы здесь что — в молчанку играть будем?.. Ведь вы подумайте: стреляли по безоружным людям!.. А там, поди, женщины были, дети...

Голос Копотея звучал напряженно, взволнованно.

— Да, может, ничего этого и не было? Может, выдумки все одни? Как же это так, — чтобы стрелять по безоружным? — растерянно возразил кто-то в кубрике.

— Не может? Нет уж, это верные люди рассказывают. Во всех заграничных газетах, говорят, в подробности все описано. Тысячи полегли на Дворцовой площади. Тысячи. Вы только представьте себе это!

— Погоди, Евдоким, не горячись. Ну ты сам посу-

ди: что мы здесь можем сделать? Мы же по рукам и ногам связаны. Знаешь корабельные порядки... — Терентин напряг слух. Это, кажется, говорил богатырь-комендор Кривоносов: мичман не раз любовался телосложением этого Геркулеса в матросской робе.

— Что сделать? Очень многое! Или, думаете, лучше молчать? А совесть дозволит?.. Что можно сделать? В первую голову надо нашему брату-матросу всю правду рассказать насчет того, что произошло в Питере девятого января.

«Девятого января? — мичман в недоумении напрягал память: — Любопытно! А что там могло произойти?»

И ему вдруг стало обидно, что вот его, офицера, держат в полном неведении. Уж наверняка командованию все известно, а он тут, как дурак, стоит и прислушивается к чужому разговору.

— Что сделать? — повторил Копотей. — Матросам правду расскажем, листовку, если надо, выпустим.

Дослушать этот разговор мичману не удалось. Он заметил неожиданно, что неподалеку от него, возле угольной горы, почему-то пригнулся на корточках отец Филарет: он приложил ладонь к уху и тоже прислушивается к разговору в кубрике.

Мичман кашлянул и пошел дальше, так и не спустившись к матросам.

Он раздумывал: доложить командиру крейсера? Небольсину? Вроде бы и не докладывать нельзя, а доложишь — Алексею наверняка всю карьеру испортишь: Копотей и те, другие — подчиненные Дороша. А в таких делах пощады ждать не приходится.

Интересно, заметил ли его отец Филарет? Уж этот не преминет побежать к Небольсину. А может, отец Филарет все-таки и не слышал?..

Мичман остановился, подумал и затем, приняв какое-то решение, быстро зашагал к трапу, ведущему на верхнюю палубу.

Дверь каюты Дороша он распахнул не постучав...

В тот же вечер Дорош вызвал к себе матроса Копотея.

— Закройте дверь, — сухо сказал он, когда матрос, лихо откозыряв, остановился у порога. Копотей насторожился: лейтенант впервые обращался к нему на «вы».

Дорош помолчал. Затем сказал, не глядя на матроса.

— Я не из числа тех, кто готов наказывать людей за их взгляды на жизнь... И тем более мне не хотелось бы, чтобы это сделали другие... Скажем, за какую-нибудь необдуманную манифестацию. За агитацию, — вам это слово знакомо?.. Или еще за что-нибудь в этом роде. Мы идем на сближение с противником, и в такой обстановке закон будет неумолим. Окажутся ненужные жертвы. Вы меня понимаете?..

Копотей, растерявшийся в первое мгновение, быстро взял себя в руки. Долгим изучающим взглядом посмотрел он на лейтенанта. Что это: дружеское предупреждение или провокация?

А ротный командир с безразличным скучающим видом рассматривал свои ногти. Дорошу очень хотелось расспросить: что же это произошло в Петербурге, но он понимал, что матрос, даже если что-нибудь и знает, ничего не скажет.

— Ясно, ваше благородие, — не сразу произнес Копотей. Он выжидающе смотрел на лейтенанта, а тот словно не торопился его отпускать. Наконец Дорош сказал:

— Идите...

Копотей повернулся, по-уставному щелкнул каблуками.

В кубрике он тотчас отозвал в сторону Акима Кривоносова и Степу Голубя.

— Тебе было поручено доглядывать на трапе, чтобы никто не подслушал, когда мы говорили? — сурово спросил он Голубя.

— Ну, мне. А что?

— А то, что проморгал ты. Эх, Голуба, Голуба, уж больно ты доверчив!.. Подслушала нас какая-то стерва, вот что.

И Копотей вполголоса рассказал о своем разговоре с командиром роты.

— Может, это он просто тебя на пушку брал? — высказал предположение встревоженный Аким Кривоносов. — Дескать, авось, проболтаешься? Стороною, поди, что-нибудь услышал, а толком ничего не знает. Вот и выпытывает!

Копотей отрицательно качнул головой:

— Не думаю. Сам знаешь, офицеры у нас на «Авроре» всякие есть, а вот ему я почему-то верю... Придется нам, братцы, теперь особенно осторожно действовать.

Он задумался.

— А все ж таки листовку мы выпустим! Это уж решенное дело. Тут нам никакой Небольсин помешать не сможет. Как считаешь, Аким?

Кривоносов отозвался не сразу.

— А знаете, не попросить ли ротного помочь сочинить листовку? Ты же, Евдоким, сам говоришь, что он не похож на других офицеров. Да вот и с тобой нынче как обошелся...

Степа Голубь опешил от изумления:

— Да ты что, очумел?

Но Копотей отнесся к предложению Кривоносова совершенно серьезно.

— Оно бы, конечно, неплохо, — подумав, сказал он. — Он куда грамотнее нас с вами. Но только...

Копотей остановился, подыскивая слова.

— Только к таким делам люди, как бы сказать, поразному приходят. Нам с вами, скажем, все понятно и все ясно: другого пути у нас в жизни и нет. А ему для этого через самого себя перешагнуть надобно. А это — ох, как тяжело!

И он решительно заключил:

— Нет, не годится. Не будем торопить события. Время само покажет, за кого он — за нас или нет.

— Ну, будь по-твоему, — согласился Кривоносов.

...А Дорош после разговора с Копотеем почувствовал, что у него будто гора с плеч свалилась: впервые за все последние дни ему стало легко, спокойно и свободно. Вышагивая по каюте, — два шага вперед, два назад, — он думал о том, что Копотей — матрос неглупый, поймет его правильно, и все, надо надеяться, обойдется благополучно. Неправ Андрей, полагая, будто он, Дорош, должен был беспокоиться прежде всего о собственной карьере и ради этого предотвратить возможную манифестацию матросов.

Не в карьере дело. По службе ему все равно не продвинуться, да и теперь, после письма Элен, это не имеет ровным счетом никакого значения. Какая уж тут карьера?

А вот если матросы ни за что, ни про что пострадают, по неосторожности своей, — это куда хуже. Тут — карьера, а там — тюрьма, а то, глядишь, и казнь...

Он невольно усмехнулся: вот было бы забавно, если бы Небольсин или отец Филарет узнали о предупреждении, которое он сделал Копотею! Можно представить себе, как вытянулось бы аристократическое холодное лицо Аркадия Константиновича. А батюшка, небось, креститься бы начал: свят, свят...

— Свят, свят!..

Отец Филарет мелко, торопливо крестится и выжидательно глядит на Небольсина: что решит старший офицер?

Аркадий Константинович внешне невозмутим. Лишь, если внимательно приглядеться, можно увидеть, как злые чертики торжествующе прыгают в его холодных, непроницаемых глазах. Вот это, кажется, и есть тот случай, когда дражайший Евгений Романович окончательно ломит себе голову: шутка ли сказать — революционный заговор на боевом корабле! И Небольсину становится немного не по себе — мурашки ползут у него по спине. Давно ожидал он подобной минуты, ох, как давно! И тогда, когда подбирали на «Аврору» командира и он был убежден, что назначат именно его. И тогда, когда его не назначили, а вместо этого послали в подчинение к Егорьеву. И тогда, когда Егорьев — достаточно вежливо, но все-таки тоном, не допускающим возражений, — вычитывал его за какие-нибудь неполадки на корабле...

Не-ет, он, Небольсин, умеет выжидать. А кто выжидает, тот и побеждает.

И ему уже видится, как растроганный Рождественский пожимает ему руку: благодарю вас, Аркадий Константинович, я всегда верил, что вы превосходный офицер!..

— Значит, так и условимся, батюшка, — говорит Небольсин. — Никому ни единого слова, ни даже намека. И без моих указаний, пожалуйста, ничего не предпринимайте.

Отец Филарет понимающе склоняет голову: отныне он — само молчание.

1.

Тревожной была предвесенняя пора этого года в северной русской столице.

Еще во многих рабочих семьях свежо и остро было горе тяжелых утрат, понесенных девятого января. Еще шли тут и там повальные обыски и аресты: охранка пыталась обезглавить неукротимо разраставшееся движение народного протеста. Еще на заводах каждый день продолжали «профильтровывать» списки рабочих, выискивая неблагонадежных.

А питерский пролетариат уже накапливал силы для новой ожесточенной схватки. Озлобленные затянувшейся бесцельной войной, безработицей, голодом, ожесточенные преследованиями и репрессиями, рабочие объявляли забастовки, и волна их все ширилась. К началу весны в Петербурге бастовало сто пятьдесят тысяч человек.

Волна первой революции захлестывала новые и новые губернии и уезды Российской империи.

После первой встречи Кати с Ильей в девичьем общении на окраине города прошло больше месяца. Еще три-четыре раза собирался кружок; приходил Илья, и Катя с каждым разом все полнее ощущала прилив незнакомого ей прежде какого-то торжественного, огромного чувства, как будто после долгого заточения она вышла на широкий солнечный простор.

Илья все тот же — в гимнастерке без погон, один рукав которой заправлен за солдатский ремень, сероглазый, внимательно глядящий на девушек; говорит он неторопливо, подыскивая самые простые и понятные слова, и Кате кажется, что он на голову выше прежнего полотера-весельчака Илюши, что это он, а не она, повзрослел, посерьезнел, будто разом перешагнув какой-то невидимый рубеж возраста.

— Вот так и происходит у нас в России, когда рабочий человек отправляется на поиски правды, — говорит он, и скорбные морщины проступают возле уголков его рта. — Идет он за правдой, а находит смерть, пулю, казачью нагайку...

Поздно вечером Илья, как обычно, вызывается проводить Катю. По дороге он неожиданно говорит:

— Скажите по совести, Катерина Митрофановна, не боязно вам ходить вот на эти собрания? Ведь это, знаете, ежели что — добром не пахнет.

И он настороженно умолкает.

— Почему вы об этом спрашиваете? — не сразу отзывается Катя, и хотя в темноте лица ее не видно, Илья догадывается, по тону девушки, что она не на шутку обижена. — Меня ж никто туда насильно не тянет, верно?

— Значит, ты от чистого сердца? — допытывается Илья.

— Конечно! — восклицает Катя. — Но почему все-таки ты об этом заговорил?

Ох, уж это «ты» и «вы»! Катя и Илья то и дело сбиваются с одного на другое, но, кажется, не замечают этого. Катя чувствует, что Илья чем-то очень озабочен. Она повторяет вопрос:

— Почему ты об этом заговорил?

— А вот почему... — Илья нерешительно умолкает, но теперь уже только на одно мгновение. — Вот почему. Нам, Катюша, очень нужна была бы твоя помощь...

— В чем?! — изумленно восклицает девушка. В чем она может быть полезна, слабая, неопытная, не очень-то грамотная?

— Видишь ли, нужно съездить в одно место... Тут, неподалеку от Питера. И связаться с одним товарищем... Но, понимаешь, это очень рискованно. За товарищем, кажется, установлена слежка. И лучше тебя никто бы этого дела не сделал...

И он ждет, что ответит Катя: ждет, волнуясь и сам не понимая, почему он так волнуется, и чувствуя, что не может не волноваться.

— Ты пойми правильно, — снова заговаривает он. — Все это совершенно добровольно. Я тебя совсем не понуждаю к этому...

Катя спрашивает просто:

— Когда нужно ехать?

— В субботу.

И она едет, и связывается с этим человеком, и передает ему какой-то пакет, а что в пакете — она и сама не знает. И ей боязно и весело, а когда по возвращении

она видит на вокзале в толпе Илью, встречающего ее, все ее недавние страхи разом улечиваются; и они целый вечер потом не расстаются: бродят вдоль набережной, и Илья рассказывает ей о той великой, необъятной силе, которая где-то там, подспудно, вызревает в недрах России.

И о себе — в первый раз за все их знакомство — он рассказывает Кате все до конца.

...В Питер они с отцом добирались долго и сложно. Где — пешком, прямо босиком по ребристым просмоленным шпалам, — сапоги, связанные веревочкой за ушки, болтались за спиной. Где — в порожнем вагоне товарного поезда: хоть один-два пролета, а все короче путь.

Была ранняя весна, травы уже поднимались обочь железнодорожной насыпи, молодо и звонко лопотали не успевшие пересохнуть ручьи. Небо было спокойное, большое, синее.

В вагоне, усевшись прямо на пол, под которым погромыхивали колеса, отец развязывал котомку:

— Есть поди хочешь?

Илья отчаянно мотал головой: сыт. А какое там сыт, живот уже давно подвело от голода. Но у отца в котомке — последняя буханка хлеба, взятого еще из дома, — тяжелого, испеченного в смеси с лебедой и отрубями, да небольшой брус потемневшего прошлогоднего сала, — крупная соль выступила на его коже.

И Илья, сглотнув слюну, тянет неуверенно:

— Не-ет, батя, я сыт. Утром — знаешь, как наелся!..

Отец молча раскрывает большой складной нож и режет им — сначала по ломтю хлеба, толстому, потом по пластику сала — тоненькому-претоненькому.

— Ешь, чего уж там. Вот приедем в Питер — пшеничных калачей отъедемся. Там этих калачей знаешь сколько: горы!

Да, калачей были горы. Пышные, с коричневой корочкой, иные присыпанные маком, иные — сахарной пудрой, они лежали в витрине каждой булочной, и самая вывеска у входа в булочную тоже изображала витой калач.

Но у отца не было денег. И не было работы, чтобы появились деньги.

Две недели они вдвоем — высоченного роста, худой и сутулый отец и рядом с ним маленький, щупленький Илья — бродили по чужому, неприветливому, равнодушному городу. Ночевали в подворотнях, под гулками каменными сводами — до того часа, когда дворники выходят со своими метлами и скребками:

— Ишь, разлеглись тут... Шли бы в ночлежку.

Отец расталкивал Илью, они поднимались и снова шли на поиски заработка.

К концу второй недели отцу все-таки повезло: его взяли в артель каменотесов. Каменотесом отец Ильи никогда не был — он был искусным резчиком по дереву, одним из тех творцов затейливых детских игрушек, которые составили славу всей Вятской губернии. Он мог смастерить крохотную — на ладони уместится — гармошку. Мог вырезать из обыкновенной чурочки диких павлинов с пышными хвостами: нажми на штырек и павлины кланяются друг другу.

А каменотесом он не был. Но ведь не боги горшки обжигают! И он с радостью вошел в артель, половину которой составляли земляки-вятичи с их певучим, неторопливым говорком.

Тогда же они и поселились в одноэтажном домике у Обводного канала: два целковых в месяц — и угол и харч.

А через полгода отца придавило мраморной глыбой, которую они поднимали куда-то на третий этаж. Илье в больнице даже не показали отца:

— Иди-иди, нечего тебе смотреть...

Вскоре после похорон отца Илья устроился в железнодорожные мастерские мальчиком-учеником. Только ненадолго устроился. В первую же получку Илью обсчитали.

Токарь Савельев, старик уже, такие лохматые брови над колюче-зоркими глазами, взял мастера за грудки:

— Пошто мальчика обижаешь? Сирота ведь он! Крест на тебе есть или нет, иродова душа?..

Савельева из мастерских назавтра выгнали. Илью — заодно с ним.

— Ладно, малец. Не пропадем. Плюнь на них, живоглотов, — отрезал Савельев и за руку, будто сына, увел Илью к себе домой, к старухе жене.

Ох, и интересный это был дом! Почти каждую субботу здесь, на далекой окраине города, собирался рабочий люд: у всех были свои печали, свой гнев и свое горе. Сидят до утра, табак смолят так, что темно в комнате станет. А Савельев в углу — молча глядит из-под лохматых бровей.

— Ты, Прохор Кузьмич, самый умный промеж нас. Присоветуй, что делать?

Савельев спокойно:

— А что ж, и присоветую...

Книжки читали. Про пауков и про мух, — Илье поначалу странно было: взрослые, а какой чепухой занимаются. Только потом начал понимать, что за пауки и что за мухи.

Там, у Савельева, Илья и услышал в первый раз фамилию: Ульянов.

— Это знаете, какой человек? — басил Савельев. — Скрозь все видит! Вот у него правду и надо искать...

Через три года Илья вступил в социал-демократическую организацию. Рекомендовал его Савельев.

...— Ну, а остальное — армия, фронт, вот это, — Илья глазами показал на пустой рукав, — это ты уже знаешь.

И Катя чувствует, что теперь, после рассказа Ильи, ее с ним связывает нечто большее, чем обыкновенное знакомство.

— Какой ты... — негромко, восторженно говорит она. — Ах, какой ты, Илья!

— Какой? — шутит он. — Человек как человек. Как и все.

— Нет! — убежденно восклицает Катя. — Ты — другой...

А какой — она и сама не знает.

После одного очередного занятия кружка, когда они опять вдвоем возвращались по ночному городу на Васильевский остров, между Ильей и Катей произошел разговор, во многом определивший дальнейшую судьбу девушки.

— Знаешь, Катя, — неожиданно сказал Илья останавливаясь. — А ведь у меня к тебе еще одно дело. На этот раз особенно важное.

Катя насторожилась. А Илья продолжал вполголо-

са, хотя переулок, по которому они в это время шли, был совершенно пуст.

— Недавно у меня спросили: кому я доверяю больше других? Ну, короче говоря, кто, по-моему, заслуживает самого большого доверия... Чтобы если тюрьма, испытания — все, а человек этот не сдался бы, не отступил, не предал...

— И что же? — все еще не понимая, зачем ей говорит об этом Илья, произнесла девушка.

— Я назвал тебя, — твердо сказал Илья. Он сделал долгую паузу.

— Видишь ли, тут какое дело. Партийная организация дает мне новое поручение. Теперь мы будем видеться совсем редко. А ты должна стать у нас постоянным связным, понимаешь? Связь с организацией. Не сейчас, конечно, не сразу: сначала поосмотришься, узнаешь кое-кого. Это очень ответственно: ты многое будешь знать и многим рисковать...

И опять он замолчал.

— Ты как же: согласна?

— Конечно!

— Я знал, что ты так ответишь, — с благодарностью произнес Илья. — И вот еще что. Два-три занятия кружка придется провести тебе самой...

Илья сказал об этом просто, как о чем-то будничном, обыкновенном.

— Да ведь я же не справлюсь, Илюша! — испуганно возразила Катя.

— Надо, чтобы кружок даже в эти дни, когда наши связи временно прекратятся, продолжал работать. Девушка ты грамотная, начитанная — справишься. Главное — не робеть!

И пошутил:

— У рабочего человека всегда так: глаза боятся, а руки делают... А вопросы на эти занятия мы подберем попроще.

— Да ведь боязно, Илюша, — продолжала колебаться Катя. — Что, кроме меня, никого больше нет разве?..

— Есть у нас нужный человек, — возразил Илья. — Опытный товарищ, знающий. Суровую школу прошел... Но пока что ему здесь, в городе, еще нельзя показываться.

Илья объяснил Кате, что старостой в кружке будет по-прежнему оставаться Наташа, и что, если ей, Кате, в эти дни очень понадобится его помощь, — в такой работе ведь всякое случается — пусть она тоже скажет Наташе: та все устроит.

Похоже, что он хотел еще что-то сказать ей, но подавил невольный вздох и лишь совсем тихо добавил:

— Береги себя, Катюша...

На прощанье Илья дал Кате тоненькую брошюрку в бумажной обложке.

— Вот, прочти дома хорошенько, сердцем ее пойми. А в субботу, на кружке, расскажешь о ней девушкам. Бóльшего для первого раза от тебя не потребуется. Только смотри: с этой литературой нужно осторожнее. Береги себя!..

Катя спрятала брошюрку в муфту.

— До свидания, Илюша, — мягко и как-то грустно сказала она.

Она ушла, а Илья еще долго стоял у ее калитки...

Когда Митрофан Степанович, кряхтя и жалуясь на старость, укладывается спать, Катя пододвигает поближе к себе керосиновую лампу.

— Отдыхала бы ты, доченька, — советует старик. — Завтра небось опять чуть свет подниматься.

— Я немножко почитаю, — говорит Катя, прилаживая к лампе бумажный самодельный абажур. — Мне тут Илья одну книжку дал.

К дружбе дочери с Ильей Митрофан Степанович относится по-прежнему неодобрительно: вот она, девичья верность, думает он. Жених где-то в морях-океанах, а она себе тут нового нашла. И кто его там знает, что это еще за Илья? Поди вертопрах какой-нибудь, вскружит девчонке голову, а сам — в сторону...

Но когда он узнал, что это Илья помог Кате перейти на табачную фабрику, в первый раз за все время он одобрительно хмыкнул.

— Видать, правильной линии человек. Нечего было дочери потомственного рабочего чужие подштанники стирать. А тут, как-никак, своя рабочая семья...

С тех пор при имени Ильи он уже так не настораживался и не косился на дочь. Но упорное нежелание Кати показать ему этого Илью все-таки обижало Мит-

рофана Степановича, хотя он не мог понять, почему она так поступает.

Катя достала брошюрку, прочла на обложке: Н. Ильин. «С чего начать?..» *

Сначала она, по совести говоря, не все понимала из того, что читала, и делала над собой усилие, чтобы сосредоточиться. «Наверно, я такая беспонятливая», — корила она себя. Но потом стройность и ясность мыслей, их огневая страсть увлекли ее, она читала и, сама того не замечая, согласно кивала головой.

А одно место в брошюре ее особенно поразило. Там говорилось как будто специально для нее: что же ей, Кате, делать, с чего начинать, к чему стремиться.

— «Мы сделали первый шаг, — читала она, беззвучно шевеля губами, — мы пробудили в рабочем классе страсть «экономических», фабричных обличений. Мы должны сделать следующий шаг: пробудить во всех сколько-нибудь сознательных слоях народа страсть *политических* обличений».

— Страсть политических обличений, — повторила Катя особенно запомнившиеся ей слова из брошюры. И задумалась.

Так вот, оказывается, какое большое дело поручил ей Илья!

Катя отодвинула брошюру в сторону и счастливо, удовлетворенно улыбнулась: теперь она знала, о чем говорить с девушками в субботу. Надо предупредить Наташу о том, что и без Ильи занятие все равно состоится.

Она поднялась, взглянула на ходики: ого, да уже скоро утро. Уснула она сразу же, как только добралась до постели, даже забыв потушить лампу.

Митрофан Степанович встал, чтобы погасить свет, увидел на столе брошюру, внимательно перелистал ее, покачал головой. Он почувствовал, как сердце его наполнилось и гордостью и вместе с тем щемящей тревогой за судьбу дочери. «Вот он, оказывается, какой жених-то Илья», — догадался Митрофан Степанович.

Утром, поднявшись, Катя первым делом вспомнила о книжке: ее на столе не было!

* Работа В. И. Ленина.

— Папа, — дрогнувшим голосом спросила Катя, — Ты не...

— Вот тебе и «не»! Все скрытничаешь, от отца таишься. А я уж, грешным делом, напраслину о тебе думать начал... Будешь теперь знать, как такие штуки разбрасывать. Ах, доченька, доченька, легкомысленная головушка! А вдруг кто-нибудь зашел бы?

Но тут же он пожалел готовую расплакаться дочь:

— За иконой твоя книжка. Ты мне вот что лучше скажи: откуда она у тебя? В самом деле Илья дал? Да не таись: небось не с кем-нибудь, а со старым рабочим разговариваешь.

Пришлось Кате рассказать обо всем: и о том, как позвал ее Илья в первый раз на собрание нелегального кружка, и как много нового ей там открылось, и как теперь Илья поручил ей самой провести занятие кружка и дал прочесть эту замечательную брошюру.

Она ожидала, что отец начнет отговаривать, ругать ее, пугать последствиями знакомства с большевиками, но Митрофан Степанович слушал дочь молча, погруженный в какие-то свои мысли.

— На опасную тропку ступила ты, доченька, — после долгого молчания сказал наконец старик. — Но Илья в выборе не ошибся. Верно?

Катя молча кивнула.

— А что до того, как получше обсказать тебе все на этом первом занятии, — продолжал Митрофан Степанович, — то я тебе один совет дам: расскажи своим подружкам об этой книжке так, будто о всей своей жизни говоришь. О моей. Об Акимовой. Правда — она красивых слов не любит. Она, доченька, всегда простая.

Он бросил быстрый взгляд на Катю и, будто между прочим, сказал:

— Ты все-таки пригласила бы как-нибудь этого Илью к нам. Или не пойдет, гордый?

Лицо Кати вспыхнуло румянцем.

— Нет, — мягко сказала она. — Он не гордый, он... хороший.

И, как показалось старику, смутилась.

— Лучше Акима? — выжидательно сощурился Митрофан Степанович. Катя перехватила этот взгляд, вспыхнула.

— Нет, папа, — решительно произнесла она. — Это не то. Как бы тебе объяснить... Это — совсем другое!

И она спокойно поглядела в глаза отцу: хочешь — верь, хочешь — не верь, а это так, вот только рассказать обо всем этом трудно...

Митрофан Степанович вдруг привлек к себе дочь и обнял ее — совсем так же, как делал это когда-то, когда она была еще маленькой девчонкой с веселыми кудряшками и вечно сбитыми, исцарапанными коленками.

— Ну что ж, Катюша, — сказал он тихо и ласково. — Что я могу тебе пожелать? В добрый час!..

Катя молча уткнулась лицом в его плечо, благодарная и растроганная. А Митрофан Степанович почувствовал, как что-то задекотало у него в горле. Ах, годы, годы! Вот и проглядел ты, старик, когда твоя дочь превратилась в настоящего большого человека, и уже своя дорога у нее, свои заботы и опасности.

Одно его пугает: что ждет ее на этой нелегкой дороге?..

И совсем так же, как вчера Илья, Митрофан Степанович добавил:

— Только береги себя!

...И вот в первый раз она идет сама проводить занятие кружка. Сама! Гордость, радость, тревога переполняют ее. Радостно и... страшно. Это все равно как подняться высоко-высоко, а потом поглядеть вниз. В детстве Катя с подружками взбиралась на звонницу Исаакиевского собора, откуда, как на ладошке, был виден весь Петербург: крохотные домики, точки деревьев, узкая голубая полоска Невы, — и сердце щемит, и голова немножко кружится, а хорошо!

Она идет по сияющему огнями вечернему Петербургу, и все ей кажется необычным, значительным, праздничным, и сама она будто тоже торопится на какой-то долгожданный праздник.

Два молоденьких мичмана, оба розовощекие и курносые — должно быть, недавно произведенные в первый офицерский чин — увязываются за нею, на ходу говорят ей какие-то веселые глупости, а она вдруг оборачивается, озорно, по-девчоночьи строит им забавную гримасу и исчезает в переулке. Кто бы подумал, что она идет на такое важное и опасное дело?

Нет, ну как же хорошо и радостно ей нынче!..

На перекрестке, неподалеку от общежития ее поджидает одна из девушек. Маленькая, круглая, она куется в полушубок и топчется в своих огромных, не по ногам, валенках.

— Ой. Катя, я волновалась за тебя! — говорит она. И, понизив голос, добавляет: — Илья прислал записку.

Недоумевая, Катя разворачивает клочок бумаги, поданный девушкой.

«Сегодня занятия не проводите, — быстро пробегают глазами она. — Возможен обыск, провал».

И никакой подписи, ничего. Катя рвет записку на мельчайшие клочки.

— Вот что, Олюшка, шепни подругам: сегодня ничего не будет.

— Так нужно?

— Так нужно.

Предупреждение Ильи оказалось не напрасным: в девятом часу, когда, по всем расчетам, должен был собраться нелегальный кружок, нагрянули жандармы.

Они ввалились вшестером, окутанные клубами пара, и остановились у порога, недоуменно переглядываясь.

— Смотрите, к нам гости пожаловали, — насмешливо-безбоязненно воскликнула Наташа. — Что ж у порога-то стоите, гости дорогие? Проходите, милости просим!

Девушки занимались своими делами: кто стирал белье в тазу, кто, сидя на койке, штопал чулки — ничего похожего на нелегальное собрание здесь не было.

Тощий, высокий жандармский вахмистр досадливо крикнул.

— Виноваты. Адресом ошиблись.

— А что? — не унималась Наташа, озорно подмигнув подругам. — Небось все этих.. социалистов ищете? А тут, оказывается, ярмарка невест? Экая досада!

И вздохнула:

— Бедненькие, трудно вам!

Вахмистр бросил на нее сердитый взгляд, но промолчал и заторопился к выходу.

С этого дня Катя несколько раз замечала: какой-то человек упорно провожает ее от фабрики до самого дома, когда она возвращается со смены. Стараясь освободиться от его преследования, Катя заходила в первые попавшиеся на пути магазины, не торопясь выходить

оттуда, и человек терпеливо ожидал ее у витрины, скучающе рассматривая прохожих.

Катя поделилась своими опасениями с Наташей, но та рассмеялась:

— Влюбился какой-нибудь. Девушка ты пригляди-стая — в такую влюбиться не мудрено. Вот и ходит за тобой как неприкаянный.

Но Катя с сомнением покачала головой: нет, этот на влюбленного не похож.

Она решила действовать напрямик: подошла к нему на улице и, глядя в лицо, спросила возмущенно:

— Послушайте, почему вы вот уж который день всюду ходите за мной? Что вам от меня нужно?

Она гневно сжала кулаки, говорила нарочито громко, и прохожие оглядывались на них с любопытством, а это-то и входило в Катины расчеты.

Незнакомец растерялся. По книгам и по рассказам подруг, Катя представляла себе, что у филеров — непременно бегающие, маленькие глазки и черные усики, но у этого глаза оказались почти неподвижные, чуть нависают, лицо его было тщательно выбрито.

— Чего вы от меня хотите? — повторила Катя громко и негодуя. Возле них начали останавливаться люди.

— Так его, так, девушка! Пусть не пристаёт, — насмешливо крикнул кто-то. Филер смутился, что-то пробормотал, приложил руку к котелку и поспешно отошел.

А Катя вдруг почувствовала огромную, давящую к земле усталость, ноги у нее подкашивались, ее колотил озноб. Она прислонилась к стене около витрины какого-то магазина.

— Вам плохо? — любопытствовала молодая женщина. — Помочь?

— Нет-нет, благодарю вас, — неимоверным усилием воли Катя заставила себя сделать первый шаг.

Но и на первое — перенесенное — занятие кружка, и на второе, и на третье она шла безбоязненно. Правду говоря, она и сама-то разбиралась далеко не во всем, о чем заходила речь на этих занятиях, но многое ей, более начитанной, чем ее подруги, было известно; и когда она чувствовала, с каким почтительным вниманием слушают ее девушки, как жадно и доверчиво расспрашивают обо всем, как тянутся к знаниям, — она понимала,

какое большое дело доверили ей Илья и те, неизвестные ей люди, которые поверили ему, когда он назвал Катину имя.

А человек, который должен был заменить Катю, все не появлялся, и Илья через Наташу передал: надо ей провести еще одно-два занятия. В сортировочной Наташа Фокина отозвала ее в сторону.

— Тут тебе один ухажер просил передать, — улыбнулась она. — Беда с вами, девчатки: вы — влюбляетесь, а я знай — записочки таскай.

И протянула Кате большой конверт:

— Ждет ответа, как соловей лета!

В конверте оказалась брошюра о стачках. Ни письма, ни даже самой коротенькой записочки к ней не было приложено, и хотя Катя понимала, что Илья поступает так из предосторожности, ей стало почему-то обидно: хоть два слова мог бы написать!

Она хотела было расспросить Наташу, где та в последний раз видела Илью, здоров ли он, все ли у него благополучно, но Наташа сделала предостерегающий жест: в цех входил мастер.

Глазами Наташа показала ей: не волнуйся, все в порядке. И Катя благодарно улыбнулась ей.

Часто теперь она спрашивала себя: будь Аким здесь, пошел бы он вместе с нею ее дорогой? И отвечала сама себе уверенно: да!

...В первых числах апреля на табачной фабрике началась забастовка. Поводом к ней послужило увольнение очередной партии работниц. Хозяева выслушали делегатов от цехов, но снова принять на работу уволенных отказались наотрез.

Напрасно делегатки пытались говорить о том, что у каждой из тех, которые оказались за воротами, семья, детишки или старики родители, напрасно напоминали о недавнем обещании владельцев фабрики не проводить больше сокращений — хозяева стояли на своем: объем заказов резко сократился, может быть, придется на какое-то время и вообще закрыть фабрику.

— Э, что с ними толковать! — в гневе воскликнула пожилая работница. — Пошли, девоньки!..

Забастовка не была неожиданностью для Кати, и все-таки она немного растерялась, когда перед полуднем в сортировочную вбежала покрасневшая от

возбуждения Наташа и срывающимся голосом выкрикнула:

— Кончай работу! Все на митинг, во двор!..

Фабричный двор был уже заполнен работницами; когда Катя вышла из дверей сортировочной, посредине двора, стоя на пустом ящике, перевернутом «на попа», ораторствовала какая-то незнакомая Кате женщина.

— Наши мужья гибнут на войне... — доносилось до Кати. — А спросить бы, кому это нужно? Вам, мне? Нет, рабочему человеку война ни к чему! А мы тут тем временем мрем от голода... в нас стреляют... нас бросают в тюрьмы!..

Кто-то сзади тронул Катю за плечо, она обернулась: Илья! Он весело щурился, глядя на девушку.

— Убедительно говорит, а? — не здороваясь, спросил он и глазами показал в сторону импровизированной трибуны. — Может, и ты что-нибудь скажешь?

— А что ж, — решительно сверкнула взглядом Катя, — и скажу!..

И тотчас начала протискиваться сквозь толпу. Кто-то говорил: «Дайте дорогу девушке», кто-то помог ей взобраться на ящик. Катя обвела взглядом весь двор, все эти возбужденные, взволнованные лица — и только тут растерялась: а что же она скажет?

Но возле трибуны уже стоял Илья и молча показывал ей глазами: начинай, не робей!

— Девушки, — негромко сказала Катя и остановилась. — Девушки, у меня есть жених...

— Ну, и поздравляем, — весело выкрикнула одна из работниц, но на нее зашикали.

— Мы очень любим друг друга, — задумчиво, будто рассуждая вслух сама с собой, продолжала Катя. — И мы поженились бы. Но его отправили на войну, потому что он — военный моряк. И кто знает — вернется ли он живым... А я не хочу, чтобы он погиб за чужие интересы!.. — Она запнулась. — И потом вот еще что: знаете, наша сортировщица Наташа Фокина страшно кашляет, у нее, наверно, чахотка... А вентиляции у нас, в сортировочной, нет... И мы тоже все скоро начнем каплять кровью, как Наташа... А хозяевам какое дело до этого? Им доход подавай...

Она прислушалась к тому, что говорит, и ужаснулась: ведь это же совсем не то, что нужно было сказать!



Но тут почему-то захлопали, и до нее как-то не сразу дошло, что ведь это ей хлопают, и она, вконец растерявшись, поспешно прыгнула с ящика.

Какие-то пожилые женщины окружили ее:

— Молодец, девушка, от чистого сердца сказала!

Катя поискала глазами Илью, но уже не нашла его.

Три дня бастовали работницы табачной фабрики, и лишь к исходу третьих суток хозяева пошли на уступки. А на четвертый день в числе десяти или пятнадцати других работниц — полиция действовала решительно — Катя была арестована.

Дома, во время обыска, она держалась так спокойно, будто все это — недоразумение, которое сегодня же выяснится. Когда ее уводили, она молча поцеловала отца, и впоследствии, в дни гнетущего, томительного одиночества, Митрофан Степанович не раз с удивлением думал: откуда у его дочери, у этой маленькой сероглазой девчонки, выросшей без матери, на его руках, взялась такая гордая сила?

Но тут же вставала в памяти его собственная моло-

дось, когда — босоногим парнишкой — пришел он на заработки в Питер и попал в гущу рабочих, и они научили его уму-разуму, помогли по-другому увидеть жизнь, а главное, помогли ему увериться в собственной силе, которой ни жандармы, ни хозяин-заводчик, ни его конторщики не страшны.

И как ни велико было горе, он думал удовлетворенно: «Вся в меня!..»

2.

Чем тяжелее становилась обстановка на фронте, тем воинственнее делался тон петербургских газет. Официальные военные обозреватели, которые, должно быть, имели самое смутное понятие о местах, где шли сейчас ожесточенные кровопролитные бои, высказывали предположения одно невероятнее другого, и все они неизменно были проникнуты духом необузданного оптимизма.

Особенно большие надежды возлагались на приход эскадры Рождественского в Тихий океан. «Новое время» уже подсчитывало, когда и в какой срок Рождественский уничтожит весь флот Японии. «Биржевые ведомости» каждый день рассказывали, какой боевой отваги и решимости полны моряки, идущие на сближение с неприятелем.

И только на самой эскадре, казалось, меньше всего думали о предстоящих сражениях во славу царя и отечества. Правда, штаб адмирала по-прежнему рассылал приказ за приказом, но все они были так далеки от реальной, трезвой оценки обстановки, что Егорьев уже и удивляться перестал: пусть их забавляются...

На собственный страх и риск он решил предпринять некоторые меры подготовки на случай боя.

В дневнике у себя он записал: .

«Ввиду близости боя мы энергично принялись за окончательные работы по самозащите многих частей крейсера, которые по законам мирного времени были устроены совершенно нецелесообразно».

К сожалению, все это было горькой правдой: в размещении служб на корабле, как и в самой конструкции крейсера, было, кажется, учтено все, кроме возможности боевой обстановки. Лазарет и операционная оказались устроенными так скверно, что пользоваться ими

в тропиках совершенно невозможно. Вся провизия сосредоточена в одном месте, окажись затопленной эта часть судна — и шестьсот человек останутся без еды.

«Многое в этом роде пришлось исправить, — записывал через несколько дней Егорьев. — На верхней палубе соорудили из запасных сетей защиту от попадания мачтовых осколков, а также траверзы из таких же сетей плюс матросские койки — для защиты прислуги орудий. Выломано и убрано все деревянное, что могло повести к пожарам...»

Когда все было закончено, на «Аврору» неожиданно пожаловал сам Рождественский. Егорьев встретил его у парадного трапа, с затаенной тревогой ожидая: ну, сейчас адмирал разразится бранью.

Осторожный Небольсин не на шутку перепугался: вот теперь узнает адмирал об этом самоуправстве — быть неприятности.

Всем своим видом старший офицер показывал: в случае чего — прошу вспомнить, что это была не моя затея, я возражал, не соглашался...

Но все обошлось, кажется, благополучно. Адмирал молча лазил по всему крейсеру, так же молча, не прощаясь, направился к трапу, и только там вполголоса буркнул:

— Распоряжусь, чтобы другие командиры кораблей побывали на «Авроре»...

Облегченно вздохнув, Егорьев возвратился в свою каюту, и почти тотчас же в нее не вошел, а вбежал Небольсин. Он был бледен, губы его нервно дрожали.

— Евгений Романович, — сдавленным шепотом сказал он. — Что же это делается, Евгений Романович? Слава богу, что адмирал отбыл, а то, упаси господь, узнал бы он!..

— Что еще? — устало произнес Егорьев.

— Вот глядите! — Небольсин протянул какой-то листок. Егорьев недоуменно посмотрел на старшего офицера, потом снова перевел взгляд на бумагу и прочел вполголоса:

«Если не будет убран с корабля лейтенант Ильин, мы сами с ним расправимся. Матросы».

— Где вы это нашли? — резко поднялся Егорьев.

— Подброшено было в офицерский люк...

Егорьев прошелся по каюте. Раздражение, накопи-

вавшееся в течение всего дня, готово было вот-вот прорваться наружу, но он поспешил взять себя в руки, во всяком случае Небольсин-то не должен видеть этого.

— Что еще натворил этот... Ильин? — глухо выдавил он наконец.

— Ничего особенного, — пожал плечами Небольсин. — Опять ударил какого-то матроса, кажется. И все...

Лицо Егорьева начало медленно покрываться красными пятнами.

— И все, говорите?.. Бить матроса, да еще в такое время!.. Не сегодня-завтра сражение, а мы... Одним словом, вот что, Аркадий Константинович, — он говорил так сдавленно, что Небольсин изумленно поднял на него глаза. — Пригласите к себе Ильина и скажите, что ему следует написать рапорт... Ну, я уж не знаю, какую причину он найдет приличной для себя. Пусть напишет, что ли, что болезненное состояние не позволяет ему дальше служить на корабле. Вы поняли меня?

— Не совсем, но... Хорошо, я вызову Ильина.

...Евдоким Копотей и Аким Кривоносов переглянулись, когда в первом же порту от крейсера отошел вельбот, увозя лейтенанта Ильина на госпитальное судно «Орел». Вид у Ильина был независимый и гордый, но в сторону «Авроры» он так больше ни разу и не глянул.

— Что ж, хоть и маленькая победа, а все ж таки победа, — удовлетворенно сказал Копотей. — Вот тебе первое доказательство тому, что, ежели сообща за какое дело взяться, наверняка толк будет.

Г Л А В А 11

1.

Благословенные, особой русской красоты места есть под Курском, на далекой родине Алексея Дороша.

Спокойно и медленно, почти не приметно для глаза, несет свои воды широкая и дремотная река Сейм. Отсюда ее путь на Украину, в ковыльное степное раздолье, и что ни дальше — становится она все шире, все полноводнее: глянешь на другой берег, а он едва-едва различим. Камыши в человеческий рост обступают ее с обоих берегов, заросли тонколистного ивняка и моло-

дых ракии шелестят над колдовски синей, бездонной водою затонов, мельничные колеса бормочут на реке посредине плотины рассудительно и неторопливо: шлеп-шлеп, шлеп-шлеп... Белые поля душистой ромашки расстилаются в прибрежных низинах, и только кое-где, там, где глазком проглянет голубое озерцо, вкраплены в них желтые пятнышки кувшинок. Белые меловые горы высятся над рекой, опрокинуто отражаясь в воде; пронизанное солнцем белое облачко недвижно висит над всем этим в огромном и чистом небе.

Прислушаешься — жаворонок невидимой спиралькой опускает откуда-то из поднебесья свою замысловатую песенку; тонконогий кулик в камышах крикнет потревоженно и снова умолкнет. Ручейки, невидимые в густой траве, переговариваются весело и беспечно...

Какой-то необъяснимой притягательной силой наделены эти края, и кто хоть однажды побывал здесь, будет долгие годы потом видеть в снах и эту реку, и эти белоснежные горы, и эти луга, чуть тронутые рябью легкого ветерка.

Любил Алексей уходить по весне в луга, далеко в камышовую чащобу, где всхлипывает под ногами еще с апрельских паводков застоявшаяся вода. Любил вдыхать горьковатый и такой бодрящий запах молодой полыни и чебреца; раздвигать на зорях влажные от росы кусты дикого жасмина, листья которого остро пахнут свежими огурцами; остановившись на шаткой кочке, вслушиваться в птичье безудержное ликование, следить с неожиданно замирающим сердцем, как поднимается на непостижимую высоту, а затем опускается до нежного, с придыхом, грудного воркования неповторимая трель соловья.

Впрочем, этот родной край был одинаково хорош не только весной, а и в любое время года: и в щедрые летние дни, переполненные песнями косарей и медвяными запахами трав; и поздней осенью, в такую пору, когда и морозов-то еще нет, лишь редко-редко встретишь серебряную холодную паутинку первого заморозка на потемневшем кустарнике, на пожухлой траве, а воздух уже пахнет остуженными яблоками и откуда-то издалека доносит ветром аромат теплого хлеба; и даже в зимние лунные ночи, когда тени облаков неслышно

проплывают по чистому снегу и далеко далеко, за много верст отчетливо слышится каждый звук.

Но особенно любил Алексей курскую весну.

В высоких болотных сапогах, в охотничьей куртке, со стареньким отцовским ружьишком за спиной, из которого он иной раз за все время даже и не выстрелит, на недели уходил он из дома, один, восторженный, никогда не чувствующий усталости. Часами стоял у древних могильных курганов, думая о тех бесчисленных поколениях, которые уже прошли по этой земле. Зоревал в лугах. Коротал теплые ночи где-нибудь у случайного ребячьего костра, растянувшись на земле и слушая нестрашные рассказы о деревенских необидчивых домовых и ведьмах. Любовался рассветами на берегу Сейма, жадным взором следя, как горит не сгорая где-нибудь далеко за темным лесом широкая, все разрастающаяся полоса зари. Впитывал, вдыхал, ощущал каждой клеточкой своего тела неяркую, но такую дорогую сердцу красоту отчих мест.

И все же не этим весенним торжеством обновления запомнилась Алексею Дорошу курская земля.

Она запомнилась ему серыми бревенчатыми покосившимися избами на талых косогорах, горьким запахом торфяного дыма над прижавшимися друг к другу хуторами, жалобным ревом тощей, голодной скотины за плетнями, исступленным кликушеским отчаянием богомольцев во время весеннего «крестного хода»; запомнилась трахомными, воспаленными глазами стариков, до времени поблекшими лицами молодых женщин, рахитичными отвислыми животами ребятишек...

Это была нищета — беспредельная, ничем не прикрытая, обнаженная, как язвы на теле юродивого, что корчится у края пыльной дороги.

Они, эти воспоминания, начали складываться с самого раннего детства.

Отец Алексея, старый земский врач, который мечтал когда-то о том, чтобы всего себя отдать служению родной земле, и ради этой мечты отказался от заманчивой столичной карьеры, считал, что сына нельзя отгораживать от суровой правды жизни, как бы ни показалась она ему страшна. Он брал с собой Алексея во время поездок по деревням, и большеглазый впечатлительный мальчик-подросток возвращался через неделю-другую,

переполненный острой жалостью к тем, кого он повидал в этих поездках, и смутным ощущением какой-то собственной виновности в том, что вот бедствуют, мрут, слепнут в извечной грязи и невежестве хорошие, сильные, красивые люди...

— Смотри, сынок, — говорил ему отец, — смотри и запоминай!..

— Но, папа, — возражал он страстно, взволнованным, дрожащим голосом, — неужели так-таки ничем нельзя им помочь?..

Отец качал головой и зорко глядел на сына.

— К сожалению, Алешенька, ничем.

И непонятно, добавлял:

— Знаешь, римский сенатор Катон-старший был убежден, что Карфаген необходимо разрушить. Я тоже думаю, что начинать все-таки надо с разрушения Карфагена...

Эти воспоминания Алексей Дорош сохранил во все годы своей флотской службы, и, наверное, потому относился к матросам совсем не так, как многие другие офицеры.

Как-то, будучи уже мичманом, Алексей решил заглянуть недельки на две домой. Обрадованный отец сообщил, что пришет за ним на станцию лошадь, но поезд давно ушел, а знакомый отцовский тарантас все не появлялся на пыльной дороге. Алексей стоял у края большака, нетерпеливо поглядывая вдаль. Рядом с ним, положив подбородок на посох, стоял старик, тоже, должно быть, ожидавший какой-нибудь okazji.

— А что, ваше благородие, — вдруг сказал он. — Вот ты, чать, по моряцкому своему занятию во многих странах побывал. Много земель поди видел. Есть ли где-нибудь счастливая земля?..

Он помолчал, вздохнул и сам себе убежденно ответил:

— Нет такой земли!

Сколько раз в дни плавания эскадры вспоминал Дорош этого старика у дороги. Иногда он задумывался: интересно, поняла бы его Элен, если бы он открылся ей, рассказал об этих воспоминаниях? Отец писал: «Мне хотелось бы, Алешенька, чтобы и там, в дальних странах, где предстоит тебе побывать, ты сохранил не растраченной ту чистоту и искренность, с какими смот-

рел когда-то на жизнь в родных местах...» Старик много недоговаривал, будто опасаясь поверять письмам нечто самое важное, но Алексей понимал его.

После того как лейтенант Ильин был в спешном порядке переведен с «Авроры» по причинам, так и оставшимся не известными для всех, обстановка в роте Дороша стала как-то спокойнее, уравновешеннее. И все-таки Дорошу было ясно, что в конечном счете дело было вовсе не в Ильине. Этими мерами положения матросов не облегчишь, они по-прежнему забиты и запуганы, по-прежнему испуганно втягивают голову в плечи при появлении офицера или унтера, будто ожидая удара.

И Дорош все чаще вспоминал теперь отцовские слова о Карфагене.

2.

Зиновий Петрович Рожественский, конечно, понимал, что эскадра в ее сегодняшнем состоянии имеет слишком мало шансов на победу в случае встречи с неприятелем.

Еще в Петербурге, по обязанностям начальника Главного морского штаба знакомясь с донесениями военно-морских атташе из Лондона, Парижа, из скандинавских стран, читая сводки внешней разведки, он составил себе довольно трезвое представление о том, что противник на Тихом океане окажется куда сильнее, чем думают об этом некоторые придворные сановники. На укрепление могущества японского флота работала добрая половина просвещенной Европы — не будь этой далеко не бескорыстной помощи, судостроительная промышленность далекой островной империи, с ее до крайности ограниченными собственными сырьевыми ресурсами, вряд ли достигла бы такого успеха и за такой короткий срок. Шутка сказать: почти половина всего, чем располагает сейчас хитрый и умный адмирал Того, — это корабли самой новейшей конструкции и постройки.

Эскадренный броненосец «Микаса», водоизмещением в пятнадцать с лишним тысяч тонн, — колосс, равного которому нет во всей русской армаде, — спущен со стапелей всего лишь четыре года назад. Большие броненосные крейсера «Ниссин», «Кассуга», легкие крейсера «Цусима», «Нийтака», «Отава» — все корабли, которым два-три года от роду. Старыми у Того были

лишь капонерские лодки да суда береговой обороны — иные построены еще в семьдесят седьмом году! — но тут японский адмирал рассчитывал на очевидное численное превосходство.

Да, Европа уж расстаралась для Ниппонской империи! Пушки на японских кораблях — систем, подозрительно похожих на германские, навигационные приборы — близнецы британским, аппараты для производства минных атак, говорят, до этого были запатентованы в Северо-Американских Соединенных Штатах. Даже лоции, если их сравнить с теми, которые отпечатаны в Лондоне, отличаются разве только тем, что вместо строчек английских названий — на них узкие столбики иероглифов.

Скрыть все эти факты вряд ли возможно, и не потому ли европейские военно-морские вестники с более чем похвальным усердием обливают грязью японскую предприимчивость: вот, мол, шагу нынче не шагнешь без того, чтобы не натолкнуться на японского шпиона. Расписывается на все лады «творческое оскудение» технической мысли в Японии. Извлечен на свет божий анекдотец с бородой — насчет того, что даже лошадиное ржание японцы украли у лондонских извозчиков, а теперь выдают за собственное открытие.

Но это все — хитрости, белыми нитками шитые. Разве один только дурак не заметит, что тут дело не столько в мощности японской агентурной сети, — а она, надо признать, действительно огромна и разветвлена, — сколько в изрядном потоке золота, текущем с востока на запад в бездонные сейфы европейских банков. И то, что эскадре, составленной в Ревеле, не под силу тягаться с этой — целым миром взлелеянной! — японской громадой, тоже не он, Рождественский, первый понял.

Поделиться ли всеми этими мыслями с царем? Еще недавно обласканный его монаршим вниманием и поэтому сделавший такую стремительную карьеру, он должен был бы поставить этим на карту все, — царь не любил, когда ему говорили о слабости «его» империи!

Была какая-то душевная минута, когда Зиновий Петрович уже почти решился добиться аудиенции у царя. Но потом хитрая, с годами выработанная осторожность взяла все-таки верх над этой опасной решимостью.

Второй раз он — неожиданно для себя самого — за-

колебался и чуть было не заговорил обо всем этом с царем, когда Николай изъявил желание осмотреть эскадру перед ее уходом в Тихий океан. В сентябрьское утро были выстроены на внешнем рейде Ревеля в одну длинную и — насколько это было возможно — ровную линию (Рожественский знал, что у царя особенная любовь к прямым линиям и к симметрии) все корабли эскадры.

Паровой катер, на котором император совершал обход кораблей, простуженно чихал и фыркал, Николай устало, шаркающей походкой поднимался по парадному трапу, слабым, домашним голоском выкрикивал: «Здравствуйте, магросы!», те яростно и нечленораздельно рявкали в ответ: «Здрра... жжла... вшше... пратрск... величств...» — и уже вместе со всей своей немалочисленной свитой низкорослый монарх, выставив вперед рыжую бороденку, снова торопился к катеру.

На каком-то из кораблей — не то на «Донском», не то на «Авроре» — Николай ушибся коленом о комингс, болезненно морщился после того и прихрамывал; настроение его, еще с утра сумрачное, было вконец испорчено. И лишь на прощанье самодержец заставил себя улыбнуться:

— Ну что ж, адмирал, как говорится — счастливого плавания! — И добавил по-французски: — Хоть и принято считать — «*Tout vient à point à celui qui sait attendre*» *, поймите мое нетерпение, с каким я буду ждать ваших вестей.

Глядя куда-то в сторону, — только тут Рожественский заметил, что Николай немного косит, — он сунул адмиралу узкую, почти женскую руку лодочкой.

...А теперь вот мучайся угрызениями совести, терзай себя сомнениями: почему не высказал императору все, что ему надо было знать о подлинном положении эскадры?

Зиновий Петрович недовольно фыркает, как всегда в минуту раздражения, и вызывает к себе одного из штабных офицеров — надо же сорвать на ком-то злость!

— Слушайте, вы подготовили приказ об «Авроре»? Штабной офицер бормочет что-то в свое оправдание, но Рожественский вдруг багровеет:

* Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. (франц.).

— До каких пор, черт вас побери, будет продолжаться этот кабак в моем штабе?! Пишите. Ну что вы устались на меня? Пишите — я буду диктовать!

И он произносит раздельно, слово за словом, как ученику на диктанте:

— Предписываю завтра, к восьми с половиной часам утра, собраться на крейсере «Аврора» — записали «Аврора»? — ...всем старшим офицерам, всем артиллерийским офицерам и всем заведующим жилыми палубами и осмотреть, как следует размещать уголь, принимая сверх полного запаса, чтобы не препятствовать действию всей артиллерии... — успели записать артиллерии? — ...не нарушать удобств подачи, не закрывать доступа к вспомогательным механизмам и не создавать условий, благоприятных для самовозгорания угля.

По мере того, как Рожественский диктует строку за строкой, он начинает мало-помалу «отходить», и штабной офицер тотчас это замечает.

— Вот уж верно, — поспешно говорит он. — Это вы правильно, ваше высокопревосходительство: на «Авроре» для всех есть чему поучиться!..

Рожественский смотрит на него насмешливо:

— Вы так думаете? Не поэтому ли вы забыли приказ об «Авроре» написать?.. Ну, ладно, — записывайте дальше... «Прошу командира крейсера «Аврора» организовать осмотр так, чтобы он был поучителен для всех собравшихся офицеров и чтобы для всех собравшихся не были пропущены такие детали, как устройство выгородок и удобных проходов в тесных помещениях...»

Окончив диктовать, он откидывается в кресле и закрывает глаза:

— Все. Можете идти.

Штабной офицер выходит из адмиральской каюты на цыпочках: ему кажется, что Рожественский спит...

А адмирал сидит и думает все о том же: нет, нельзя ему было рисковать карьерой, — а вдруг да придут победа и слава?..

Он удовлетворенно улыбается: речь — серебро, молчание — золото!

Костры...

Егорьев не сразу понял, что это — множество костров там, на берегу.

Вечерело. Сумерки наступали по-тропически быстро, стремительно, и чем темнее становился с каждой минутой низкий небосклон, густо усеянный мохнатыми голубыми звездами, тем отчетливее проступали на его фоне далекие золотисто-яркие костры.

На «Авроре» было тихо, откуда-то из глубокого чрева корабля, из матросского кубрика доносилось негромкое мужское пение:

Ой да ты, калинушка,
Ты, мали-и-нушка...

Егорьев задумчиво постоял у борта, продолжая вглядываться в огни костров на берегу. Неожиданно он приказал спустить шлюпку: пойдет туда, на берег.

— Поздненько уже, — попытался отговорить его Небольсин. — Я, конечно, Евгений Романович, не смею давать вам советы, но на вашем месте я все-таки поостерегся бы... Кто ж их знает, этих туземцев, что у них в голове? Дикое племя, как-никак...

— Съедят меня, как капитана Джемса Кука? — коротким смешком рассмеялся Егорьев.

Увидев поднимавшегося на верхнюю палубу Дороша, Егорьев насмешливо бросил Небольсину:

— Вот кто, наверное, согласится разделить со мной печальную судьбу Кука.

И окликнул Дороша:

— Чем заняты сейчас?

— Ничем, Евгений Романович, — пожал плечами Дорош. — Вот хожу и мысленно философствую... о сущности бытия.

— Тогда верю, что вы действительно ничем не заняты, — засмеялся Егорьев. И вдруг спросил вполголоса: — Ну как: до сих пор еще сердитесь на меня... за разнос?

Дорош смутился:

— Что вы, Евгений Романович! Я уж забыл давно...

— А вот это — зря! — снова рассмеялся Егорьев и предложил: — Хотите со мной на берег сходить?

— Охотно, — с поспешностью согласился Дорош.

Были отобраны самые сильные и выносливые гребцы, в их число попали Евдоким Копотей и Аким Кривоносов.

Скалистый берег оказался неприветлив; высокие го-

ры уходили обнаженными острыми вершинами к небу; чахлые деревца, словно разбросанные чьей-то небрежной рукой на склонах гор, казались маленькими и жалкими. Тут и там — пятна проступивших наружу обнажений белого и красного песчаника.

...Чем ближе к берегу, тем гуще становились сумерки и тем быстрее увеличивались в размерах костры; через несколько минут под днищем вельбота затарахтела галька.

Егорьев первым выскочил на берег, за ним узкую полосу воды легко перепрыгнул Дорош. У шлюпки остались двое матросов, остальные двинулись вдоль берега. Евгений Романович шел впереди так уверенно, будто он уже не раз побывал в этих местах.

Вскоре маленький отряд моряков вступил в поселок. Возле шеренги кокосовых пальм, вершины которых были неразличимы в темноте, жались одна к другой низенькие, убогие хижины. Они были сооружены из каких-то гибких ветвей и обмазаны светло-оранжевой глиной; поодаль, в крошечной долине сейчас же за поселком, виднелась небольшая кумирня с черепичной крышей, окруженная бесчисленными могильными холмиками.

Костры, разложенные возле хижин, трещали и разбрызгивали искры; у огня сутились полуобнаженные смуглые женщины, тут же копошились голые дети.

Появление русских моряков не вызвало ни страха, ни удивления: женщины оглядывались на них и продолжали заниматься своими делами; лишь любопытные детишки тотчас обступили пришельцев.

Евгений Романович поклонился и поздоровался по-русски, это же сделали матросы. Женщины отозвались какими-то непонятными, негромкими гортанными возгласами, означавшими, должно быть, тоже приветствие.

Только сейчас Егорьев разглядел, что у одного из костров, самого большого, кружком сидят мужчины; он решительно направился туда.

Мужчины молча потеснились, уступая ему и Дорошу место; матросы стали поодаль. Несколько минут, пока длилось всеобщее молчание, Дорош внимательно рассматривал лица туземцев, озаренные неверным светом костра.

Они были непривлекательны: плоские, увенчанные

какими-то замысловатыми валиками из слюдянисто-черных волос, болезненно худые.

Самым ужасным были рты: с черными зубами, с воспаленными, как бы кровоточащими деснами. Дорош вначале подумал, что это — следствие скорбута*, но Евгений Романович, перехватив его взгляд, отрицательно качнул головой:

— Бетель**, — вполголоса пояснил он.

Туземцы молчали. Молчали и моряки. Это молчание длилось долго, слишком долго; только иногда мужчины перебрасывались какими-то отрывистыми, короткими фразами и тут же снова умолкали, искоса поглядывая то на Егорьева, то на Дороша.

Евгений Романович не торопился заговаривать. Он сидел и разглядывал мужчин, и такое сострадание было в его взгляде, что Евдоким Копотей толкнул локтем Кривоносова: гляди, что делается с нашим командиром.

Детишки не отходили от матросов. Аким протянул руку и погладил по жестким волосам какого-то малыша, тот сначала испуганно отшатнулся, отскочил в сторону, потом подошел к матросу и доверчиво остановился возле него, глядя снизу вверх огромными черными выразительными глазами.

— Ишь ты, малец, — сказал Кривоносов и, достав из кармана кусок твердого синеватого рафинада с табачными крошками на нем, протянул его малышу. — На-ка, попробуй матросского гостинца.

Будто следуя его примеру, Егорьев поспешно вытащил из кармана пачку прессованного душистого табаку, распечатал и протянул ближайшему из мужчин. Тот молча взял ее, понюхал, отщипнул немного и пустил по кругу. Один из мужчин поднялся, исчез в темноте, которая начиналась сразу же в двух-трех шагах от костра, и через несколько минут возвратился со связкой мелкой вяленой рыбы; все так же молча он подал ее Егорьеву. Дорош с интересом наблюдал за происходящим. Вначале, еще на крейсере, ему было непонятно, почему это вдруг Егорьеву захотелось побывать на бе-

* Скорбут — цинга.

** Бетель — кустарниковое растение из семейства перечных. Смесь листьев бетеля с известью употребляется у народов тропической Азии для жевания.

регу, но теперь он словно вдруг увидел Евгения Романовича в каком-то ином освещении, и многое в прежнем поведении Егорьева стало ему ясным, хотя, кажется, ничего особенного здесь, на берегу, и не произошло.

— Я хочу посмотреть, как вы живете, — сначала по-французски, потом по-английски сказал вдруг Евгений Романович. Его, по всему судя, никто не понял, тем не менее, когда он встал и направился к ближайшей хижине, двое или трое мужчин тоже поднялись и, вооружившись горящими палками в виде факелов, пошли вслед за Егорьевым.

На пороге хижины Евгений Романович и Дорош остановились.

Внутренний вид жилья поразил их. В одном углу хижины были свалены самодельные сети, в другом грудой лежали какие-то лохмотья, на них, разметавшись, спал голый ребенок. Посередине невысокой горкой возвышались рыбы кости, от них шел тяжелый, зловонный запах. Уродливые тени метались по стенам.

Мужчины, сопровождавшие моряков, по-прежнему хранили бесстрастное молчание.

— Н-да, неказистое жилье, — вполголоса произнес за спиной капитана первого ранга Аким Кривоносов. Егорьев оглянулся на него, но ничего не ответил.

Они возвратились к костру, и Егорьев начал торопливо извлекать из карманов взятые, очевидно, на всякий случай пачки галет, пакетики с ржаными сухарями, потом вытащил портсигар и опорожнил его, оставив себе только одну папиросу. Евдоким Копотей и Кривоносов переглянулись и тоже стали опустошать свои карманы: куски сахара, пачки галет и табака они молча сложили в одну кучку на земле, неподалеку от костра.

Дорош пошарил в карманах, но ничего подходящего не нашел и досадливо крикнул. Минуту подумав, он извлек из бокового кармана кителя горсть французских монет — все, сколько их у него было, — и протянул одному из мужчин.

Егорьев поклонился сидевшим у костра, те ответили ему сдержанными возгласами, и он, повернувшись, быстро, крупными шагами пошел к берегу.

Было уже совсем темно. Отсюда, с берега, корабли эскадры теперь почти не угадывались, они словно исчезли в этой осязаемо-густой ночи, и только фонари на их

мачтах казались звездами, во множестве опустившимися к самой воде.

Ровно и монотонно шелестела волна, избегая на пологий берег и снова скатываясь с него; поскрипывал днищем на гальке чуть покачивающийся вельбот.

И от этой торжественно-молчаливой, совершенно необычайной ночи, и от этих низких звезд на мачтах эскадры, и от всего только что увиденного здесь, на берегу, Дорошу стало как-то не по себе; тихая и печальная задумчивость овладела им. И снова — в который раз за время плавания! — припомнился ему тот старик на курской дороге.

За все время, пока вельбот шел к кораблю, никто не проронил ни слова. Только Аким Кривоносов не удержался: вздохнул и задумчиво сказал вполголоса:

— А все ж таки, наверно, нет на земле места, где бы хорошо жилось бедному человеку!..

Один из матросов-гребцов предостерегающе дернул его за рукав: тише! Но ни Егорьев, ни Дорош, казалось, не слышали ничего.

Поднявшись по трапу, Евгений Романович не ответил обратившемуся к нему с каким-то вопросом Небольсину и быстро прошел в свою каюту.

А Дорош еще долго стоял у борта, продолжая глядеть в ту сторону, где все так же маячили золотые костры.

3.

Элен получила письмо Дороша, — правда, шло оно до Петербурга всевозможными окольными путями более полутора месяцев.

Сдержанно — так, словно к нему самому это не имело ровно никакого отношения и уж во всяком случае не огорчило и не разочаровало его, — Дорош поздравлял ее с предстоящим бракосочетанием.

И ничего больше. Несколько корректных, отменно холодных строк и подпись, каждая буква в которой выведена с печатной четкостью. Элен ожидала от Дороша всего чего угодно: мольбы подождать с замужеством, упреков, обвинений, — она уже заранее подготовила в уме убедительные, как ей казалось, слова возражения Алексею, — но этих бесстрастно-вежливых строчек она не ожидала.

И она вдруг почувствовала, что ей до слез обидна эта вежливость; и задетое самолюбие (выходит, ему действительно безразлична ее судьба, а она-то переживала!), и еще что-то другое, чему сама Элен не могла найти названия, — непонятное, тревожащее — боролись в ней.

Она изорвала письмо Дороша на мелкие-мелкие клочки, но потом ей вдруг остро захотелось перечитать его еще раз, и она принялась складывать эти клочки, однако уже ничего не получалось, и от досады на себя самое ей впору было заплакать...

Так вот оно что, оказывается Алексей не такой уж наивный, милый мальчик, потерявший голову от любви к ней и забавный в своей безрассудной влюбленности. Оказывается, и у него есть своя гордость!

А почему бы ему не иметь эту гордость? И кто он вообще, что она, Элен, о нем знает? Что она может сказать о нем?..

И, кажется, в первый раз со времени начала их знакомства она серьезно задумалась о нем, перебирая в памяти все, от первого вечера до последнего.

...Они познакомились совершенно случайно, где-то на балу, вскоре после того, как в жизни Алексея Дороша произошло знаменательное событие: он сменил мичманские погоны на лейтенантские. Это было обычное знакомство, каких было у Элен множество. Танцевали. Он был серьезен, чересчур серьезен, и сначала это забавляло ее, а потом почему-то начало злить: что он — бесчувственный, что ли? Хоть бы какую-нибудь самую банальную любезность сказал!

В отместку ему она стала танцевать с кем-то другим, а он безропотно отошел в сторону, прислонился к колонне и оттуда следил за нею грустными, серьезными глазами, и ей стало жалко его, но она даже не посмотрела в его сторону: сам виноват, пускай помучится. Лишь однажды, кружась в вальсе, она бросила ему мимолетную дружескую улыбку, и лицо его разом посветлело, и он тоже улыбнулся ей — открыто и радостно. Она торжествовала: выходит, не так уж он к ней безразличен!

В тот вечер отец рано увез ее домой, и с Алексеем она после этого не встречалась, должно быть, месяца два: говорили, что «Аврора» уходила куда-то в плава-

ние. И она уже начала понемножку забывать об этом молоденьком, чуточку странном, молчаливом лейтенанте. Лишь иногда ей вспоминалась его радостная улыбка там, у колонны, и тогда ей внезапно становилось не по себе.

А потом они столкнулись на лестнице, в морском собрании, куда отец, связанный с флотским интендантством, время от времени получал приглашения.

Увидев Элен, Дорош обрадовался мальчишеской, откровенной радостью, которая так и светилась на его лице.

— А ведь я все это время думал о вас, — сознался он, когда они после танца вышли из душного зала на террасу.

— Этому можно верить? — привычно насмешливо спросила она, а он посмотрел на нее недоуменно: конечно, иначе разве он сказал бы?

— А вы обо мне вспоминали? — все с той же подкупающей непосредственностью произнес он. — Сознайтесь, вспоминали?

Элен улыбнулась: совсем мальчишка! Ну, разве у девушек спрашивают о таких вещах? Одно из двух: либо он действительно совершенно не искушен в ухаживаниях, либо очень хитер. Но его глаза...

— А почему это, позвольте полюбопытствовать, я должна была о вас думать? — все так же насмешливо бросила она, разглядывая его из-под опущенных ресниц.

— Мне показалось... я полагал... — мучительно покраснев, Дорош бормотал что-то невразумительное, бессвязное, и вконец смутился.

Ей, как и в тот первый вечер, стало жаль этого красивого мальчика, краснеющего так, словно он и впрямь в чем-нибудь виноват. Она положила кончики теплых пальцев на его руку.

— Впредь вам будет наука — не заставлять девушек испытывать неловкость. Надеюсь, вы исправитесь?

— Хорошо, — Дорош произнес это так потерянно, что Элен рассмеялась, показывая маленькие белые зубки. В эту минуту она была особенно хороша, и Дорош глядел на нее такими глазами, что ей на мгновение даже стало страшно.

— Я пожалею вас, о храбрый рыцарь, — певче сказала она. — Да, я думала о вас. Все эти дни.

— Правда? — он весь просиял. — Нет, правда?

Элен улыбнулась: нет, ну что за наивный мальчик! Она произнесла нараспев, лукаво:

— Правда.

— Ну, тогда... Тогда...

Он не находил слов.

— Что же тогда? — то ли насмешливо, то ли поощряюще спросила Элен, вновь опуская ресницы.

— Тогда!..

Дорош вдруг положил ей руки на плечи, привлек ее к себе и поцеловал. Она вскрикнула от изумления: вот так робкий, застенчивый мальчик! А он смутился и стал неуклюже просить прощения.

— Пойдемте в зал, — сдержанно сказала Элен.

Должно быть, вид у Дороша был в этот вечер настолько счастливый, ликующий, что это не осталось незамеченным и, конечно же, было немедленно по-своему истолковано.

— Пора домой, — сухо сказал отец и почти насильно увез Элен.

А на следующее утро у нее состоялось неприятнейшее объяснение с отцом.

— Такое поведение недостойно моей дочери! — бушевал он. — Крутить голову какому-то несчастному, безвестному лейтенантишке! Нет, Леночка, я тебя отказываюсь понимать...

— Но, папа, — пыталась оправдаться Элен. — Он же любит меня...

— И что из того? Подумаешь — любит!.. Ты — красивая девушка, одна из самых красивых в Петербурге, и многие еще будут в тебя влюбляться. Но ты-то сама голову терять не должна! Красота женщины — это... — он пошевелил в воздухе пальцами, подыскивая подходящее определение, — это, если хочешь, тоже капитал. И ему нужно уметь найти применение, чтобы не остаться в дураках!

Отец раздраженно фыркнул:

— Именно: не остаться в дураках!..

Элен поморщилась: слишком прямолинейно и грубо. Отец же, не обращая внимания на ее протестующие жесты, продолжал:

— Ты знаешь, с каким трудом я пробивался в жизнь. Твоя покойница мать — свидетельница тому.

Мне никто не помогал, и все, что здесь есть, — он обвел широким жестом вокруг, — все это мои бессонные ночи, мой риск, мои, если хочешь, унижения. Да, так!..

Он начинал не на шутку сердиться, голос его звучал все громче и резче:

— И я не хочу, чтобы все это досталось... первому встречному!

В душе, если сознаться, он давно мечтал о том, чтобы выдать дочь за дворянина, а Дорош, насколько ему известно, хоть и из обедневшего рода, сын какого-то земского чудака-докторишки, но все-таки дворянин. Союз с дворянством — лучшая гарантия преуспевания в торговле. Но, с другой стороны, у этих покорителей морей обычно ведь ни копейки за душой! А дворянство без денег — находка не такая уж большая.

— Но, папа, — снова попыталась возразить Элен. — Мне он тоже нравится...

Отец тяжело опустился в кресло: этого еще не доставало! Не-ет, не зря он когда-то мечтал о сыне, но не о дочери: вот они, сбываются его опасения!

— Не будем продолжать этот разговор. Он одинаково неприятен и тебе и мне, — резко бросил он. — Иди к себе и подумай над моими словами.

Молча, опустив голову, Элен вышла из кабинета отца.

А потом появился этот грассирующий на парижский манер, прилизанный, с аккуратненьким проборчиком Анатолий Теушев, этакое, как отметила про себя Элен, симпатичное ничтожество; и Элен догадалась, что тут не обошлось без участия ее отца. Анатолий, конечно, не чета Алексею, но ведь всему Петербургу известно, что Теушевы за какие-нибудь год-полтора нажили миллионы на поставках сукна действующей армии, — вот отец и старается.

Они даже познакомились между собой — Алексей и Теушев; Анатолий по-французски сказал что-то о покорителях морей и женских сердец и мило при этом улыбнулся, но Дорош скользнул по нему отсутствующим взглядом и вскоре отошел в сторону.

Элен, выполняя обещание, которое дала отцу, весь вечер танцевала с одним только Теушевым, и отец был в высшей степени доволен.

— Ну, вот видишь, — назидательно говорил он до-

чери, когда после бала они возвращались домой. — Ты умеешь быть умницей. А моряки — что? Так, вертопрахи, и только. Перелетные птицы.

Элен отчужденно молчала, забившись в угол экипажа.

...И вот сейчас — этот ответ Алексея. Если бы жива была мать, Элен хоть у нее на плече поплакала бы — так вот, без стеснения, по-бабьи: дура я, мол, дура, гуляло мое счастье рядом, а я куда глядела? Но матери не было, а с отцом ни о чем говорить нельзя: он, сразу начнет кричать.

Элен тяжело задумалась.

Впервые за все это время она набралась смелости честно и открыто спросить у себя: а что, собственно, хорошего увидел в ней Алексей? Он — умный, серьезный, мужественный, хотя по молодости и горячеват иногда. А она что? Ну, просто взбалмошная, легкомысленная девчонка и больше ничего. Правда, красивая, очень красивая, она это сама знает. Но ведь Алексей не из тех, кому нужна только жена-красавица, ему требуется настоящая подруга, которая делила бы с ним радости и огорчения, знала бы все его дела и заботы. Он как-то рассказывал о жене адмирала Завойко, не покидавшей своего беспокойного мужа даже в его камчатских странствиях, — вот такая подруга была бы под стать Алексею. А она, Элен, не способна на это, ну, просто не способна — нельзя же, в самом деле, осуждать ее за то, в чем она вовсе и не виновата: такой ее воспитали...

Так понемногу уступала сговорчивая совесть, и Элен уже начинало казаться, что в общем-то она поступила даже правильно, честно и дальновидно, написав Алексею о своем предстоящем замужестве: пока эскадра в плавании, они все равно не поженились бы, а там вернется эскадра, и он найдет себе достойную жену и будет счастлив.

И все-таки где-то в глубине души она ощущала, что все это не так, неправда, что от самой себя все равно никуда не уйдешь, как ни хитри. И тут же возникала мысль: да если бы она была хоть чуточку настойчивее, разве отец, при его связях, не добился бы, чтобы Алексей остался в Петербурге?.. Да, но — а сам Алексей? Он ведь никогда на подобное не согласился бы! Ах, бо-

же ты мой, как все это прочно переплелось между собой...

Элен вздохнула и пошла к отцу.

Тот что-то писал у себя в кабинете, близко придвинув настольную лампу под восточным шелковым абажуром. Зеленоватый свет придавал его лицу какое-то безжизненное, странное выражение.

— Елена, ты? — спросил он через плечо, заслышав шаги дочери. — По делу или так? Я очень занят...

— Не беспокойся, папа. Просто так. Поскучаю немножко у тебя.

— Ну-ну, — неопределенно ответил отец и снова углубился в бумаги. Время от времени он отрывал от них взгляд, смотрел куда-то в темный угол кабинета, беззвучно шевеля при этом губами. Элен сбросила туфельки и с ногами, как любила это делать в детстве, забралась на холодный кожаный диван и притихла там: она была похожа на избалованного котенка, уверенного, что его не обидят и не прогонят.

— Послушай, папа, — сказала она помедлив. — Можно у тебя что-то спросить?

— Да...

— Скажи: что такое война?

Отец поднял голову от бумаг, удивленно передернул на лоб очки в золотой оправе.

— Это в каком же смысле?

Элен замялась.

— Ну... Я хотела сказать: зачем она идет? Для чего?..

Долгим взглядом посмотрел на нее отец, постучал пальцами по столу, зачем-то придвинул к себе и снова отодвинул бумаги. Потом потянулся к маленькому соседнему столику, на котором стоял миниатюрный глобус на тонкой лакированной ножке — дар какого-то благотворительного общества.

— Хорошо. Постараюсь объяснить по возможности проще. Предупреждаю: это, конечно, будет несколько не то, что ты... читаешь в газетах.

Элен насторожилась.

Он стремительно раскрутил глобус, резким движением остановил его и ткнул пальцем в огромное желтое пятно на поверхности шара.

— Вот видишь, — продолжал отец. — Это — Китай

Колоссальное государство. Четыреста с чем-то миллионов жителей. Неисчислимы природные богатства: практически там есть все, чем богата земля. И при всем том — почти первобытная дикость...

Он говорил отрывисто, тяжелыми, рублеными фразами.

— До самих китайцев нам, разумеется, нет никакого дела. История этого государства необычайно интересна: порох, компас, бумага — все пошло оттуда, из Китая. Древнейшая культура. Но этим пусть занимаются историки. Для нас сейчас важно другое: Китай — величайшая сырьевая база. Самый крупный в мире рынок сбыта.... Кто владеет ключами от Китая, тот владеет всей Азией. Вот и решается: мы, Англия или Япония? А почему бы не мы?.. Я объясняю достаточно популярно?

Элен качнула головой: дальше ничего объяснять не нужно. Вероятно, в словах отца была правда — страшная, циничная, но все-таки правда.

Она задумалась.

— Но какое до всего этого дело Алексею? — тоскливо произнесла она наконец. — Почему он должен там рисковать жизнью, может быть, даже... погибнуть? Ведь ему до всех этих ваших... сбытов никакого дела нет!

— Ах, во-от оно что, — насмешливо протянул отец. — Невеста Теушева и после обручения продолжает думать о мореплавателе? Ну, это, милочка, девичьи причуды. А до них мне, пользуясь твоим выражением, нет никакого дела... Если б знал, не тратил бы времени впустую!..

В мыслях он уже давно соединил свой капитал с богатствами Теушева-отца: тогда держись, коммерческий Санкт-Петербург! Вдвоем они быстро и решительно приберут к рукам все крупнейшие поставки интендантству — только бы протянулась еще годик-другой война да не упрямилась дочь.

— Вот что, Лена, — сухо сказал он. — Мне, признаться, уже надоело убеждать тебя в том, в чем ты прежде всего сама заинтересована. Пойми, что выбор у тебя не так уж велик: либо Анатолий — и богатство, роскошь, почести, либо тот... Дорош — с его офицерским жалованьишком. А уж от меня ты тогда ни на что не рассчитывай!.. Вот так. Ну, а теперь иди к себе и не мешай мне работать.

Элен возвратилась в свою комнату и только там расплакалась злыми слезами.

«Нет, пожалуй, отец все же прав, — думала она. — Хоть и говорят, что с милым — в шалаше рай, но она предпочитала бы жить не в шалаше — брр! — а в этих милых, просторных, залитых сиянием люстр комнатах, где все так привычно и дорого ей...»

После таких мыслей даже прилизанный Теушев не казался ей уж очень противным, и когда в обычный час, вечером, он вошел, кланяясь уже с порога и протягивая букет пурпурных роз, добытых где-то, очевидно, за баснословную цену, она встретила его обворожительной белозубой улыбкой.

— Вот и хорошо, вот и хорошо, — удовлетворенно повторял отец, видя, как мило беседует Элен с напмаженным женихом.

Торг можно было считать состоявшимся.

Г Л А В А 12

1.

— Я получил, господа, циркулярное предупреждение жандармерии... — Огромным и грузным телом своим Рожеcтвенский откидывается в кресло и многозначительно умолкает.

— Вот уж никогда не думал, — продолжает он, и скорбь в его голосе. — Не думал, что мне, старому солдату, придется заниматься подобными делами!..

Глядя на командующего эскадрой, Егорьев скорее с любопытством, чем с неприязнью думает: зачем все эти театральные эффектные жесты? Ну получил ты там какую-то бумажку — мало ли их нынче рассылают! — скажи об этом просто, без ужимок. Так нет же: «Старый солдат!», «Никогда не думал!». И глаза скорбно к потолку, и вздох во всю мощь легких!..

И Егорьев невольно усмехается.

Рожеcтвенский, между тем, не поворачиваясь протягивает руку через плечо, туда, где бесстрастный флаг-офицер стоит навтыжку с папкой бумаг.

— Никогда я не думал, — повторяет Рожеcтвенский, — что на старости лет мне придется заниматься... социалистами.

Держа бумагу в вытянутой руке, поодаль от глаз, он читает медленно, будто прислушиваясь к собственному голосу:

— «Строго секретно. Вице-адмиралу Рожественскому. Лично... По имеющимся у нас сведениям, на многих судах вверенной Вам эскадры в последнее время заметно активизировалась деятельность лиц, пропагандирующих среди нижних чинов свои социалистические идеи...

Мы располагаем, правда, недостаточно проверенными данными о том, что на эскадренных броненосцах «Орел», «Ослябя»... как, впрочем, и на многих других кораблях, имеются подпольные кружки и группы... В них входят преимущественно машинисты, гальванеры, кочегары и т. п.».

Рожественский снова выдерживает паузу, и дальше читает уже с особенной значительностью, отделяя каждое слово:

— «Считаем долгом предупредить Вас, что в связи с близостью первого мая — дня, избранного революционными элементами для своих манифестаций, не исключена возможность подобных манифестаций и на кораблях Вашей эскадры...»

Адмирал, снова не глядя, через плечо возвращает бумагу флаг-офицеру и обводит присутствующих тяжелым, угрюмым взглядом.

— Ну-с, господа, — говорит он. — Что, опять проглядели?..

В огромном и, должно быть, поэтому уютном салоне «Суворова» воцаряется томительное молчание. Командиры кораблей, созванные Рожественским на это экстренное совещание, стараются не глядеть ни на адмирала, ни друг на друга.

— Что вы скажете?

Голос Рожественского звучит угрюмо-зловеще.

— Так что ж, Зиновий Петрович, — наконец нарушает это затянувшееся тягостное молчание командир «Бородина» капитан первого ранга Серебренников. И, должно быть, потому, что именно он заговорил первым: на эскадре все знают, что Серебренников настроен крайне либерально и что когда-то, в девяностые годы, он был даже причастен к организации народников, — Рожественский недовольно насторожился.

— Мне кажется, — спокойно продолжал Серебренников, — что вообще-то в этом предупреждении нет ничего неожиданного — ни для вас, ни для нас.

— Вот как? — Рождественский склонил голову набок и снизу вверх посмотрел на капитана первого ранга. — Вы так полагаете?

— Именно так, — твердо повторил Серебренников. — Когда вместе, на нескольких кораблях или на нескольких десятках кораблей, в этом в конце концов нет большой разницы, собрано ни много ни мало, а двенадцать тысяч человек, каждый из которых — свой характер, свой строй мыслей, что же удивительного в том, что среди них могут найтись и люди с... нежелательными нам убеждениями?

— Значит, вас это не удивляет и не тревожит? Так, что ли? — грубо перебил Рождественский.

— Я не сказал — не тревожит, — по-прежнему сохраняя выдержку, хотя было видно, как вдруг проступили у него упрямые желваки, возразил Серебренников. — Я только сказал: не удивляет.

— Хорошо, продолжайте, — буркнул Рождественский.

— Всем нам известно, — вновь заговорил Серебренников, — что в командах у нас — довольно значительная часть бывших черноморских матросов. А флот Черного моря в этом смысле снискал себе за последнее время определенную славу...

— Вот это верно, — не глядя на капитана первого ранга, уже более успокоенно произнес Рождественский: за Черноморский флот он не отвечал. — Рассадник разы это, а не флот!..

— Наконец, известно, — Серебренников смотрел прямо в лицо адмиралу, — что и из числа балтийцев в плавание были отобраны... далеко не самые благонадежные.

«Уж к тебе-то самому это в первую очередь относится», — казалось, подтвердил насупленным взглядом адмирал.

— Уже памятное вам, Зиновий Петрович, происшествие на «Орле» с достаточной убедительностью показало, что в эскадре нашей действительно немало людей, настроенных революционно.

Лицо Рождественского внезапно покрылось пятнами:

удар Серебренникова угодил в цель. Командир «Бородина» имел в виду вот что.

В последних числах января офицеры эскадренного броненосца «Орел» решили «развеять скуку бытия», благо незадолго перед этим было роздано жалование сразу за три месяца. Офицерскому коку приказано было расстараться, поскольку придут гости с других кораблей, и тут уж нельзя ударить в грязь лицом.

Перед полуднем к борту «Орла» начали подходить шлюпки, вельботы, катера: приглашенных набралось немало. Матросы-вестовые, побряхтывая, таскали в кают-компанию ящики с коньяком и шампанским, слышался звон расставляемых фужеров, рюмок и бокалов, по всему кораблю разносился дразнящий запах вкусных мясных блюд.

Когда в нижних палубах раздались дудки, зовущие матросов к обеду, и артельщики понесли первые бачки с пищей, запахи из офицерской кают-компании смешались с тяжелым, гнилостным запахом, исходящим матросскими бачками.

— Опять гнильем кормят! — возмущенно воскликнул кто-то из комендоров, и ропот прокатился по кораблю: на обед нижним чинам сегодня была снова приготовлена испорченная, червивая солонина, загруженная еще в Ревеле.

— Нехай ее офицеры жрут!

— Сами-то небось пируют, а нам — хоть подыхай?..

Боцманы и фельдфебели, напуганные не на шутку, метались от одной группы матросов к другой, угрожая размахивали кулаками, выкрикивали свирепые ругательства, но их уже никто не слушал.

— За борт бачки!..

И десятки бачков вместе с пищей, находившейся в них, полетели в воду.

— Выходи строиться! Не разойдемся, пока командир не выслушает нас!

По трапу вниз торопливо сбежал старший офицер корабля, вызванный кем-то из унтеров с обеда. Он был уже навеселе, в расстегнутом кителе, с покрасневшимся лицом.

— Что-о? Бунтовать у меня?! — иступленно закричал он. Но десятки гневных голосов перекрыли его брань:

— Прова-а-ливай! Командира требуем!..

Под оглушительный свист старшего офицера выпроводили с нижней палубы.

О матросском волнении был тотчас уведомлен Роже-ственский. Минут через двадцать он собственноручно прибыл на «Орел», начал кричать, угрожать расправой над зачинщиками, но матросы стояли молчаливой сплошной стеною и разговаривать с адмиралом отказались до тех пор, пока пища им не будет заменена на доброкачественную.

Офицерское «развеивание скуки бытия» оказалось, конечно, сорванным. Обескураженный дружным отпором нижних чинов, но все еще расточающий угрозы, Роже-ственский приказал оставить команду без обеда:

— Не хотят жрать то, что дают, пусть голодают, — грубо, площадно выругавшись, адмирал начал спускаться в свой катер.

По эскадре была объявлена боевая тревога.

Вечером Роже-ственскому доложили, что бунт на «Орле» прекращен: командиру корабля удалось кое-как уговорить команду, надавав ей всевозможных обещаний; два унтер-офицера, пытавшиеся бить «бунтовщиков», доставлены на другой «Орел» — госпитальный — с тяжелыми увечьями.

Роже-ственский тогда не предал это происшествие гласности: он превосходно понимал, что недовольство матросов дурной пищей было законным, да и опасался, что волнение перекинется на другие корабли, где кормили матросов не лучше. Он даже приказал принять меры, чтобы слух о событиях на «Орле» не распространился по эскадре. Но утаить это оказалось невозможным.

...— Да ведь и не только на «Орле», — с прежней невозмутимостью продолжал Серебренников. — А ноябрьский бунт на «Наварине»? *. А происшествие на «Нахимове»? **. И уж извините, Зиновий Петрович, но

* 8 ноября 1904 года команда эскадренного броненосца «Наварин» отказалась грузить уголь. Волнение на корабле было подавлено силой оружия.

** 11 января 1905 года матросы крейсера «Адмирал Нахимов» отказались от недоброкачественной пищи, волнения продолжались до тех пор, пока пища не была заменена.

мы должны быть справедливы: только ли социально опасные лица во всех этих волнениях виноваты?..

От возмущения адмирал на минуту даже утратил дар речи: как, если сами командиры кораблей пытаются найти оправдание всем этим беспорядкам, можно ли от них требовать суровых и беспощадных мер по отношению к бунтовщикам?!

Но командир «Бородина», будто угадав, что происходит с адмиралом, спокойно опустился в кресло: он сказал все.

И опять наступило томительное молчание...

— Добро, господа, — наконец-то выдавил из себя Рождественский, стискивая побелевшие пальцы. — Я над всем этим... подумаю. А вас прошу: имейте в виду, что если государю-императору станет известно о беспорядках на эскадре, он будет беспощаден!

И, уже не глядя ни на кого, бросил:

— Можете быть свободны.

...«Как хорошо, что у меня на «Авроре», видит бог, пока что все благополучно», — удовлетворенно думал Егорьев, возвращаясь на крейсер.

Он, конечно, и не предполагал, что в это самое время Кривоносов, Листовский и Голубь заняты переписыванием прокламации, сочиненной штрафованным матросом Копотеем.

2.

В тот вечер, как и в предыдущие, Катю допрашивал жандармский ротмистр Власьев, низенький, тучный, еще не старый, но уже с заметной лысинкой и с тяжелыми отечными мешками под глазами.

Было во внешности Власьева, вообще-то ровно ничем не примечательной, что-то такое, что заставляло думать о его скрытой жестокости и упорстве: такой человек, должно быть, ни перед чем не остановится.

Ходил Власьев, чуть волоча левую ногу, поврежденную на кавалерийских скачках, за столом сидел прямо и неподвижно; в глазах его нельзя было прочесть ничего, кроме равнодушия и усталости, и лишь иногда проглядывали в них недобрые, жесткие огоньки.

Катя заметила эти огоньки на первом же допросе, и ей вдруг стало не по себе.

...— Ну, как? Одумались? — он спросил это скучным,

ровным, негромким голосом, не глядя на Катю, словно не было ему до этой девушки совершенно никакого дела и словно он уже заранее знал, что ничего стоящего из их разговора все равно не получится. — Сегодня — будете давать показания? Или снова станете бессмысленно упрямиться?

— Но я, право, не знаю, чего вы от меня хотите? — возразила Катя. — Понимаете, произошло какое-то недоразумение, и вот вы вторую неделю держите меня здесь... А за что — я и в толк не возьму!

— Ах, оставьте, — ротмистр досадливо поморщился. — Все это я уже слышал от других тысячу тысяч раз. Внесите хоть вы какое-нибудь разнообразие...

Он поднял на нее бесцветный взгляд:

— Ну, хорошо, давайте говорить более определенно, если уж вам так хочется. Нелегальные социал-демократические брошюры, найденные у вас при обыске. Показания свидетелей о ваших так называемых занятиях кружка на табачной фабрике...

Ротмистр сделал вид, что старается подавить зевок: до того ему все это, ясное и очевидное, надоело.

— Ваши поездки в пригороды, к некоторым... таинственным личностям. Наконец, ваша экзальтированная речь на митинге... И вы еще утверждаете, что ничего не знаете, что все это — недоразумение? Вздор!

Он вдруг подался вперед:

— Аким Кривоносов — кто вам? Жених?

— Откуда вам известно о нем? — испуганно воскликнула Катя: в первый раз за все эти дни она растерялась.

— Милая девушка, — ротмистр глумливо улыбнулся. — В жизни так много источников, дающих подобные сведения. Например, ваши собственные письма...

— Значит, вы...

— Святая наивность! — ротмистр расхохотался и удовлетворенно расправил плечи; растерянность девушки ему положительно нравилась — от растерянности до откровенности один шаг.

— Святая наивность, — сквозь смех повторил он. — Пользуясь тем, что в нашей благословенной цивилизованной стране... — при этих словах он умиленно поднял глаза к потолку. — В нашей стране нет цензуры личной переписки, вы сообщаете жениху о жертвах январского... инцидента на Дворцовой площади... Любовные ва-

ши излияния нас, конечно, не интересуют... Пишете о том, как трудно живется сейчас петербургским рабочим... О какой-то Гладышевой — надо полагать, вашей подруге, которая, по вашему выражению, расстреляна беспощадными палачами... И полагаете, что все это не заинтересует нас? Вот уж поистине детская наивность!

Катя чувствует, каким тяжелым и ненавидящим становится ее взгляд, обращенный на ротмистра, и опускает его.

— Я никак не пойму, что же вам нужно от меня? — глухо произносит она. — Известно вам, оказывается, больше, чем мне самой. Остается одно: отправить меня в суд. Так, очевидно?

Она снова подняла голову:

— Скажите, наконец, по-русски, чего вы хотите?

— Очень немного. Имена, кроме уже известного нам т-товарища Ильи. Некоторые адреса: главным образом тех, к кому вы ездили по заданиям. Вот и все.

Власьев улыбнулся.

— И после этого вы свободны. Старик отец, наверно, уже истосковался? Он, между прочим, приходил тут, справлялся о вас...

Катя до боли сцепила пальцы рук, чтобы не закричать.

— Нич-чего я не знаю, — отдельно, по слогам произнесла она. — Ни-чего!..

— С этого у нас все начинают, — насмешливо возразил ротмистр. — А кончают тем, что рассказывают все. До мельчайших подробностей!.. Уверяю вас, это более разумно, чем вот такое ваше поведение. Потому что...

Но Катя вдруг поднялась.

— Могу идти в камеру?

— О нет, — живо возразил Власьев. — Мне так приятна беседа с милой фрекен...

Но в эту минуту он ловит Катин взгляд, и что-то такое в этом взгляде, что ротмистр, внезапно переменив решение, пожал плечами:

— Что ж. Если вам так хочется молчать — я не возражаю. И у меня и у вас времени впереди много.

Он даже пошутил:

— Мы с вами, как олимпийские боги, у которых и впереди и позади — вечность...

И тут же деловито объяснил:

— Идите в камеру. Только не в ту — в другую. Конечно, условия там будут несколько... похуже. Но тут уж вы сами виноваты... Вот так-то, Катерина Митрофановна.

Власьев издевательски поклонился ей:

— До следующей встречи. Мы не торопимся. Не-ет, мы можем и подождать.

Но Катя уже не слушала его.

Шагая между двумя конвоирами, долговязыми молчаливыми солдатами, она встревоженно думает об одном: неужто, в самом деле, ее арест, ее письма навредят Аким, навлекут на него неприятности, а может, и нечто большее?

И тут же она представила себе богатыря-матроса, всегда спокойного, невозмутимого, чуточку насмешливого, никого и ничего, как ей казалось, не боящегося. Ей вспомнилось, как в тот единственный вечер, когда он пришел к ним, и Митрофан Степанович напрямик спросил у него: пойдет ли он, Аким, если доведется, против рабочих, Аким возмущенно вскочил и сжал кулаки: никогда!..

Где-то он сейчас, Аким?..

Но куда это ведут ее сегодня? Вместо того, чтобы в конце коридора свернуть, как всегда, направо, а там — вниз по крутым скользким ступенькам, конвойные повернули влево.

«Куда мы идем?» — хотела спросить Катя, но тотчас вспомнила глумливую фразу Власьева: «Только не в ту... в другую». Вот оно в чем дело!

У одной из дверей уже гремел ключами дежурный надзиратель. Он, кажется, был под хмельком, но старался не показывать этого Кате и поэтому все время отворачивался от нее, пока возился с непослушным замком.

— Входи! — грубо сказал он наконец и подтолкнул Катю. Она сделала только один шаг через порог — и вдруг оказалась в каком-то темном, без окон, помещении, размеры которого было невозможно определить. В лицо ей ударило таким застоявшимся, удушливым запахом плесени и еще чего-то кислого, противного, что Катя на мгновение отшатнулась.

— Входи, входи, не барыня небось! — повторил надзиратель. И хохотнул: — Ничего фатерка, подходящая!..

Дверь медленно и тяжело скрипнула, щелкнул за-

мок. Катя почувствовала, как ее ногам стало вдруг холодно. Она наклонилась и тотчас отдернула руку: пол был залит водой.

Значит, это и есть карцер? Тот самый страшный карцер, о котором так много рассказывали ей женщины, соседки по камере?

Девушка нащупала рукой влажную стену и, прислонившись к ней спиной, стиснула зубы...

Когда Катя была еще совсем маленькой девочкой, отец, возвратясь с работы, часто сажал ее на колени и, покачивая, рассказывал особенно полюбившуюся ей чудесную сказку о молодом бесстрашном богатыре. Отправился богатырь выручать из неволи свою невесту, Марью-Моревну, прекрасную царевну. И ей, Кате, хотелось тогда, чтобы и она вот так же, как златокудрая Марья-Моревна, попала в неволю к страшному чародею и чтобы пришел чудо-богатырь и придавил ногой распластавшегося в страхе чародея, уродливого и страшного, и вынес ее на руках из железной темницы, где сидят по углам ночные глазастые птицы-филины, и посадил ее на крылатого коня впереди себя. А там — ветер, свистящий в ушах, и леса внизу под ногами, и синие блюдечки озер — все несется в стремительном вихре, все исчезает позади, и только сказочный конь, вскормленный на отборной пшенице и вспоенный родниковой чистой водой, прядет ушами и звонко ржет, проносясь в вышине над землею.

И Кате было страшно и сладко, и отец поглаживал ее по голове и все раскачивал на колене.

Не догнать тебе, противный злой чародей, легкокрылую птицу — коня, и доверчиво в страхе закрывает она глаза, прижимаясь к плечу богатыря...

Ах, как рано кончаются сказки!

Когда на следующее утро уже протрезвевший надзиратель открывает скрипучую дверь, Катя все так же стоит, прислонясь к стене, и ее сухие глаза кажутся воспаленными и жаркими.

Надзиратель искоса глядит на нее и покачивает головой.

— Ну, выходи, что ли, — угрюмо говорит он.

Девушка молча переступает порог и вдруг падает на холодный цементный пол коридора.

Чем ближе подходила эскадра к району боевых действий, — а расстояние до него, несмотря на все бесчисленные задержки кораблей в пути, сокращалось с каждым днем, — тем ощутимее становилась скрытая тревога и напряженность, овладевавшие людьми. Нет, это не было страхом, и в то же время каждого, кто задумывался о предстоящем бое, не могла не пугать совершенно очевидная неподготовленность эскадры к тем серьезным боевым испытаниям, которые ожидали ее впереди.

О предстоящем старались не говорить вслух, эту тему тщательно обходили в письмах к родным, в Россию, и все-таки думали все — и офицеры и матросы — только об этом.

Невероятно растянувшаяся и потому почти лишенная оперативной маневренности, перегруженная запасами топлива, истрепанная переходом уже более чем в пятнадцать тысяч миль, а в последнее время даже изгоняемая со своих кратковременных и так необходимых ей якорных стоянок, эскадра менее всего была бы готова сейчас встретить неприятеля.

Особенно возмутил всех последний случай.

Девятого апреля французские власти приказали русским кораблям немедленно покинуть бухту Камранг, где согласно планам Рождественского эскадра собиралась мирно простоять некоторое время в ожидании так до сих пор и не пришедшего небогатовского отряда.

Французский консул, имевший днем встречу с адмиралом, изъяснялся недвумысленно: русские корабли могут вот-вот столкнуться с японским флотом, и было бы крайне нежелательно, чтобы произошло это именно здесь.

Лишь после долгих и оскорбительных для русских моряков переговоров удалось выговорить право на то, чтобы оставить в гавани «Алмаз», «Иртыш», «Анадырь» и госпитальные суда, нуждавшиеся в совершенно неотложном ремонте.

Остальным кораблям эскадры пришлось в ночь на десятое апреля поспешно сниматься с якорей. Произошло это действительно слишком поспешно: настолько, что на одном из броненосцев вынуждены были второпях расклепывать звенья якорной цепи.

Все это, конечно, произвело на моряков удручающее впечатление; матросы почти в полный голос переговаривались о том, что только разбойников да пиратов так изгоняют с якорных мест.

Тревога увеличивалась еще и оттого, что силы эскадры продолжали оставаться разрозненными.

— Это что ж получается? — возмущался мичман Терентин. — Так нас, порознь, японцы перещелкают. И куда только глядел этот Небогатов?

— А Небогатов-то при чем? — возражал Дорош. — В Индийском океане его отряду ничуть не легче, чем нам — на подступах к Тихому. Не адмиралу Небогатову, а другим надо было думать, когда посылали нас сюда порознь...

На эскадре утверждалось предположение, что корабли не станут ожидать отряда Небогатова и пойдут напрямик во Владивосток.

Среди матросов все чаще завязывались теперь оживленные разговоры о тех местах, к которым лежал путь эскадры.

— Какой он, Владивосток? — любопытствовал Аким Кривоносов, когда закончились обычные утренние тренировки у орудий и утомленным матросам было разрешено перекурить. — Вот говорят: Владивосток, Владивосток... А я о нем и понятия не имею.

Он подсел к Копотею, ловко скрутил сигарку, прикурил от «фитиля».

— Слышь, Евдоким, ты, часом, не бывал там — в этом Владивостоке?

И Аким выпустил замысловатые колечки дыма, не таявшие в тихом, безветренном воздухе.

— Бывать не бывал, далековато, — сознался Копотей. — А читать кое-что приходилось. Ну так что же тебе рассказать о нем?

Заинтересованные матросы обступили Кривоносова и Копотея.

— Основан он лет примерно сорок назад, — продолжал Копотей. — Сначала был военный пост, потом вырос город. Рассказывают, что, когда прапорщик Комаров высадился с транспорта «Маньчжур» вместе с нижними чинами и разбил палатки на берегу, тигры по ночам около тех палаток бродили. Известное дело: непуганое зверье, веками его никто не тревожил.

— Ти-игры? — сделав огромные глаза, полушепотом повторил Степа Голубь. — В жизни ни одной тигры не видел! Страшилища поди?

— А они там и по сей день бродят, — усмехнулся Копотей. — Только в другом обличье: в голубых мундирах. И кокарда на фуражке.

— Это как? — не понял Голубь.

— А так. Где есть наш брат-матрос, там без «тигров» уж не обойтись, верное дело. Того и гляди — нороят сцапать. А когти у них, Степушка, пострашней настоящих тигриных будут. Попадешь в эти коготки — все, считай крышка.

Кривоносов, всегда опасавшийся за своего друга, когда тот начинал вот такие, уж очень откровенные разговоры, поспешил перебить Копотея вопросом:

— Ну, а хлеб-то в тех местах родится? Или, может, пúстынь горемычная, такая же, как на том острове, где мы, помнишь, были?

— Родиться там может все; земля благодатная, — пояснил Копотей. — Да выращивать некому. Долины лежат необозримые, нетронутые, а людей — полтора человека. Все привозное. Вот и везут ржицу да пшеницу из-под твоей, Аким, Черниговщины или из Ефимовой Полтавщины. Десять или сколько там тысяч верст везут, через всю Россию-матушку.

— Ну, уж это ты... — недоверчиво качнул головой Степа Голубь. — Присочинил поди.

— Нет, честное слово...

— Да слыханное ли это дело? Скрозь всю Россию...

— И не только хлеб. Кругом — леса, а спички — аж из Швеции. Под землей угля нетронутые пласты, а уголек на корабли доставляют главным образом из Японии. Пряники — и те из Тулы или Вязьмы.

— Чудно́ что-то, — с сомнением произнес Голубь. — А земля, говоришь, богатая?

— Сказочно! — вновь подтвердил Копотей. — А ты что удивляешься, мил человек? Ничего чудно́го.

Он понизил голос:

— Слышал поди такую поговорку: «Без хозяина — дом сирота». Вот и весь секрет тут.

До Степы Голубя, как всегда, не сразу дошло: о каком хозяине говорит Копотей. Он поглядел на комендора, поморгал и переспросил:

— Как? Как ты сказал: без хозяина — сирота? По-ди ж ты: а ведь и верно!

И восторженно всплеснул руками, обрадовавшись точному определению:

— И как это у тебя, Евдоким, все ладно, слово к слову подходит!.. Огромнейшего ты ума человек...

— Давай, давай, нахваливай, — рассмеялся Копотей. — Только гляди, чтобы я не зазнался. А то как в той песне получится: «И с той поры на сирых братьев он даже бровью не ведет...»

Он спросил вдруг:

— Нынче у нас какое, однако, число? Не помните, братцы?

— Двадцать четвертое апреля, — напомнил Нетес.

— Вот, стало быть, недельки через две-три вы и сами сможете проверить, правду я говорил или нет, — заключил Копотей. — А сейчас давайте-ка заканчивать дело, а то, чего доброго, наскочит боцман — не сдобровать тогда.

И он — для всех неожиданно — негромким, мягким баритоном затянул песню:

Ой, хмелю, мій хмелю...

Аким Кривоносов подхватил густым, рокочущим на перекатах басом:

Хмелю зелененький...

Отец Филарет, появившийся, как обычно, незаметно, откуда-то сбоку, неодобрительно качнул рыжей бородавкой: субботний день, все помыслы ко господу богу вознесены должны быть, а они с самого утра этакую пакость горланят.

Копотей неожиданно обернулся к нему и добродушно-плутовато подмигнул:

Где ж ты, хмелю, зиму зимував?..

Отец Филарет с остервенением плюнул и заторопился от орудия. Матросы переглядывались, улыбаясь.

— Знаешь, Евдоким, — все ж таки не дразни ты его, — посоветовал Степа Голубь. — Как-никак: ба-тюшка.

— А, пускай, — усмехнулся Копотей. — Зато он теперь нескоро явится сюда.

— Вот-вот, — поддержал Копотея Листовский. —

А то батюшка-то он-батюшка, а нос все больше по ветру держит...

А отец Филарет в это время сидел в каюте старшего офицера и обиженно бубнил:

— Нет, вы только подумайте, Аркадий Константинович: я подхожу к ним, слово ласковое хочу сказать. А ко мне поворачивается этакая рябая цыганская морда и подмаргивает, как, извините за выражение, уличной девке какой-нибудь. И кому: мне, пастырю! Это же чистой воды крамольник, со-ци-алист!..

Небольсин сдержал невольную улыбку: уж очень обиженным тоном изъясняется батюшка, видать, задело за живое.

— То есть, простите, как это — подмаргивает? Каким образом?

— А вот таким, — и отец Филарет похоже скопировал, как это получилось у Копотея. — Говорю ж вам: ну словно девке с панели...

— И что же? — с интересом спросил Небольсин. — Что вы после этого сделали?

Отец Филарет на мгновение задохнулся от обиды.

— А как вы думаете, что мне оставалось делать? — возмущенно пожал он плечами. — Ничего, конечно. Повернулся, да и пошел восвояси... Нет, как вам угодно, Аркадий Константинович, а я требую, настаиваю, чтобы этот арестант, штрафованный матрос, был отменно наказан. В следующий раз ему неповадно будет.

— Но согласитесь, батюшка, — дипломатично возразил Небольсин, усилием воли погашая улыбку, все время просившуюся наружу. — Я, конечно, понимаю вашу обиду. На вашем месте и я был бы оскорблен... Но, с другой стороны, достаточно ли умно наказывать за подобное? Вы же сами после этого... в неловкое положение попадете. В секрете всего этого не удержишь, а господа офицеры, да и нижние чины тоже будут... Одним словом...

Он не договорил: дескать, сам пойми, не дело предлагаешь. Себе же хуже.

Отец Филарет двумя согнутыми пальцами растерянно почесал в бороде.

— Оно, конечно, так, — неохотно согласился он. — Однако, ничего. Я ему, бог даст, еще припомню это. Он у меня поплачет, поверьте слову!

И батюшка даже крикнул, предвкушая расплату.

— А вот уж этого — не рекомендую, — сухо возразил Небольсин. — Мое отношение к матросам вы знаете. Я, как вам известно, не из числа тех, кто заигрывает с нижними чинами...

Он сказал это так, что отец Филарет сразу понял, в чей огород бросает камешки старший офицер, и хитренько улыбнулся.

— Однако я просто учитываю, — продолжал Небольсин, — что мы уже фактически находимся в зоне военных действий. И я не советовал бы особенно злить матросов. Вы знаете, какой ценой нам удалось скрыть от них эти ужасные известия о Порт-Артуре, о петербургских событиях. Да и то ведь еще как сказать: удалось ли? Вон какие суды-пересуды были на корабле. А чем дальше, тем правду скрывать труднее... Надо быть слепцом, чтобы не видеть, что в России идет самая настоящая революция!

— Господь с вами! — побледнел отец Филарет. — Скажете тоже!

— Да-с, именно: ре-во-лю-ция, — жестко отчеканил Небольсин. — Матросская масса сейчас — порох. Одной мимолетной искорки достаточно, чтобы все взлетело на воздух! Мы еще радоваться должны, что в общем-то нас пока бог милует...

Небольсин сделал паузу, и отец Филарет невольно поежился: то, что говорил старший офицер, было ужасно, но, кажется, это была правда.

— И в этой обстановке раздражать матросов — рискованно. В равной мере, как и вести с ними либеральную игру, — закончил Небольсин и как-то искоса, будто испытывая его, поглядел на священника.

И снова отец Филарет понял, на что намекает старший офицер. «Э, да ты — политик дальнего прицела, — подумал он. — Дай тебе возможность — ты и сейчас бы Егорьева без соли, живьем съел...»

Небольсин заверил отца Филарета, что он подумает над тем, каким способом поумнее наказать богохульника матроса Копотея.

— Вот-вот, — уже куда менее воинственно согласился батюшка. — Подумайте.

Когда отец Филарет, все еще крестясь на ходу, бочком вышел из каюты, Небольсин облегченно вздохнул.

Ну, кажется, они поняли друг друга: теперь можно не сомневаться, что отец Филарет при нужде подтвердит, правильной ли методой пользовался командир крейсера по отношению к нижним чинам...

А вообще-то об этом штрафованном комендоре действительно надо бы порасспросить. Насчет того, что Копотей социал-демократ, отец Филарет, конечно, ошибается: просто со страху померещилось. Он, Небольсин, убежден, что никакой социал-демократической организации на «Авроре» нет и быть не может; кто-кто, а уж он об этом денно и нощно заботится! А с другой стороны, как говорится, чужая душа — темный лес...

И Аркадию Константиновичу вдруг снова с отчетливостью припомнилось то, о чем он как-то инстинктивно старался все эти дни не думать.

Некоторое время назад отец Филарет предупредил его, что матросы о чем-то сговариваются. Поначалу он даже втайне обрадовался: вот, кажется, случай, когда у Егорьева теперь уж вряд ли уцелеет голова на плечах. Однако тут же возникло щемящее, противное чувство тревоги: чем черт не шутит! — могут все это и против него обернуть. Скажут: а ты куда смотрел, держи ответ наравне с Егорьевым. Случись такое — прощайте тогда все радужные надежды! И уж, конечно, будет немедленно забыто обещание дать ему по окончании похода корабль в самостоятельное командование.

Тут было над чем призадуматься.

И он решил, не откладывая дела в долгий ящик, заняться этим Копотеем немедленно.

Небольсин вызвал к себе лейтенанта Дороша.

— Присаживайтесь, Алексей Владимирович, — любезно предложил он, закуривая. — Ну как, скучаете небось по Петербургу? Я, знаете ли, тоже днем и ночью о нем думаю. Как не думать, если у меня там жена, дочка на выданье...

Такая разговорчивость Небольсина была что-то уж очень неожиданна. Обычно старший офицер ограничивался кругом чисто служебных вопросов, был с офицерами крайне вежлив, но холоден и сух.

Дорош невольно насторожился: что бы все это значило? Аркадий Константинович — хитрая лиса, даром ничего не станет делать.

Он не ошибся: Небольсин, глядя на огонек папиросы, сказал вдруг:

— Я вот о чем хотел у вас спросить: какого мнения вы о новом матросе Евдокиме Копотее?

Ах, вот оно что! Дорош на мгновение заколебался: неужели Небольсину стало известно о разговоре, случайно услышанном тогда Терентиным?

— Как вам сказать, — неопределенно пожал он плечами. — Причина, по которой он переведен на наш крейсер, вам известна так же, как и мне...

Небольсин кивнул: конечно, известна.

— В остальном же я к нему претензий не имею: исправный, старательный, добросовестный матрос. Дело свое знает и относится к нему... с достаточным рвением.

Он нарочито подбирал эти официально-отчетливые, бесстрастные слова, стараясь выиграть время для того, чтобы понять: почему это вдруг старший офицер так заинтересовался Копотеем?

— И это все? — Небольсин, подавшись вперед, глядел на лейтенанта.

— Все. А что вы еще имеете в виду?

— Ну, а... лишних разговоров он среди нижних чинов не ведет? Не замечали? Что-нибудь этакое... будоражащее?

Дорош вспыхнул:

— Простите, Аркадий Константинович, но мне кажется, вы... несколько переоцениваете мою роль на крейсере... Я офицер, моряк, а не...

— Вот вы уж и обиделись! — Небольсин говорил отечески мягко, но с каждой фразой в его голосе все отчетливее звучала настойчивость.

— Экая, право, молодежь — слова ей не скажи... Я понимаю, конечно, что этим вы не интересуетесь. Точнее: не хотите. Щепетильность и все прочее. А должны интересоваться! Должны, — с нажимом повторил Небольсин.

— Меня прошу от этого уволить, — упрямо сказал Дорош. — Для занятий такого рода я просто не гожусь.

И он встал.

Забывая о том, что по уставу не полагается просить у старшего разрешение на уход до тех пор, пока тот сам не сочтет нужным отпустить, Дорош глухо произнес, глядя себе под ноги:

— Прошу прощения, Аркадий Константинович... Неотложные дела в роте. Могу ли быть свободен?

Он говорил сквозь стиснутые зубы, отчеканивая каждое слово, нисколько не заботясь о том, что старший офицер заметит это.

Небольсин молча, холодным кивком отпустил его: что ж, идите! Дорош едва сдержал себя, чтобы не хлопнуть дверью.

— Вот по-одлец! — выдохнул он, врываясь в свою каюту.

— Кого это ты, Алеша... такими словесами? — удивился Терентин, ожидавший его. Дорош хотел было рассказать мичману о своем разговоре со старшим офицером, но отчего-то вдруг передумал.

— Так... сорвалось, — неохотно произнес он. — Не обращай внимания.

Терентин недоверчиво покачал головой.

Наконец-то, двадцать шестого апреля долгожданный отряд Небогатова соединился с основными силами эскадры.

В десятом часу утра взволнованный вахтенный офицер доложил Егорьеву: по беспроволочному телеграфу только что принята первая депеша с крейсера «Владимир Мономах»; значит, отряд уж где-то совсем невдалеке.

Теперь уж с палуб по правому борту никого невозможно было прогнать: люди молча, с сосредоточенными замкнутыми лицами всматривались в горизонт. Нехотя разошлись на обед, но после него сразу же вернулись на палубы. Непривычная, какая-то гнетущая тишина стояла на крейсере.

Время шло, а корабли все не показывались.

Только в третьем часу дня, когда, как это обычно бывает при ожидании, кто-то из офицеров безнадежно произнес: — «Ну, кажется, нынче мы их не дождемся», и все уже готовы были разойтись по своим местам, сигнальщики заметили первые дымки на горизонте, а вскоре начали вырисовываться пока еще нечеткие силуэты военных кораблей.

Это было похоже на памятную с детства картинку из учебника географии: в доказательство тому, что земля действительно шар, рисовалось несколько кораблей-

ков, поднимающихся из-за линии, обозначающей горизонт: сначала видна только верхушка мачты, потом — трубы и палубные надстройки, а уж затем можно разглядеть и весь корабль.

Так было и сейчас, но только с той разницей, что шарообразность земли доказывалась не условным изображением на картинках, а подлинным — большим, многодневным и трудным плаванием отряда.

Отряд Небогатова шел в строю кильватерной колонны, замыкали которую медлительные, неуклюжие транспорты; так — кильватерной колонной — он и подошел к бухте Ван-Фонг, и флагманский броненосец «Император Николай I» встал первым на якоря.

За ним, левее, погромыхивая якорными цепями, становились броненосцы «Адмирал Апраксин», «Адмирал Сенявин», «Адмирал Ушаков». Крейсер «Владимир Мономах» занял место поближе к транспортам.

Окруженная высоким горным кряжем просторная бухта Ван-Фонг, где произошло это соединение, долго еще возвращала к кораблям эхо орудийных салютов, устроенных по такому случаю. Гремела музыка, выстроившиеся на палубах матросы кричали «ура», впрочем, без особого воодушевления: вид потрепанных штормами кораблей, унылые, изможденные многодневной тропической жарой лица прибывших моряков не располагали к ликованию.

— Эко ж их измотало! — сочувственно сказал Копотей. — Видать, хлебнули горюшка!

— Измотает поди, — согласился Степа Голубь. — Эх, жизнь ты наша матросская!..

И он сокрушенно скребнул стриженный затылок.

На кораблях эскадры прихода небогатовского отряда ожидали с особым нетерпением еще и потому, что рассчитывали узнать какие-нибудь новости из России.

Однако уже через несколько часов выяснилось, что о делах на далекой родине прибывшим известно еще меньше, чем встречавшим их морякам.

...В тот же день адмирал Рожеественский разослал по кораблям заранее заготовленный приказ. Егорьев, получив его, подивился адмиральской расторопности, а когда распечатал пакет, помрачнел: что это, неужто адмирал специально для того чтобы понизить боевой дух моряков, сочинил сей пессимистический опус?

Воздав должное стойкости и выносливости отряда Небогатова, Рождественский продолжал:

«У японцев больше быстроходных судов, чем у нас...»

«У японцев гораздо больше миноносцев; есть подводные лодки, есть запасы плавучих мин, которые они навыкли разбрасывать...»

«У японцев есть важное преимущество — продолжительный боевой опыт и большая практика стрельбы в боевых условиях...»

Строки, выражавшие уверенность адмирала в победе, звучали после всего этого перечисления не слишком убедительно.

«Приказец-то не для внутреннего потребления, — невольно усмехнулся Егорьев. — Адмирал заранее хочет оправдать себя перед потомками...»

И уже без интереса Егорьев пробежал глазами заключительную часть приказа: «Господь укрепил дух наш, господь укрепит и десницу нашу...»

Офицеры «Авроры» выслушали приказ с безразличными лицами, — как и предполагал Егорьев, особого воодушевления приказ этот не вызвал.

...Вечером контр-адмирал Небогатов был приглашен к Рождественскому для беседы, как предупредил флаг-офицер, tête-à-tête *. В каюте у командующего эскадрой поблескивало на столе серебро дорогого сервиза, разноцветные огоньки вспыхивали в гранях шлифованного хрусталя бокалов.

— Ну-с, Николай Иванович, — Рождественский сам налил вино в бокалы. — За встречу!

Крупный, высокого роста и поэтому немного сутулящийся, с седым сжигом коротко стриженных волос, в мундире без орденов и регалий Небогатов выглядел совсем «штатским» рядом с эффектным, сияющим Рождественским. Лицо Небогатова, тронутое пятнами старей, незаживающей экземы, утомленное, с глубокими морщинами возле рта, стало сосредоточенным и торжественно суровым.

— Я, Зиновий Петрович, мечтал об этой минуте, — глуховато сказал он. — Мечтал, когда нас швыряло ураганами в Индийском океане. Мечтал, когда мне докла-

* С глазу на глаз. (франц.).

дывали о том, что в отряде почти половина матросов поражена болезнями и небоеспособна. Мечтал, когда мы голодали, деля последние крохи пищи... Я знал одно: надо соединиться с вами, и тогда мы станем вдвое сильнее!

Он высоко поднял бокал:

— За нашу совместную победу!

— Дай-то бог, дай-то бог, — торопливо согласился Рождественский. И, понизив голос до шепота, вдруг признался: — Я так изуверился в ней!..

На следующее утро пополнившаяся эскадра разделилась: транспорты, крейсера и весь целиком отряд Небогатова были посланы в пролив, на восточную сторону острова Куа, броненосцы остались в открытом море.

Началась новая погрузка угля, хотя ранее заготовленные запасы его не были израсходованы даже на треть. Снова скрипели лебедки, грохотали на рельсах нагруженные мешками артиллерийские тележки, снова матросы бегали взад и вперед, перетаскивая корзины, полные угля; снова черное облако висело над кораблями, и невозможно было понять: что сейчас — утро, день или вечер?..

Погрузка закончилась лишь в канун первомайского воскресенья, и на рассвете следующего дня эскадра начала сниматься с якорей и выходить в море. К девяти часам все корабли уже были в походном строю,

Впереди ожидал Тихий океан...

Г Л А В А 13

1.

Отец велел Элен готовиться к свадьбе. Напрасно пыталась она уговорить его повременить хотя бы еще полгода: он и слушать не захотел. Ну ладно, не полгода — месяца три-четыре, не больше, — настанвала она.

— Причуды, Елена, все причуды, — резко оборвал он ее. — В конце концов, сама сообрази: что может измениться за эти полгода? Ничего! Или ты все еще ждешь, не вернется ли твой морской королевич? Так не вернется! На вот, читай!..

И он швырнул на стол пачку свежих газет, где на

первых страницах крупным шрифтом было напечатано сообщение о том, что русские боевые корабли уже где-то у берегов Китая. Где это — Элен не могла представить себе даже приблизительно.

— И что ж из этого? — недоуменно пожала она плечами.

— Милая моя, не будь такой наивной! Что из этого? А только то, что теперь-то уж наверняка два флота вот-вот сшибутся... Как ты не поймешь, что у этого Рождественского очень маленький шанс на победу, это ведь всем ясно, даже самому адмиралу. А у тебя, значит, такой же маленький шанс... на встречу с твоим лейтенантом!

Элен почувствовала, как ей вдруг становится не по себе: нет-нет, отец мог бы найти хоть какие-нибудь другие, не такие беспощадные слова. Не нужно обо всем этом... так откровенно! Она все равно будет верить, что Алексей вернется, непременно вернется!..

Но снова и снова, в который уж раз, ей вспоминалась рука отца — короткопалая, с чуть припухшими синеватыми венами: вот она вращает, вращает, вращает глобус и затем — р-раз! — одним толчком останавливает его...

Газеты трубили о том, что окончательная победа теперь уже недалека, но все это было в каком-то непонятнейшем противоречии с фактами — этаким почти маниакальный оптимизм! Старый купец твердо знал одно: когда начинаются вот такие — вопреки фактам — крики о близкой победе, значит, дело совсем плохо. И он торопился, пока не закончилась война, объединить свой капитал с теушевским.

Все чаще теперь он мысленно возвращался к тем далеким временам, когда начинал свои дела неприметным прасолом в заштатном уездном городишке и когда купцы покрупнее не упускали возможности поглумиться над ним: копеечник, на пятак продает, на гривенник убытка терпит! — а он все отмалчивался, все переносил, стиснув зубы и веря: придет и его час!

Двадцать пять лет назад он простить не мог жене, что родила она ему дочку, а не сына, и хотя за все время даже пальцем не тронул жену, она до самой своей смерти чувствовала эту мужнюю неприязнь и виновато прятала глаза. А вот теперь он радовался, что получилось

все именно так: она, дочь Елена, проложит ему дорогу к самому заветному.

Старик Теушев, конечно, бестия, — он свой интерес блюдет так, что его не обхитришь, ну да ведь не убыточное же что-нибудь предлагают ему.

Анатолий оказался значительно менее практичным, чем его папаша, он до сих пор даже не поинтересовался, какое приданое будет за Элен, и почти всегда морщился, когда об этом заходила речь: денег, слава богу, у него и своих достаточно. Зато все вечера напролет проводил он в обществе невесты, рассыпался в любезностях, острил и каламбурил направо и налево.

Чуждый всего, что хоть мало-мальски касалось политической жизни и войны, он тем не менее считал обязанностью блеснуть своими связями с какими-то совершенно привилегированными штабными офицерами и своей осведомленностью в военных делах.

— О, ма шег, — возбужденно говорил он, заметно картавя. — Я вам гасскажу пгепикантнейшие подгобности последних сводок с Тихого океана... Адмигал Гожественский испгашивал монагшего благословения этим стагым когытам, символизигующим собой гусский флот! Каково, а?.. Нет уж, этим... самотопам даже благословение самого господа бога вгяд ли поможет!..

И, довольный, хохотал, не замечая, как бледнеет при этом Элен.

«Пустомеля!» — неприязненно думал о нем отец Элен, однако делал вид, что слушает молодого Теушева с огромным интересом.

Петербург, как всегда, хорошел по весне.

Распускали свои клейкие, густо-зеленые почки молодые деревца на Марсовом поле; Нева, освободившись ото льда, гулко и раскованно рокотала под мостами; тонконогие, в белых передничках барышни-гимназистки попарно расхаживали по Невскому с железными кружками на ленте через плечо, собирая подаяния в пользу «героев войны» и даря в ответ кокетливые улыбки заодно с букетиками ранних фиалок.

Гимназистки шли мимо булочных и церквей, где с утра дотемна стояли молчаливые шеренги нищих, мимо Гостиного двора, возле которого штабные писаря с на-

фабрешными искусственно черными усами подкарауливали смазливых горничных и кухарок, — Петербург оставался верен себе, шумный, многоголосый, суетной и пестрый. Покрикивали с высоты козел широкоплечие, в цветных кушаках, осанистые лихачи, изваяниями высились на перекрестках городовые, у театральных подъездов толпились курсиетки-«бестужевки».

От рассветной зари до поздних теперь вечерних сумерек проспекты были наполнены весенним неумолчным шумом, гомоном, смехом. Выкрикивали что-то бойкие мальчишки-газетчики, тоненьким тренькающим звончком позвякивала на ходу перегруженная «конка», прохожие громко и возбужденно переговаривались, обменивались приветствиями.

И только рабочие окраины города были непривычно глухи, пустынно и насторожены. Напрасно хриплые гудки надрывались здесь в обычный рассветный час, когда город еще погружен в утреннюю дрему: никто не спешил к заводским воротам, никто не включал рубильников в опустевших и, должно быть, потому особенно мрачных цехах; черными змеями свисали над станками неподвижные ремни трансмиссий...

Рабочий Питер бастовал.

...Не знала, не видела, не замечала всего этого Элен. В городе, где она родилась и выросла, где прошли ее гимназические годы, — она была словно чужим, посторонним человеком.

Ни до веселой сутолоки проспектов, ни до суровой настороженности молчаливых окраин, ни до всего вообще на свете ей не было ровно никакого дела: она готовилась к свадьбе.

2.

Листовка была обнаружена на крейсере все тем же вездесущим отцом Филаретом.

— Вот. Извольте убедиться! — он воинственно размахивал перед лицом Небольсина измятым листком. — Я же предупреждал вас, Аркадий Константинович? Ну вспомните: предупреждал или нет?

Вид у батюшки был настолько торжествующий, рыжая борода его поднялась кверху так задорно и воинственно, что глянуть на отца Филарета — он вроде был даже и обрадован своей находкой. Маленькие, под-



пухшие глазки, обычно бесцветные и невыразительные, на этот раз, казалось, так и полыхали торжествующим ликованием.

— Ну-с, что же вы мне теперь скажете, милейший Аркадий Константинович? Дурень-поп, он, конечно, ничего не понимает в политике. Так, да? Молчите?..

Старший офицер побледнел, закусил губу: сбывалось то, чего он больше всего боялся — крамола на крейсере обнаружилась, и ответственность за нее могла лечь на него.

— Да что вы раскричались-то? — грубо оборвал он отца Филарета. — Обрадовались находке, впляс пустить-

ся готовы... Ну-ка, разрешите взглянуть: может, еще и ничего серьезного...

Он старался не показать своей встревоженности.

— Взгляните, взгляните, — охотно согласился отец Филарет. — Вот они, плоды преступного попустительства!..

И протянул листовку Небольсину.

Листовка была написана чернильным карандашом, крупными и четкими печатными буквами — очевидно, в расчете на то, что не все матросы достаточно грамотны.

— «Братья-матросы»... — вполголоса прочел Небольсин и пожевал губами. Дальше он читал про себя, и с каждой строчкой все явственнее ощущал, как сковывающий противный холодок ползет у него по спине. «Братья-матросы, вы должны знать... всю правду, которую от нас... пытаются скрыть...» Да, кажется, у отца Филарета действительно есть все основания так ликовать: находка нешуточная!

Говорилось в листовке о том, что матросы должны помнить: их главная сила — в единении; говорилось в ней и о том, что русские люди, все, в ком бьется честное сердце, никогда не забудут безымянных героев, павших у стен Порт-Артура и Мукдена: кровь погибших — на руках тех, кто развязал эту преступную войну...

— Л-любопытно, — уже куда менее уверенно пробормотал Небольсин. — Весьма любопытно!

— «Люди труда хотят одного: мира!» — вполголоса прочитал он и попытался насмешливо улыбнуться:

— И писать-то грамотно не научились, а туда же! «Хочут»!..

Но улыбки не получилось. Небольсин машинально полез в карман за платком, вытер лоб, покрывшийся холодной испариной. Да, это было как раз то ужасное, неотвратимое, что призраком давно уже пугало его. И, главное, никто не может сказать с уверенностью: много ли таких листовок на крейсере, успели ли они дойти до матросов?

— Убедились? — ликующе спросил отец Филарет. — У нас, можно сказать, под самым носом... этакое, а мы, извольте заметить, проглядели, да-с, именно: проглядели! Каково, а?

Небольсин лихорадочно соображал, что же ему пред-

принять. Сделать ход конем и сообщить обо всем флагману (уж если сообщать, то, конечно, флагману, а не Егорьеву)? Но это значит — почти наверняка подставить себя под удар. Уж себя-то в первую очередь!.. Не сообщать? Сделать вид, что ничего не случилось? А где ручательство, что этого не сделает отец Филарет? Батюшка, похоже, рад выслужиться и уж такого редкостно удачного случая ни за что не упустит.

Небольсин решил положиться на свою изворотливость: батюшка лукав, но и он не из простаков.

— Н-да, — сдержанно сказал он. — История действительно несколько... неприятная. И знаете, о чем я думаю: неприятна она прежде всего для вас, батюшка.

Он на минуту умолк, сбоку поглядывая на отца Филарета.

— Как это — для меня? — не понял тот и испуганно отпрянул. — Бросьте шутить! Я первым нашел на корабле эту... отраву. И для меня же...

— Именно, — подтвердил Небольсин. — Как же вы не поймете, все это очень просто. Вы сами посудите...

Он холодно дернул плечами:

— Насколько я понимаю, вы для того на крейсер и посланы, чтобы неустанно следить за душами вашей паствы. Молитвой, словом божьим, зоркостью своей оберегать эти души от пагубного влияния... Так я говорю или не так?

— Ну, так, — неохотно подтвердил отец Филарет.

— А что получилось? Души-то — они, оказывается, уже давно не под вашим контролем! Благодетелю это едва ли понравится. Да и не только ему, а и кое-кому повыше. Слыхали, чем для отца Назария кончился бунт на «Роланде»? * Такие неприятности, что он и до сих пор прийти в себя не может!..

— Вот и у нас то же может случиться, — беспощадно продолжал Небольсин, с любопытством наблюдая, как бледнеет отец Филарет. — Спрос — допрос, то да се, да как вы слово божие в народ несете, — а вы, ко-

* 27 декабря 1904 года на корабле особого назначения «Роланд» матросы единодушно отказались грузить уголь, объясняя это тем, что им не в чем работать. Для усмирения волнения был послан миноносец «Бедовый». Только под угрозой наведенных на «Роланд» орудий, команда подчинилась приказу. Многие матросы были после этого арестованы и преданы суду.

нечно, помните эту пренеприятную историю с библейскими матросами... Да поинтересуются, куда вино, отпущенное для святого причастия, девается, да еще, чего доброго, узнают, что вы и на молитву под хмельком выходите... Люди-то, знаете, все грешные, хлебом их не корми — дай покопаться в чужих делах. Верно?

Он сочувственно вздохнул:

— Тут уж возвращения в монастырь вам никак не избежать. Да еще, упаси бог, в Соловецкий... А там — холод, снега, морозы.

Для убедительности Небольсин зябко повел плечами, будто его самого уже пробирал этот мороз. Потом, помолчав, небрежно добавил:

— Ну и нам, всем остальным, разумеется, будет сделано соответствующее внушение: куда, дескать, смотрели. Рождественский еще, чего доброго, приказом по эскадре выговор объявит Евгению Романовичу и мне... Неприятность, что и говорить.

— Соловецкий, думаете? — упавшим голосом переспросил отец Филарет. При всей своей задиристости он пуще огня боялся гнева духовных властей, и перспектива попасть в монастырь после привольного корабельного житья мало прельщала его. О том, что угроза Небольсина едва ли осуществима в условиях боевого похода, отец Филарет просто не сообразил.

— Думаю, что да, — повторил Небольсин. Он уже торжествовал: попался батюшка, теперь только бы не испортить дело каким-нибудь отпугивающим, необдуманным словом.

— Вообще-то поступайте, как вам совесть подсказывает, — небрежно произнес он. — Я — человек мирской, плохой советчик духовному пастырю, так что уж вы не обессудьте. Но на вашем месте я бы...

И он замолчал, всем своим видом показывая, что — честное слово! — готов дать самый бескорыстный совет, но из почтения к сану отца Филарета не дерзнет этого сделать. Нет-нет, ни за что!..

— Что, что на моем месте вы бы сделали? — отец Филарет, еще минуту назад торжествовавший победу, сдался. Он как-то разом весь обмяк, говорил неуверенно, голос его дрожал. — Аркадий Константинович, голубчик вы мой, не мучайте, договаривайте!

И такая мольба была в его голосе, так умиленно гля-

дел он прямо в глаза старшему офицеру, что тут надо иметь самое черствое сердце, чтобы остаться безразличным и не помочь человеку.

— Что делать? — словно все еще колеблясь, переспросил Небольсин. — Только один уговор: я вам никакого совета не давал.

— Да-да, разумеется, — нетерпеливо подтвердил отец Филарет.

— Выход, мне кажется, один, — закончил Небольсин. — Уничтожить эту злополучную прокламацию. И считать, что ее в природе никогда не существовало.

— То есть как это — не существовало? — не сразу сообразил отец Филарет.

— А очень просто. И не делайте, пожалуйста, страшные глаза. Рассудите так: кто ее видел? У вас или у меня в руках — кто видел ее? Никто! А на мою скромность вы можете смело полагаться. Вас я не выдам.

На слове «вас» Небольсин сделал многозначительный нажим, и отец Филарет, еще не приняв никакого решения, уже приободрился: нет, какой же чудесный человек — этот Аркадий Константинович!

— Уничтожить... Вот так, — повторил Небольсин и, аккуратно сложив листок, изорвал его на мельчайшие клочки, затем высыпал их в пепельницу и поднес горящую спичку. Было сделано все это так неторопливо, спокойно и уверенно, что отец Филарет не успел что-нибудь возразить.

Маленький костерик в пепельнице поднял кверху язычок светло-желтого пламени, оно минуту-другую поколебалось, потом осело, и на дне осталась только горсточка пепла, еще живого, колеблющегося, но уже остывающего. Последние крохотные оранжевые точки пробежали по пеплу и тут же угасли.

— А я озабочусь, чтобы было проверено, не хранятся ли эти листовки еще у кого-нибудь на корабле. — Небольсин говорил так спокойно, будто ничего вообще не произошло. — Разумеется, проверить надобно осторожно, не привлекая ничьего внимания...

Он поднял взгляд:

— Решено?

Смутно, краешком ума отец Филарет догадывался, что тут что-то не то, что неспроста милейший Аркадий Константинович все это проделал. И все же он вздох-

нул облегченно, покосившись на грудку неподвижного пепла. Конечно, это — самый правильный выход из положения... Соловецкий монастырь... Бр-р-р!

— Вот и чудесно, — заключил старший офицер. — Вот и чудесно!

И даже ободряюще улыбнулся.

...А листовки тем временем гуляли по всему кораблю. Матросы находили их в карманах собственных бушлатов, в подвесных койках, когда разбирали их на ночь, находили возле боевых механизмов, даже в церковном отделении.

Листовки тотчас исчезали: их тщательно прятали от зоркого унтерского взгляда, от боцманского глаза, от наиболее ненадежных матросов. Прятали, чтобы потом, где-нибудь в укромном уголке, снова и снова вчитаться в непривычные, отчаянно смелые, но такие близкие сердцу слова.

По молчаливому согласию никто вслух не заговаривал об этих листовках, но Копотей и его друзья знали, что работа их оказалась не напрасной. Они чувствовали себя в эти дни победителями. Возбужденные, радостно взволнованные, словно ощутив в себе какую-то новую, неведомую прежде им самим силу, они время от времени молча перебрасывались удовлетворенными, сияющими взглядами.

Листовки ходили по крейсеру!..

Тем временем на эскадру надвигались такие события, которые заставили отца Филарета и старшего офицера забыть и об их собственных опасениях, и о листовках, и о многом другом.

Корабли вышли в свой последний длительный переход: моряки рассчитывали, что следующая стоянка будет теперь уже во Владивостоке.

Тихий океан, обычно в это время года здесь спокойный и ласковый, встретил эскадру неослабевающими ветрами, громоздящимися волнами, густыми туманами по ночам. Восьмого перед рассветом налетел от веста шквал с дождем, он раскачивал корабли, срывал брезентовые чехлы с орудийных стволов, швырял на палубы ноздреватую, грязную пену.

Утром девятого мая эскадра вошла в Восточно-Китайское море.

Митрофан Степанович жил теперь в полном одиночестве. Дни проходили за днями, а дочь из тюрьмы все не возвращалась. На следующее же утро после того, как была арестована Катя, Митрофан Степанович отправился в жандармское управление узнать о ней.

Но там с ним и разговаривать не стали:

— Иди, старик, иди. Слыхом не слыхивали мы о твоей дочке.

— Да как же так? — продолжал настаивать Митрофан Степанович. — Нынешней ночью ее увезли.

— Раз увезли, стало быть, так и надо.

Дежурный вахмистр осклабился:

— Что, недоглядел за доченькой-то?

И деловито пояснил:

— Уж там ее научат уму-разуму!.. Будет знать, с кем якшаться, чем заниматься.

Он округлил глаза:

— Тебе сказано — убирайся!

И Митрофан Степанович, пришибленный горем, как-то разом еще более постаревший, отправился домой. Долго, часа, должно быть, три, добирался он до своей глухой улочки на Васильевском острове. Город был залит добрым, весенним солнцем, ранние цветы на газонах источали нежный и как будто еще робкий аромат, недвижимое курчавое облачко висело над шпилем Петропавловской крепости, одно во всем огромном небе.

Митрофан Степанович глядел на все это невидящими глазами. Дома он бесцельно ходил из угла в угол, принялся было за уборку в комнате, но тут же махнул рукой: кому это нужно?.. Ничто не радовало здесь теперь, ничто не грело: не было дочери!

Он перебирал в памяти все прожитое, день за днем, вспоминал давно забытые мелочи и подробности, которые обрели теперь совершенно новый смысл, и все было связано с дочерью. Катя приходила с работы, пахнувшая морозом, веселая, покрасневшая, и еще с порога кричала звонко: «Проголодался, папа? А я нынче немного задержалась...» В дни полочки она обязательно приносила ему пачку табаку как раз того сорта, к которому он привык, а иногда и косушку, торжествующе ставила ее на стол и говорила, смеясь глазами:

— Побалуйся маленько!

— Да что ты, доченька, — притворно отнекивался Митрофан Степанович. — Знаешь же, что я не пью ее, окаянную...

— Ладно уж... непьющий, — все так же смеясь глазами, останавливала дочь. — Думаешь, я не знаю, как ты со своими дружками-стариками в рюмочку заглядываешь?

— Выдумаешь! — обижался Митрофан Степанович.

— Ну не сердись, не сердись, — снова смеялась Катя. — Подъезжай к столу. Да погоди, я тебе закусочку соберу. Мамки нет — кто ж тебя и побалует.

— Так ведь расход какой! — все еще для видимости упрямылся он.

Но Катя уже не слушала его, гремела тарелками, суежилась, мурлыча себе что-то под нос, на ходу делилась с отцом какими-нибудь пустячными новостями, и обоим им было спокойно, хорошо, хорошо...

Митрофан Степанович наливал себе чарочку, подносил ее к глазу, смотрел через стекло и неторопливо говорил:

— Ну, доченька, твое здоровье...

Вечерами, если дочь никуда не собиралась, он, бывало, схитрит, пожалуется, что вот глаза стали плохо видеть, экая досада, а он как раз газетку свежую припас, — и она садилась читать ему вслух...

Сколько их оказалось, этих воспоминаний! Вот ведь, жизнь проживешь, а до определенной поры не будешь знать, как дорога сердцу каждая мелочь, каждый пустячок, напоминающий о прошлом.

Через два дня Митрофан Степанович решил, что ему обязательно нужно увидеться с Ильей, непременно нужно, и под вечер поплелся к Обводному каналу, где, как он знал по рассказам дочери, жили девушки-работницы с табачной фабрики.

Дверь ему открыла Наташа — он ее сразу узнал, тоже по рассказам Кати. И она его узнала. Она радостно всплеснула руками, ахнула от удивления, потащила старика в комнату.

— Небогато живете, — зачем-то сказал он, когда вошел и огляделся.

— Девушки, это Катин отец, — объявила Наташа, и девушки тотчас обступили его, затормошили, засыпали

вопросами. Они заставили его снять пальтишко, одна из них сбегала куда-то с огромным потемневшим от времени медным чайником, и девушки почти насильно усадили Митрофана Степановича пить чай, и каждая пододвигала какое-нибудь свое нехитрое угощение: медовые пряники, баранки, разноцветный ландрин.

— Ах, сластены, сластены, — безобидно ворчал он. — На что деньги переводите!

— А мы не переводим. Это нам женихи приносят, — хохотали девушки. И все уговаривали Митрофана Степановича:

— Ешьте, не стесняйтесь, они еще прйнесут.

Долго не хотели отпускать его девушки — все спрашивали, слышно ли что-нибудь о Кате, вспоминали о ней. Но он взглянул на ходики: одиннадцатый час! — и встал:

— Спасибо. Отогрелся я у вас душой...

— А вы почаще к нам приходите, — приглашали девушки; одна завязывала ему шарф, другая совала в карман оставшиеся от чаепития пряники.

Наташа, поняв, что приходил Митрофан Степанович, должно быть, неспроста, вызвалась проводить его. И вот там-то, по пути домой, он и попросил ее: не передаст ли она Илье, что хочет он с ним увидеться.

— Трудно это, — подумав, сказала Наташа. А почему трудно — не объяснила. Старик вначале обиделся, потом сообразил, что если девушка что-то не договаривает, — значит так и нужно.

— А все-таки? — попросил он снова. — Может, попытаешься?

Так она ему ничего и не пообещала.

И все же Илья пришел.

Он пришел в конце недели, поздно вечером, и когда Митрофан Степанович откинул крючок на двери и увидел перед собой однорукого человека, он даже как-то растерялся.

Он так и стоял, молча глядя на Илью.

А Илья шагнул через порог и просто сказал:

— Ну, здравствуйте, Митрофан Степанович.

Старик засуетился, не зная, где усадить гостя, но Илья, добродушно усмехнувшись, остановил его:

— Не велика птица я, чтоб так меня встречать. Ну, рассказывайте, Митрофан Степанович. Как тут вам: очень трудно?

...Они просидели почти до рассвета, и о чем только не переговори́ли за эту ночь! Митрофан Степанович вспомнил свою молодость: как служил во флоте, как потом пошел работать, боролся с хозяевами за собственные права, как похоронил жену и остался один-одинешёне́к с девочкой-малолеткой на руках. Трудно было, а не сдавался, гнули его, а не согнулся! Илья слушал все время молча, лишь иногда вставляя вопросы.

— Вот и Катюша у меня такая же — неугомонная, — вздохнул старик, и непонятно было: осуждает он дочь или гордится ею?

— Хорошая она у вас. Очень хорошая, — только и сказал Илья, и глаза его, как показалось Митрофану Степановичу, повлажнели.

Когда Илья уже собрался прощаться, Митрофан Степанович решился спросить о главном:

— Как думаешь, Илюша: можно ей чем-нибудь помочь? Адвоката там или еще что-нибудь...

Илья долгим, внимательным взглядом посмотрел на Митрофана Степановича и отрицательно качнул головой:

— Скрывать не стану: вряд ли. Виновность ее с точки зрения закона очевидна. Нелегальный кружок, литература — этого достаточно, чтобы обвинить человека, как они пишут, «в заговоре, направленном на ниспровержение строя». А после зимних событий охранка особенно озлоблена, хотя правительство и играет в демократию...

Митрофан Степанович опустил голову.

Илья помедлил:

— Можно, конечно, попытаться организовать побег из тюрьмы. Но это рискованно для самой Кати. Побег с поселения, а ее, вероятно, пошлют на поселение, куда легче, проще и безопаснее.

Илья взял старика за руки:

— Поверьте, Митрофан Степанович, мне Катя тоже очень... дорога. Мне, может быть, все, что случилось, вдвойне тяжело, потому что ведь это я привлек Катю к работе. Но вы меня поймете: у нас нет иного пути, кроме пути борьбы!

И старик понял его. Он на мгновение опустил голову, потом поднял ее, и взгляд его был тверд и спокоен:

— Она у меня сильная, — негромко сказал он. — Она вынесет все!

«Вот с какими людьми пошла ты одной дорогой, доченька, — гордо подумал Митрофан Степанович, проводив Илью. — С настоящими людьми!..»

Г Л А В А 14

1.

Места, в которых проходила теперь эскадра, были для моряков сплошной, непрерывной загадкой. То вдруг налетит шквал, вон как девятого числа, во вторник, и тогда палуба ходуном ходит; то наступит неожиданное безветрие, штиль, и море лежит дремотное, неподвижное, и крупные мохнатые звезды по ночам смотрятся в него, как в зеркало...

Двенадцать дней — с первого мая, когда начался последний переход эскадры, и перспектива скорого прихода во Владивосток перестала казаться недостижимой, а на кораблях только и разговора было, что об отдыхе во Владивостоке, — двенадцать дней прошли на эскадре в обычной хлопотной суете службы.

С утра — приборки, чистка оружия и боевых механизмов, тренировки специалистов, потом — обед, снова занятия...

Делали около двусот миль в сутки, грузились углем в открытом море, — за последнее время это стало уже привычным, — по утрам проводили маневренные учения, чистили абордажное оружие. Единственным разнообразием в этой серой, привычной будничности (серой буквально, потому что почти все время над морем висели свинцовые, неподвижные тучи) явилось задержание английского парохода «Олдхэм», который упорно следовал за эскадрой, держась в стороне.

Трюмы «англичанина» были забиты грузами для Японии, так что пришлось их, по законам военного времени, конфисковать, но никого на эскадре это не обрадовало — матросы мрачно шутили:

— Уж если появился этот соглядатай, добра не жди. Того и гляди, беда какая-нибудь нагрянет.

— А что им, тем англичанам, нужно? Хитрят-мудрят, а ничего не поймешь.

— Да тут и понимать нечего. Хитрость ихняя вот как простая! Хитра Хавронья, да высоко гнездо воронье... Им бы чего хотелось: чтобы мы позлее перегрызлись с япошками, а как станем слабже, они и нас и япошек к рукам приберут...

С тех пор, как восьмого мая перешагнули границу тропиков, стало заметно прохладнее, тучи висели над кораблями, тянуло холодным ветром. Разразился долгий, надоедливый мелкий дождь, непрекращавшийся почти двое суток.

— Что-то ползем мы, ползем уже, кажется, давно на японских коммуникациях, а дети богини Аматерасу не проявляют к нам интереса, — пошучивал мичман Терентин.

— Погоди, накличешь беду на свою голову, — предостерег его Дорош, без особенной, впрочем, боязни в голосе.

— А что ж они, в самом деле, прячутся от нас? Так выходит?

— Я тебе говорю: дай срок, накличешь еще!..

В последние дни они с Терентиным только и делали, что спорили каждую свободную минуту. Дороша бесила легкомысленная бравада, с которой Андрей рассуждает о предстоящей встрече с неприятелем. Мальчишка, шапкозакидатель!..

Терентин оказался неправ.

В ночь с двенадцатого на тринадцатое мая вахтенный радист «Авроры» перехватил в эфире какие-то сигналы, посылаемые, очевидно, японской станцией беспроволочной связи.

Разобраться в них было невозможно, потому что, как обнаружилось, штабу Рождественского не был известен ни один из японских военных шифров. Но одно стало ясно: японцы где-то здесь, неподалеку. Полутора часами позже принят был уже открытый, незашифрованный текст: речь в депеше шла о том, что приближается русская эскадра и что нужно подготовиться к производству минных атак.

Мичман Терентин, интересовавшийся когда-то вопросами японской военной тактики, убеждал, что это — не больше как хитрость противника, рассчитанная на то,

чтобы дезориентировать русскую эскадру, но его никто не слушал.

На «Суворове» и на головном корабле отряда Небогатова радиogramмы, вероятно, тоже были перехвачены, потому что вскоре с «Суворова» поступило приказание: не иметь огней, принять меры на случай возможного нападения японцев.

— Вот увидите, — горячился мичман Терентин, — японцы неспроста дают эти депеши открытым текстом: суток двое-трое они будут выматывать наши нервы непрерывной боевой готовностью, а потом, когда вконец измотают, ударят...

Но Небольсин резко оборвал его, заметив, что не рекомендуется молодым офицерам брать на себя слишком много. Обидевшись, Терентин замолчал и больше уже не пытался высказывать предположения.

«Пожалуйста, — казалось, показывал он всем своим видом. — Могу и молчать».

Крейсер погрузился во тьму. Отрывисто и резко прозвучал по всем помещениям корабля сигнал боевой тревоги.

Аким Кривоносов первым прибежал к своему орудию и, еще не отдышавшись, доложил о готовности к бою.

«Тьфу, черт! — мысленно выругался он. — Холодище-то какой! Тут до утра вконец зачоченеешь...»

Ночные тревоги не были диковинкой для матросов роты Дороша: лейтенант, исполнявший по боевому расписанию обязанность плутонгового командира, в последнее время повторял их довольно часто. Но на этот раз она оказалась затянувшейся, так что сам Дорош вынужден был приказать Зиндееву принести ему из каюты шинель: холод пробирал основательно.

Смутное предположение, что тревога эта уже не учебная, а настоящая, перед сражением, час от часу перерастало в уверенность.

Мимо орудия к переднему мостику торопливо пробежал писарь Коротеев.

— Эй, письмённый, — вполголоса окликнул его Евдоким Копотей. — Какие новости?

Но писарь, очевидно, не расслышал, потому что иначе, словоохотливый и гордящийся своей близостью к начальству, он непременно остановился бы перекинуть-

ся фразой-двумя; а откуда-то сбоку из темноты донесся предостерегающий окрик боцманмата:

— Разговоры!..

Степа Голубь придвинулся к Копотею.

— Слышь, Евдоким, неужто это мы уже с неприятелем встретились? — спросил он шепотом, скрывая невольную дрожь в голосе.

— Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, — отшутился Копотей. — А ты что, струсил?

— Н-нет, отчего же, — смутился Голубь, которому было неприятно, что Копотей почти угадал его состояние. И тут же признался жарким шепотом:

— А вообще-то, знаешь...

И не договорил, растерянный и подавленный.

Копотей нащупал во тьме плечо матроса и положил на него широкую, сильную руку:

— Не бойся, браток. Мы с тобой заговоренные. Я еще на твоей свадьбе погуляю.

— Кабы так! — жарко, с надеждой выдохнул Голубь. Маленький, слабосильный, не видевший в своей жизни до флота ничего, кроме узкой отцовской полосы земли да березовой рощицы, что начиналась сразу за околицей, он чувствовал себя таким беспомощным, потерянным среди этого необъятного, беспокойно ворочающегося у бортов холодного чужого моря.

— Кабы так!.. — повторил он, благодарный Копотею за теплое, участливое слово, и Копотей ощутил, как волна острой жалости к этому слабому пареньку прихлынула к самому сердцу.

— Говорю, не робей! — повторил он. — Ты, Степа, жизнью-то своей не очень разбрасывайся и перед страхом на коленки не становись. Она тебе еще для большой борьбы понадобится — жизни!..

И он погладил Степу по плечу, отчего тот как-то по-детски дрогнул и сжался.

Изготовясь к бою, крейсер стал похож на молчаливого настороженного великана. Во всех боевых постах люди делали свое привычное дело молча, несуетливо, но и без промедления, а сделав — останавливались и замирали, будто вслушиваясь в то далекое, еще неведомое, непонятное, что надвигалось откуда-то из ночи.

Над кораблем висела плотная, почти осязаемая тишина; и, наверное, поэтому с особенной отчетливостью

проступали и тяжелые вздохи волн за бортом, и торопливая скороговорка кильватерной струи под кормой, и ритмичный перестук машин, выговаривавших: так-таки так, так-таки так...

Сколько прошло времени в таком напряженном ожидании; никто не знал. Подремывал, иногда легонько всхрапывая и сразу после этого испуганно вскидывая голову, привалившийся плечом к замку орудия Ефим Нетес; молчаливо, задумавшись, стоял Евдоким Копотей. Комендор Аким Кривоносов, широко расставив ноги, так, что его могучее тело словно впаялось в палубу корабля, думал о чем-то своем и лишь время от времени поднимал голову, прислушиваясь.

Лейтенант Дорош переходил от орудия к орудию, молча глядел на матросов и только иногда негромко спрашивал:

— Что, братцы, не зачоченели еще?

— Никак нет, ваше благородие, — отзывался кто-нибудь из матросов. — Нас жара не брала, а холод и подавно не возьмет.

Небо вдалеке — там, где смыкается оно с водой, мало-помалу начало сереть, мгла таяла не приметно для глаза; вот они уже ясно отделились друг от друга — море и небо, и в этом узком пустом белесом пространстве медленно-медленно, будто нехотя затеплилась узенькая, несмелая оранжево-розовая полоска зари. Теперь уже почти отчетливо были видны контуры кораблей справа, слева и впереди — эскадра шла, не сбавляя хода.

На «Авроре» скомандовали отбой тревоги, у боевых постов были оставлены только половинные расчеты.

Начиналось утро.

Степа Голубь облегченно вздохнул.

Нет, он никогда не был трусом и знал, не струсил бы и сейчас, доведись столкнуться с неприятелем. Но, честное слово, как же не хочется идти навстречу смерти, когда ты еще и не жил на свете, не хлебнул по-настоящему этого морского просоленного ветра, ни разу не заглянул в девичьи глаза, не коснулся теплых девичьих губ... А главное — ради чего?

Ему припомнились жесткие, беспощадные слова Копотея:

— Вот положили под Артуром тысячи и тысячи на-

шего брата, а за что, спрашивается? Ты думал об этом, Степан?

Тогда он, Голубь, не знал, что ответить Копотею, да, по правде сознаться, и не задумывался над этим; сейчас же вопрос этот, примененный к нему самому, к Голубю, требовал откровенного и ясного ответа:

— За что?

И все-таки одно Степа знал совершенно определенно: в бою, когда нужно будет, он не отступит, не испугается, не дрогнет!

Об этом же — о несостоявшейся пока что, но все-таки неизбежной встрече с противником — размышлял сейчас и лейтенант Дорош; разница состояла только в том, что, в отличие от Степы Голубя, он более отчетливо представлял себе, какой катастрофической по своим последствиям окажется эта встреча.

Прежде, еще в морском кадетском корпусе, потом гардемаринном, а еще позже мичманом на корабле, он, как, впрочем, и всякий молодой моряк, не однажды задумывался о своем будущем первом бое.

Какой он, этот первый бой, что будет в нем?

Книжным описаниям он доверял мало, и, должно быть, поэтому ничего определенного при мысли о бое ему не виделось: какие-то всполохи пламени, клубы дыма, люди, бегущие в полный рост... Но он все-таки верил, что это непременно что-то возвышающее, очищающее, неповторимо величественное: минута, когда останешься один на один со всем своим прошлым и неведомым будущим, в которое не дано заглянуть.

Оказывается, это совсем не так, и хотя боя еще не было, Дорош уже начинал понимать, что самое трудное и ответственное в бою — не минуты, когда грохочут и рвутся снаряды, когда падают рядом люди, сраженные наповал или корчащиеся в муках, — нет, самое трудное — вот эти часы ожидания, неопределенности, невероятного напряжения каждого нерва.

Нынешней ночью было именно такое невыносимое напряжение, и мгновениями Дорошу казалось, что он уже больше не в состоянии выдержать его. Тогда он спешил к матросам и заговаривал с ними о первом, что приходило на ум.

Дорош ловил себя на мысли о том, что матросы, его

подчиненные, ожидают сражения куда спокойнее, чем он сам, хотя он себя и не относил никогда ни к боязливым, ни к нерешительным.

Когда наконец-то показалось утреннее солнце, Дорош — должно быть, в ту же самую минуту, что и Степа Голубь — облегченно вздохнул и распрямил плечи.

Матросы расходились по кубрикам без обычных шуток, молча. Один только Евдоким Копотей беззлобно поддразнил Голубя:

— Что, Степушка, натерпелся страхов?

Он доверительно наклонился к уху Голубя:

— Для нас с тобой еще пуля не отлита, снаряд не сделан. Так что — не унывай.

И легонько, дружески толкнул Степу в плечо. Степа взглянул на него с благодарностью.

Утром, после завтрака, начались обычные эскадренные учения. С «Суворова» поступало одно приказание за другим, и мичман Терентин ворчал недовольно:

— Адмирал все оригинальничает. Нечего сказать, подходящее время заниматься эволюциями под носом у неприятеля!

Дорош насмешливо заметил:

— У вас, дорогой мичман, раньше срока характер портиться начинает. Это дурной признак: для адмиральской карьеры необходимы максимальная способность молчать и минимальная — ворчать.

— Нет, ну в самом деле, — настаивал Терентин. — Какому дьяволу нужны в такое время эти дурацкие эволюции? Небось, когда мы шли океаном и штормило, адмирал такой прыти не проявлял? Знаешь, как это пословица говорит: перед смертью не надышишься, перед боем не научишься.

— Давай вместе помолчим, Андрюшенька, — миролюбиво предложил Дорош. Ему сейчас не хотелось ни о чем говорить: напряженные нервы расслабились и требовали покоя. Давала знать о себе и лихорадка. С того времени, как эскадра миновала границу тропиков, мало кто на кораблях не переболел от резкой, неожиданной перемены климата. Не уберегся и Дорош. Третий день он глотал хинин, пытался прогреться коньяком, но ничто не помогало. Его знобило, в суставах не прекращалась ломота.

— Помолчим, — повторил он и утомленно прикрыл веки...

Отец Филарет, раскинув полы черной рясы, мелкими шажками бегал на юте: назад — вперед, назад — вперед. В маленьких глазках его еще отражались растерянность, страх, пережитые ночью. Всю ночь батюшка бодрствовал, время от времени подкрепляя рюмкой вина свою решимость мужественно встретить смерть. Но рюмка наполнялась все чаще, а решимости оставалось все меньше, и к утру отец Филарет, истерзанный страхами, дошел до полного изнеможения.

Доктор Кравченко, который, подобно своему предшественнику Бравину, недолго любил отца Филарета, остановил его и подчеркнуто-вежливо осведомился, пряча улыбку:

— Чем встревожены, батюшка? Могу брома предложить — успокаивает.

— Что вы, что вы, — смутился отец Филарет и, чтобы развеять подозрения доктора, даже попытался сострить: — Мне не брома — мне б рома!

— А, ну если так, прошу прощения, — и Кравченко так же вежливо откланялся.

Старк 3-й в кают-компании, изрядно выпив перед тем, разглагольствовал:

— Слушайте, господа, мы даже не представляем себе, какой исторический момент переживаем сейчас. Перед нами кульминация всей войны, ее наивысший пункт! Мои верноподданные чувства...

— Скажите, Павел Васильевич, — бесцеремонно перебил его Дорош. — Вы, помнится, когда-то объявляли, что у вас в каюте есть Беранже в подлиннике?

— Да, а что? — недоуменно отозвался Старк.

— Нет, ничего. Просто мне пришли на память великолепные строчки из Беранже: «Из всех искусств труднейшее на свете — искусство помолчать». За точность перевода не ручаюсь, но смысл правильный.

Мичман Терентин прыснул, Старк обиженно умолк. Небольсин осуждающе посмотрел в сторону Дороша: молодежь не умеет быть корректной. Наступившую вслед за тем неловкую паузу нарушил доктор Кравченко, начавший как ни в чем не бывало рассказывать какой-то забавный эпизод, приключившийся с ним в дни,

когда он еще учился в Военно-медицинской академии.

В тот же вечер Евгений Романович Егорьев, как обычно предварительно запершись у себя в каюте, сделал в дневнике записи сразу за три дня: все это время ему не удавалось выкроить для дневника и одного часа.

«11 мая, — быстро, будто торопясь куда-то, писал он, чуть разбрызгивая фиолетовые чернила затупившимся пером, — прошел без особенностей. Погода была тихая, серая и холодная. Видели один пароход, который прошел вдалеке от эскадры, и парусное судно.

Перед закатом перестроились так: правая колонна — адмирал Рожественский и адмирал Фелькерзам. Левая — адмирал Небогатов и адмирал Энkvист. Между колоннами — два ряда транспортов...

12 мая, утром рано, имели очень пасмурную погоду при раздувшемся зюйд-остовом ветре. В восемь часов утра, дойдя до широты 31° и долготы $122^{\circ}11'$, пожелали транспортам счастливого плавания. С ними пошли крейсера «Днепр» и «Рион»...

Итак, численность эскадры уменьшилась на восемь вымпелов: ушли «добровольцы» * «Ярославль», «Владимир» и «Воронеж», два транспорта небогатовского отряда — «Курония» и «Ливония», наш водоснабдитель «Метеор» и вышеозначенные крейсера...

Егорьев отложил перо.

Томила какая-то тяжелая, необъяснимая тоска, не покидавшая его все последние дни. Он и сам не мог понять, что с ним происходит, а это странное, гнетущее чувство усиливалось, между тем, с каждым часом. Он подумал и приписал еще несколько строк:

«Отпустив их в Шанхай, мы почувствовали себя много облегченнее и с большей надеждой на успех идем более ускоренным темпом навстречу неизбежной судьбе, взяв курс в Корейский пролив».

— Навстречу неизбежной судьбе... — вслух повторил он и погрузился в невеселые думы. Вся его жизнь проходила перед ним: учеба, насмешки более обеспеченных товарищей, мечты о большом плавании, горячие и страстные споры о высоком призвании морского офи-

* «Д о б р о в о л ь ц ы» — торговые (транспортные) суда добровольного флота.

цера... И первые радости тихого семейного счастья, и первая гордость за успехи сына, и первые горести после резких столкновений с косным и рутинерствующим начальством...

Всеволод, Сева, умница мой, по-юношески пылкий в мечтах о будущности русского флота, поймешь ли ты меня?..

С присущей ему аккуратностью, он уложил листки в папку и неторопливо завязал тесемки.

Мог ли он знать, что сделал сейчас последнюю запись!

...Тринадцатого мая, перед полуднем корабли построились в походный порядок и дали эскадренный ход.

В 4 часа дня все корабли приняли с «Суворова» сигнал адмирала: начать приготовление к бою.

2.

Жандармский ротмистр Власьев оказался верен своей методе: выжидать, не торопиться — «брать на измор». О нет, он не будет, подобно другим следователям, потирапливать события: бить заключенных, морить их голодом, заставлять сутками, без сна, стоять на ногах. Все это — анахронизм, от которого цивилизованные Европы давно отказались.

— Моя метода — испытанная, — любил говаривать он. — Червь дубы валит, капля камень долбит!..

Допрашиваемого водили к нему день, второй, неделю, месяц; он задавал одни и те же вопросы, в одной и той же последовательности, ровным скрипучим, бесстрастным голосом, твердо убежденный, что это способно в конце концов взять верх над любым, самым железным упорством.

На столе у него, по соседству со служебными бумагами, неизменно лежал томик Гельвеция с жирно отчеркнутыми словами: «Ничто так не убивает, как однообразие». Философ, видимо, и предполагать не мог, что когда-нибудь его афоризм найдет такое неожиданное применение.

В жандармское управление ротмистр перевелся из Семеновского лейб-гвардии полка, где у него произошла какая-то некрасивая история, не то карточная, не то любовная, — напоминаний о ней он избегал.

Отнюдь не чуждый тщеславия, он рассчитывал здесь, на новом месте, блеснуть своими способностями, а они у него, по твердому его убеждению, были недюжинные. Поэтому-то при случае и без случая заговаривал он в присутствии начальства о непогрешимости своей metody и о том, каких исключительных успехов добивается он с ее помощью. Начальство слушало благосклонно, и это еще более подогревало далеко идущие надежды ротмистра, мечтавшего о большой карьере.

Катю Власьев допрашивал каждый вечер, в одно и то же время, час в час, минута в минуту.

Ее вели длинным и узким коридором, где с влажного потолка, низко нависающего над головою своими полукруглыми обомшелыми сводами, ерывалась и падала, разбиваясь о каменные плиты пола, медленная, тяжелая капель, вводили в кабинет и оставляли у дверей.

Ротмистр долго не обращал на нее внимания, делая вид, что углублен в чтение каких-то бумаг. Потом он поднимал голову, бросал на девушку бесстрастный взгляд, не выражавший ничего, кроме чрезвычайной усталости и скуки, и молча показывал подбородком на стул. Что-то продуманно оскорбительное было в этом коротком движении подбородка, и Катя это остро чувствовала.

Она садилась и знала заранее: вот сейчас он потянется за папиросой, вот он разомнет пальцами табак, постучит мундштуком по краю пепельницы, закурит. Потом он проследит взглядом, как тает в воздухе легкий дымок, и только затем, словно вспомнив, что нужно снова приступить к опостылевшим делам, пододвинет к себе папку и, развязывая тесемки, скажет, будто между прочим:

— Итак, я надеюсь, что сегодня вы будете благоразумнее и начнете давать показания.

Он делал паузу, не означавшую ни точки, ни вопроса.

Так же заранее Катя знала, какие вопросы последуют дальше: фамилии, адреса, явки?

Поначалу ее удивляло, как это может живой человек быть таким вот однообразным во всем: в своих движениях, словах, даже в молчании? Но потом она поняла, что это — прием, игра и что рассчитано это, очевидно, на то, чтобы убить ее, Катину, волю к сопротивлению. И Катя решила отвечать следователю тем же.

Она глядела себе под ноги и глуховато говорила безразличным тоном:

— Я же давно сказала вам, что ничего не знаю.

Но вопросы все-таки следовали один за другим.

Прокурору, который несколько дней назад обошел камеры заключенных, с порога торопливо спрашивая, есть ли какие-нибудь претензии, Катя пожаловалась, что в карцере она простудилась: ее лихорадит, в особенности вечерами, ей обметало губы, боль в груди усиливается с каждым днем. Прокурор обещал распорядиться о переводе ее в больницу, но, как она с самого начала и предполагала, ничего он, конечно, не сделал.

С каждым днем Катя все острее ощущала, как ею овладевает неодолимое чувство усталости и какого-то неосознанного страха. Но она все-таки держалась.

Особенно страшны были сумерки. Температура к этому времени поднималась, Катю сжигала мучительная жажда, которую невозможно было утолить теплой, вонючей водой; Кате начинало казаться, что какие-то страшные лохматые чудовища выползают из темного угла камеры, они подбираются к ней, вздыхают, сопят, что-то бормочут; она вскрикивала в ужасе — и снова приходила в себя...

Чтобы не было так мучительно жутко, она начинала ходить по камере. Три шага, три маленьких Катиных шага в любую сторону — и под ладонью опять холодная, противно осклизлая гладь стены...

На одном из допросов ротмистр Власьев, закуривая, нечаянно обжег Катю: спичка зажглась с треском, кусочек горячего фосфора отскочил и, перелетев через стол, попал девушке в щеку, почти у глаза. Она приложила к обожженному месту платок, но боль не проходила, и тогда ротмистр, буркнув извинение, достал из ящика стола маленькое овальное зеркальце и протянул его Кате.

— Может, вазелин нужен? Или одеколон?

— Нет, благодарю. Это пройдет...

В первый раз за весь этот месяц Катя увидела себя — увидела и внутренне ужаснулась. Неужели это она? Под глазами лежали широкие черные круги, нос как-то заострился, скулы, обтянутые желтой кожей, выпирали, как у старухи. Нездоровая бледность покрывала лицо.

Если бы раньше Кате сказали, что человек может не узнать самого себя, она, пожалуй, и не поверила бы. А сейчас с нею было именно так!..

Ротмистр в тот вечер был внимательнее обычного, даже шутил и пытался рассказать какой-то анекдот, но Катя сумрачно молчала, глядя в пол.

— Напрасное упрямство, — внезапно меняя тон, сказал ротмистр. — Вы должны трезво понимать, что жертвенность ваша сейчас уже ни к чему, она попросту смешна... Все ваши социал-демократические ячейки давно прекратили существование. Мечты о революции в России похоронены. Мы — не Запад, и до революции российскому мужику-лапотнику так же далеко, как до планеты Марс...

Катя усмехнулась: если бы это было так, вряд ли бы стали держать здесь, взаперти, даже меня, в общем-то неопытную и неопасную девчонку.

Но она решила молчать.

— Нет, ну в самом деле, — словно рассуждая вслух, продолжал Власьев. — Вы молодая, красивая, вам ли губить молодость, этот бесценный дар, по тюремным камерам? Поверьте мне, прожившему на свете: молодость — она безвозвратна, ею нужно дорожить! Извините за банальность, но вы созданы для любви, а не для политики!

Катя продолжала молчать.

Так проходили вечер за вечером, допрос за допросом.

...Сегодня, в отличие от прежних вечеров, ротмистр нервничал, хотя всячески старался и не показать этого. Катя, разумеется, не могла знать о том, что утром он получил от начальства изрядный нагоняй: следственные дела у него непомерно затягиваются. Напрасно пытался он напомнить о своей методе — начальство на этот раз и слушать не хотело:

— Какая, к дьяволу, метода, когда вы от простой девчонки за целый месяц ни единого слова не сумели добиться!..

И ему недвусмысленно дали понять, что лейб-гвардейские прегрешения его вовсе не забыты и что, если у него и дальше дела пойдут так же неудачно, придется ему подумать, не пора ли в отставку.

«Ну хорошо же, — заранее настраивая себя на резкий тон по отношению к Кате, думал Власьев. — Нынче ты у меня заговоришь!..»

Привычным жестом он указал Кате на стул. Заговорил он с нею неожиданно для девушки, отечески мягко и даже с какой-то едва уловимой грустью в голосе:

— Нынче поутру я имел случай побывать у вашего батюшки. Плох стал старичок, совсем плох!.. Похудел Митрофан Степанович, одряхлел как-то... Между прочим, велел вам кланяться.

Катя невольно насторожилась: это было что-то новое!

— Это и понятно, — продолжал ротмистр все тем же участливым тоном и сочувственно вздохнул. — Живет впроголодь, последние вещички распродает... Помните картину «Верую, господи», над кроватью у вас висела? При мне нынче маклак-татарин унес. Этакая образина, больше двугривенного не захотел дать... Жалко старика, правда?

Насчет картины — это Катя поняла: дескать, не сомневайся в том, что я говорю правду, был у твоего отца, был!..

Девушка стиснула кулаки так, что ногти впились в ладони: только бы не поддаться этому иезуитскому состраданию, только бы не дать дрогнуть расслабленному жалостью сердцу!

Она решила: ни за что не посмотрит в сторону ротмистра. А тот, будто угадав ее мысли, подался вперед и все пытался заглянуть в ее глаза:

— Вы думаете, я обманываю вас? Не-ет, мы с вами сейчас ведем совершенно честный и совершенно беспристрастный разговор. Мне действительно жаль вашего старика-отца!..

Катя молчала.

— Ну? Пятнадцатиминутная откровенная беседа, о которой будем знать лишь вы да я, и пропуск — вот он. Сможете тотчас поспешить к своему батюшке. Ведь как обрадуется Митрофан Степанович, как обрадуется!

Ротмистр выжидательно глядел на нее. Катя закрыла глаза и так, с закрытыми глазами, просидела несколько минут. Потом подняла ресницы, спокойно взглянула на следователя и равнодушно произнесла:

— Но я же сказала, что ничего не знаю.

— К черту! — ротмистр взорвался, грохнул по столу кулаком: вся его система, которой он так гордился, не стоила и ломаного гроша, если эта обыкновенная девчонка, почти подросток, способна оставаться такой спокойной, сдержанной и неприступной. — К черту! Я достаточно церемонился с вами. Теперь я другим способом заставлю вас говорить. Заставлю!..

Он выбежал из-за стола, маленький, тучный, чуть прихрамывающий и удивительно похожий на сказочного гнома. Уже не соображая, что само это поведение обращивается против него, он забежал по кабинету из угла в угол.

— Не-ет, хватит с меня! Я начинаю понимать, что либерализм мой действительно становится злом. Другие, поди, и бьют подследственных, и голодом морят... А я вас хоть пальцем тронул? Нет, скажите: тронул?.. А теперь — довольно. Буду как все!..

Катя взглянула на Власьева насмешливо:

— Зачем же так волноваться, господин ротмистр? Это для здоровья вредно!..

...И вот опять двое конвойных ведут ее по коридору. И опять где-то в полутьме отсчитывает время невидимая, тяжелая капель. И опять впереди — бессонная долгая, томительная ночь, полная тревог, боли и воспоминаний.

Очевидно, это самое страшное в тюремной жизни — воспоминания...

Но нет, пусть не сомневается Илья, пусть ничего не опасается: она и не такое выдержит!

Один из конвойных удивленно бросает на нее взгляд:

— Дура-девка, тебе плакать надобно, а ты еще улыбаешься...

А Катя действительно улыбается. Она гордо вскидывает голову, увенчанную короной золотых волос, и, не отвечая конвоиру, спокойно шагает по длинному тюремному коридору.

Г Л А В А 15

1.

Ночь опустилась на море, не по-майски холодная, безветренная, темная.

Тот, кто прожил жизнь на берегу, никогда не пред-

ставит себе, что это такое — туманная весенняя ночь вдали от земли, от людского жилья, от привычного покоя и уюта, когда на всем необозримом пространстве, даже невидимые, а скорее угадываемые, движутся, все движутся непрерывные угрюмые волны, и такая же угрюмая завеса тумана касается своим краем их зыбких вершин — и ни лучика света, ни звезды, ни огонька на десятки, на сотни миль в любую сторону...

Промозглый, сырой туман наглухо укрыл эскадру; он плотно прижимался к воде, и корабли, окутанные им, сделались почти невидимыми, будто пропали вдруг в этой слепой ночи. Туман был настолько густым, что, кажется, его можно было попробовать на ощупь. Даже порывистый, леденящий зюйд-вестовый ветер, налетавший с мрачным пронзительным свистом, оказался не в состоянии разорвать, развеять эту сплошную, непроницаемую туманную пелену.

С глухим и недобрым грохотом били в борт крейсера все увеличивавшиеся волны, и крупные брызги от них будто растворялись в тумане, делая его еще более влажным и весомым.

Усиливалась бортовая качка.

Рассвет наступал с такой медлительностью, словно время вдруг остановилось, не желая приближать события надвигающегося утра.

В четыре часа мичман Терентин принял вахту: заглянул в журнал, поинтересовался, нет ли каких-нибудь срочных приказаний по кораблю, и, подавив зевок, — он никак не мог приучить себя бодрствовать по ночам, — небрежно козырнул:

— Вахту принял.

— Вахту сдал, — так же небрежно откозырял лейтенант Старк 3-й и добавил: — Спокойной вахты.

— Спокойного отдыха.

Старк сбежал по трапу, но тут же возвратился:

— Да, чуть не забыл. Евгений Романович велел, в случае чего, немедленно разбудить его.

— О, тогда он может спать спокойно до утра, — рассмеялся Терентин. И помахал Старку рукой:

— Адью!..

Едва спустившись по трапу, Старк тотчас исчез, словно растворился в тумане. Терентин поешился, все

еще клонило ко сну. Он протер стекла бинокля и поднес его к глазам.

Ветер все-таки справился с туманной завесой, и она понемногу начала редеть, так что вскоре уже можно было разглядеть почти всю эскадру.

Она шла двумя кильватерными колоннами, одна недалеко от другой. В правой были первый и второй броненосные отряды, угадывались по знакомым очертаниям «Суворов», за ним чуть поодаль — «Император Александр III», еще дальше — «Бородино», «Орел», «Ослябя», «Сисой» и почти скрытый туманом — «Наварин».

В левой колонне, где третьей с конца была «Аврора», шли эскадренный броненосец «Николай I», броненосцы береговой обороны «Сенявин» и «Ушаков». Совсем близко от «Авроры» покачивался контр-адмиральский «Олег». Энkvист все собирался перебраться на «Аврору» — что-то ему такое на «Олеге» не понравилось, — да так и не собрался.

За эскадрой, сзади, слегка врезавшись между колоннами, следовали транспорты, имея головным «Анадырь».

И уже совсем позади, едва различимые в тумане, шли госпитальные суда «Орел» и «Кострома», не без основания насмешливо прозванные на эскадре «веселыми кораблями»: здесь было множество хорошеньких сестер милосердия, не отличавшихся чрезмерной строгостью нравов.

На госпитальном «Орле» мичман Терентин задержал бинокль. Там, среди сестер милосердия, была одна, рыженькая, с которой у него еще во время стоянки в Носи-Бе завязался интересный роман.

Воспоминания об этом были мичману приятны, и он усмехнулся.

Получилось как-то так, что они вместе отправились в горы, на охоту: мичман клялся, что он — завзятый охотник и что от него никакая дичь не уйдет. У рыженькой же интерес к охоте был чистосозерцательный.

Сестричка, пока они поднимались по крутой и извилистой тропинке, все время без умолку болтала о каких-то пустяках, на краю обрывов, где тропинка делала неожиданный поворот, она пугливо останавливалась, доверчиво прижималась к мичману горячим округлым плечом и, заглядывая то вниз, туда, где в пропасти клу-

бился туман, то в глаза Терентину, спрашивала, по-детски шепелявя:

— Страшно как, правда же?

Над одним из таких обрывов мичман, неожиданно для самого себя, привлек ее за плечи и поцеловал. Она тихо ахнула и закрыла глаза...

Терентин в общем не был в претензии, что возвратился на «Аврору» без охотничьих трофеев, а когда вечером офицеры в кают-компании попробовали поупражняться на его счет, он только загадочно усмехнулся.

После этого он с сестричкой встречался только однажды; хорошо уже то, что она даже не пыталась устраивать ему сцены ревности, которых он терпеть не мог.

Спит поди и не знает, что он здесь думает о ней...

До утра было еще далеко, и Терентин, прохаживаясь в одиночестве, начал думать о всякой всячине. О том, как он потом красочно и подробно опишет отцу весь этот переход; и о том, что вот, в самом-то деле, неплохо было бы сочинить впоследствии книжку, скажем, под таким названием: «Девятнадцать тысяч миль в морях и океанах»...

Потом он стал думать о Дороше. Ясно, у Алеши явно не ладится что-то с Элен, а он молчит, скрытничает. Железной воли человек, честное слово! Он, Терентин, на месте Дороша не утерпел бы, все рассказал.

«А все-таки экое же я легкомысленное существо! — не без комизма подумал Терентин. — Переживаем, можно сказать, такие исторические минуты, а у меня в голове, как назло, ну хоть бы одна какая-нибудь маломальски серьезная мысль!»

И он даже вздохнул.

— Сигнальщик! — на всякий случай окликнул Терентин.

— Есть, сигнальщик, — откуда-то сверху, из серой тьмы отозвался матрос.

— Что на флагмане?

— С флагмана, ваше благородие, никаких сигналов нет.

«Слава богу, хоть перед рассветом адмирал утихомиривается», — подумал Терентин иронически и снова крикнул:

— Усилить наблюдение!

— Есть, усилить наблюдение.

«Скука-то какая зеленая», — подумал Терентин. Право, нет ничего неприятнее вот этой вахты перед рассветом, когда, кажется, время останавливается и не хочет двигаться дальше ни на одну минуту вперед.

Рывком, будто высвободившись из заточения, налетел стремительный, холодный ветер, он подхватил клочья тумана вблизи крейсера и помчал их дальше по морю, то прижимая к самой воде, то поднимая кверху. Разорванный туман двигался легко, почти не касаясь поверхности моря; он казался живым существом.

Взлетела и устремилась вдогонку ветру высокая, тонкорогая волна.

Мичман достал из кармана огромные часы-луковицу, подарок отца, щелкнул крышкой: без десяти шесть. «Еще больше двух часов маяться», — подумал он и смачно, так, что даже внутри, в скулах что-то хрустнуло, зевнул.

И вот тут-то он услышал, как срывающимся голосом крикнул взволнованный матрос-сигнальщик:

— Ваше благородие, «Урал» передает...

— Что, что передает? — воскликнул Терентин.

Сигнальщик прочел медленно и раздельно, отделяя слог от слога:

— «Ви-жу... воен-ны-е... су-да...»

Крейсер «Урал» вместе с «Алмазом» и «Светланой» шел в самом конце эскадры, как бы закрывая ее замком; теперь он полным ходом догонял эскадру, непрерывно семафоря о том, что его курс сзади пересекли справа и слева четыре неизвестных корабля, опознать которые не было возможности из-за тумана.

Почти одновременно поступил сигнал с «Осляби»:

— «Вижу неприятельский крейсер, могу вступить в бой».

На «Авроре» была сыграна тревога.

Из своей каюты — так, словно он вовсе и не спал, вышел спокойный Егорьев и неторопливо прошел в боевую рубку. Он поздоровался с Терентиным и поднес к глазам бинокль.

— Евгений Романович, почему «Ослябя» медлит, если ей виден неприятель?! — взволнованно воскликнул мичман.

— А вы взгляните, почему, — ровным голосом ска-

зал Егорьев и показал рукой в сторону «Суворова»: на флагмане то вспыхивал, то снова гас прожектор. «В бой не вступать», — прочел Терентин.

«Странно, — подумал он. — Неужели Рождественский хочет уступить японцам преимущество первого залпа?»

В 6 часов 45 минут справа, позади, смутно обозначился силуэт какого-то корабля. Корабль шел сближающимся курсом. Старший артиллерийский офицер «Авроры» лейтенант Лосев, отличный знаток японского флота, без труда опознал незнакомый корабль:

— Легкий крейсер «Идзуми», — спокойно, будто на экзамене, сказал он. — Вооружение шестнадцать пушек и три минных аппарата.

Вскоре крейсер ушел, исчезнув где-то за русскими транспортами.

Стало уже совсем светло, но туман расползлся по-прежнему неохотно, медленно, лениво. Серое море было покрыто серой, невзрачной мелкой зыбью, серые тучи нависали над водой, почти касаясь ее.

Четыре крейсера, обнаруженные незадолго до того «Костромой», вероятно, были, как и «Идзуми», вражескими разведчиками, потому что ближе чем на восемьдесят кабельтовых они не подходили, ни одного выстрела не сделали и исчезли так же неожиданно, как и появились.

— Стая «летучих голландцев», — пошутил мичман Терентин, но никто его шутки не поддержал.

Егорьев, время от времени поднося бинокль к глазам, с досадой думал о том, что напрасно флагман не посчитался когда-то с его замечанием насчет окраски судов: окрашенные в шаровый цвет японские корабли исчезают в тумане, словно невидимки. Да и только ли в этом одном проявится то самое преимущество неприятеля, о котором следовало думать заранее? Зачем, например, было тащить в хвосте нашей эскадры тихоходные транспорты? И оторваться от них уже нельзя — не бросишь на произвол! — и маневренность они будут сковывать, словно тяжелые цепи, это совершенно очевидно.

Он поинтересовался ходом крейсера.

— Восемь узлов!

«Так я и думал, — почти вслух произнес Егорьев. — Из-за этих полуразбитых транспортов мы ползем, как черепахи...»

...А на шестом плутонге, у орудий, матросы перебра-
сывались редкими, короткими фразами.

— Ну и погодка! — недовольно буркнул Аким Кривоносов. — Для нас по заказу, что ли?

— Дома у нас поди уж черемуха цветет, — мечтательно произнес Нетес. — В наших местах этой черемухи гиблое дело сколько. Девчата в волосы ее себе вплетают. Красиво!..

— Твои девчата, надо думать, теперь дни считают: когда возвернется бравый балтиец? — пошутил кто-то из комендоров.

— Нет, я от девчат все как-то в стороне держался. Языкастые они, насмешницы, — простодушно сознался Нетес.

— Будто уж и в стороне? Так тебе кто и поверит!

— Право слово... Есть, верно, одна там... Татьяной зовут. Только она — дочка шинкаря. Богатющий мужик! По праздникам один из всего села в калошах вымахивает... Губернатор — и тот проездом у него останавливался... Где мне к нему в родню ввязываться? Да и она, Татьяна, небось уж давно замуж вышла...

— Это дело известное, — поддержал Кривоносов. — Такой дочку не выдаст, а продаст, чтоб поприбыльнее.

— Прекратить разговоры! — одергивали матросов унтер-офицеры, и те умолкали, настороженно вглядываясь вдаль.

Ночью почти никто из матросов не спал, и теперь на лицах у всех лежала печать усталости, и это еще более подчеркивало всеобщую сумрачную, молчаливую настороженность.

Но вот на какое-то мгновение проглянуло солнце, — даже не проглянуло: невидимое само, оно едва-едва позолотило края туч у горизонта, но тотчас напозли новые тучи, и робкий, осторожный проблеск солнечного утра угас, и опять вокруг были серое небо и серая вода. Но и этой мимолетной вспышки света оказалось достаточно, чтобы лица матросов прояснились, затеплились изнутри. Прошло еще сколько-то минут — и усталости у людей как не бывало. Все приободрились, глядели веселее, и негромкие шутки — как ни одергивали унтеры — слышались уже повсюду.

Аким Кривоносов старался держаться поближе к Копотею. Всю ночь ему не давал покоя один вопрос, а за-

дать его Евдокиму он не решался. Потом все-таки набрался смелости.

— Помнишь, Евдоким, — сказал он вполголоса, убедившись, что никто не сможет их подслушать. — Помнишь, ты когда-то говорил, что только последний мерзавец станет защищать царя... А мы... ежели бой... Как же, а?

И он выжидающе посмотрел на друга — так, словно всей великой правдой жизни, всей его судьбой владел сейчас этот невысокий, чуточку рябоватый матрос со съехавшим на сторону синим воротником «гюйсом».

Евдоким Копотей ответил не сразу. Умными, внимательными глазами посмотрел он на Кривоносова.

— Кроме царя, Аким, есть еще русская земля. Родная. Единственная... Понимаешь, Аким: вот существуют цари, династии... Они следуют друг за другом, их может и вообще не быть... А земля отчая простому человеку всегда останется дорогой, родной. Вот как мать с отцом...

Он досадливо махнул рукой:

— Эх, не умею я говорить... Сердцем понимаю, а слов подходящих найти не могу.

— Нет, это ты зря, — задумчиво возразил Кривоносов. — Говоришь ты понятно.

Он помолчал.

— Стало быть, так: если уж драться, так драться по-настоящему? Правильно я тебя понял? — спросил он, глядя на Копотея. — Царь — сам по себе, а мы — сами по себе, так?

— А разве тебе совесть позволит... не по-настоящему? — тихо возразил Копотей.

— Это-то, положим, верно, — согласился Кривоносов и почему-то вздохнул. — Вот, знаешь, дед мой мне сейчас припомнился. Давно уж помер, царство ему небесное... Отчаянный, между прочим, мужик был. И медали по праздникам любил надевать: они у него еще с турецкой кампании...

Кривоносов помолчал, будто погруженный в эти дорогие сердцу воспоминания.

— Да, так вот он, дед-то... Когда с войны домой воротился — живого места, сказывают, на нем не было. А до смерти говорил: русский солдат — он своей чести нигде не уронил!..

— Вот то-то и оно, — поддакнул Копотей. — Это у нас от дедов ведется. Я своего деда не помню, а отца помню. Говаривал мне: у нас в роду, сынок, трусов никогда не бывало!

Подошел Листовский.

— Об чем разговор?

— Да вот рассуждаем, как в бою держаться, ежели что...

Листовский насторожился:

— И как же порешили?

— А как тут решать? Не раки, назад пятиться не станем.

Листовский зло, вприщур, посмотрел сперва на Копотей, потом на Кривоносова:

— По присяге, стало быть? За веру, царя и отечество?

Он насмешливо хмыкнул:

— Видать, на пользу пошли уроки словесности.

— Опять за свое? — неожиданно резко оборвал его Копотей. — Буйная, я гляжу, у тебя голова, шахтер. Буйная, да... дурная. А для нашего дела это никак не годится.

И уже более спокойно добавил:

— Мы с Акимом вот о чем толковали: драться надо по-настоящему, а присяга тут ни при чем. У нас одна присяга: народ, Россия. Понял?

— Понять-то понял, — угрюмо произнес Листовский. — А только вот тут, — он приложил руку к сердцу, — вот тут у меня столько злости накопилось, что хоть криком кричи!..

Копотей насмешливо поглядел на Листовского:

— Так ведь и злость-то, ее тоже с умом надо расходовать, мил человек. Ты думаешь, у тех, в Порт-Артуре, меньше, чем у тебя, злости в сердце было? Ого!.. А как дрались?

Он дружески потрепал по плечу нахмуренного Листовского:

— Ты только не сердись за резкое слово. Это ведь любя.

— А я и не сержусь, — уже более отходчиво согласился Листовский. — Только чудно все это получается... Ты мне вот что объясни: социалисты — они как насчет войны толкуют?

— А социалисты, милочка, они тоже разные, — подумав, сказал Копотей. — Есть, которые...

Но тут его предостерегающе толкнул Степа Голубь: к матросам приближался унтер-офицер:

— Разговоры!

— Да мы об жизни, — спокойно-насмешливо возразил Копотей.

Унтер-офицер покосился на Копотея.

— Об какой еще жизни?

— Известно: о нашей, матросской...

Унтер пожал плечами: нашли о чем толковать!

— Сказано, не болтать! — грубо одернул он.

В половине десятого команде было дано разрешение завтракать, но только матросы принялись за еду, как снова прозвучал сигнал тревоги.

— Опять японцы показались!

Лейтенант Дорош поднес к глазам бинокль, однако в нем уже не было нужды: четыре японских крейсера подошли к эскадре так близко, что уже можно было без труда опознать их. Это были малые крейсера недавней постройки, быстроходные и отлично вооруженные.

— Ого!.. — вполголоса произнес Дорош. — Если таких китов в разведку посылают, каковы же тогда их главные силы?

Японцы совершенно откровенно испытывали крепость нервов русских моряков: они демонстративно развернулись на ходу и шли медленно, очень медленно, поводя в сторону русской эскадры черными зевами крупнокалиберных орудий.

Неприятельские крейсера, которые вначале шли контркурсом с русской эскадрой, подошли почти вплотную к ее левой колонне и легли на курс, слегка сходящийся с курсом русских кораблей. Дальномерщики торопливо уточнили дистанцию: до ближайшего японского крейсера было пятьдесят восемь кабельтовых. Расстояние это постепенно сокращалось. Приземистые, с острыми форштевнями корабли были уже превосходно различимы с «Авроры», и когда дистанция до них сократилась до сорока двух кабельтовых, оба русских броненосных отряда по сигналу адмирала начали заходить влево — так, чтобы вместе с третьим отрядом броненосцев составить одну, единую линию.

Легко, подобно птицам, вырвавшимся на волю, взлетели разноцветные флаги над «Суворовым»: адмирал приказывал открыть огонь.

Первый выстрел прозвучал с «Николая». Странное дело: все ожидали этого выстрела, стискивая зубы от внутреннего напряжения, а он прозвучал коротко, негромко, почти неслышно, даже эхо не подхватило его отголоска.

Еще не растаял сизо-голубой дымок, как японские крейсера открыли ответный огонь.

— Шестому плутонгу — к бою! — передали с мостика: шестой плутонг был на «Авроре» кормовым, и корабли неприятеля находились сейчас как раз в его радиусе обстрела.

Аким Кривоносов наводил орудие. Куда делись прежние несобранность, взволнованность; он сам удивился, до чего спокоен был в эту минуту. Главное, не нужно торопиться... Так, правее, еще правее...

— Цель поймана! — отрывисто доложил он и как будто со стороны прислушался на мгновение к своему голосу: ничего особенного — так же, как всегда на учениях...

— Товсь!

Тело орудия на мгновение подалось назад, грузно, словно нехотя, выдохнуло сноп оранжево-багрового пламени и медленно-медленно вернулось в исходное положение.

— Есть! — весело выкрикнул чуть побледневший от волнения Степа Голубь. — Левый крейсер хлопотал себе что надо. Прямо в кормовую рубку!..

Аким Кривоносов внутренне удивился: неужели все это так просто? А может, и не он — кто-нибудь другой угодил сейчас в неприятеля?

Но лейтенант Дорош уже кричал со своего места:

— Кривоносов!

— Есть, ваше благородие!..

— С боевым крещением тебя!

— Спасибо, ваше благородие. Рад стараться.

Он снова подумал: да нет, тут что-то не так. Уж очень просто... Рукавом грубой парусиновой рубахи он отер лоб, ставший почему-то влажным.

Орудия шестого плутонга «Авроры» были снова заряжены, но второго залпа произвести так и не удалось: японцы внезапно повернули «все вдруг» и начали скрываться в тумане, беспорядочно отстреливаясь на ходу. Только один крейсер продолжал следить за эскадрой, по-прежнему оставаясь в отдалении.

...И опять на «Авроре» сыграли отбой: вражеских кораблей поблизости больше не было.

Лейтенант Дорош, приказав отпустить прислугу подачи, направился в каюту. Почти вслед за ним прибежал туда возбужденный мичман Терентин.

— Ну как, Алеша, можно тебя поздравить с почином? — сказал он. — Лиха беда начало — так, кажется, говорят?

— Не знаю, как начало, а беда лиха. Садись-ка, передохнем немножко. Эти бессонные ночи скоро совсем с ног свалят.

Он помолчал, нерешительно посмотрел на Терентина, потом сказал:

— Слушай, Андрей, обещаю исполнить одну мою просьбу...

— Конечно. Какую?

Дорош помедлил:

— ...Если я... если со мной что-нибудь случится, передай это письмо по адресу.

Терентин замахал обеими руками:

— Что ты! «Случится, случится»... И думать об этом не смей, да еще в такую минуту! Смеешься, что ли?.. Запомни: ничего с тобой не случится. Ни-че-го, понятно?

— Станный ты человек, — невесело усмехнулся Дорош. — Что меня успокаивать? Что я — враг себе, что ли? Я и сам хочу верить, что все будет... хорошо. Но все-таки, на всякий случай.

— И слушать не желаю, — продолжал упорствовать Терентин.

— Ну что ж, нет так нет. Забудем об этом. — Дорош открыл ящик стола и бросил туда конверт.

— А кому письмо? — сдался Терентин. — Элен?

Дорош кивнул: ей.

— А все-таки... любишь ты ее, — задумчиво и неожиданно уважительно произнес Терентин. — Теперь вижу: любишь!..

В полдень эскадра изменила курс на норд-вест 23°, подавшись немного вправо, и тогда первый броненосный отряд выдвинулся еще правее, образовав отдельную колонну.

Егорьев не сразу разгадал смысл эволюции, затеваемой Рожественским, и только после того, как первый отряд начал движение справа налево, описывая широкую кривую, Егорьев понял: адмирал выводит отряд в голову броненосцев.

— Да что же он делает?! — изумленно и встревоженно воскликнул капитан первого ранга. — С минуты на минуту снова появится неприятель, а строй судов разобщен!..

А корабли первого отряда все отходили и отходили в сторону, и появившись сейчас противник — они стали бы превосходной мишенью для огня вражеской артиллерии.

2.

Тем событиям, которые произошли в это хмурое майское утро в далеком неприветливом море, в виду острова Цусима, суждено было стать достоянием истории.

Военные специалисты во всех странах не раз впоследствии возвращались к самому детальному анализу этих событий, толкуя их каждый по-своему и нередко не без умысла далеко уходя от правильной оценки подлинных фактов.

Их, эти события, сравнивали с теми, что произошли более двух тысяч лет назад в Саламинской бухте, близ Афин*. Общность с ними искали в подвиге матросов Жуана Австрийского**, в делах, совершавшихся у мыса Трафальгар***.

И все-таки при всей объективности, на какую они только были способны, историки в своих изысканиях шли лишь одним из двух обязательных путей: они искали причины победы, не утруждая себя поиском причин поражения. А это было куда важнее, потому что тут-то и находился ключ к пониманию событий.

* Саламинское сражение (480 год до нашей эры), в котором греки уничтожили превосходивший по силе персидский флот.

** Битва при Лепанто, в Адриатическом море (1571 год).

*** Победа англичан под командованием адмирала Нельсона (1805 год) над франко-испанцами.

Тому, что произошло при Цусиме 14—15 мая 1905 года, единственно полную оценку дал человек, никогда не считавший себя специалистом в вопросах военно-морской стратегии и тактики.

Гневом и скорбью были полны его слова, когда он писал:

«Сотни миллионов рублей были затрачены на спешную отправку балтийской эскадры. С бору да с сосенки собран экипаж, наскоро закончены последние приготовления военных судов к плаванию, увеличено число этих судов посредством добавления к новым и сильным броненосцам «старых сундуков». Великая армада, — такая же громадная, такая же громоздкая, нелепая, бессильная, чудовищная, как вся Российская империя, — двинулась в путь, расходуя бешеные деньги на уголь, на содержание, вызывая общие насмешки Европы... По самым скромным расчетам, эта армада стоила до 300 миллионов рублей, да посылка ее обошлась в 100 миллионов рублей, — итого *400 миллионов рублей* выброшено на эту последнюю военную ставку царского самодержавия» *.

Так писал он, с неумолимой логической закономерностью доказывая неизбежность трагического для России исхода событий при Цусиме.

Этот человек был Ленин.

Все понимали: встреча с главными силами противника еще впереди и произойдет она очень скоро. Неспроста до сих пор сновали поодаль от эскадры японские корабли-разведчики.

В тысячный раз Егорьев задавал себе один и тот же вопрос: готова ли эскадра к тому, чтобы дать неприятелю хотя бы достойный отпор, — о победе над явно превосходящим по силам японском флоте не могло быть и речи, — и в тысячный раз приходил к одному и тому же скорбному ответу: нет!

Он не сомневался в храбрости, в отчаянной, неслыханной храбрости почти любого из своих подчиненных: без выбора, кого вздумается, пошли в огонь, в воду, на самую смерть — и пойдет не колеблясь, и так, должно быть, на всей эскадре.

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 10, стр. 251—252.

Но что она, эта честная и, если высказывать все до конца, ненужная храбрость, рядом с огромной мощью вражеской техники, с ее бесспорными современными преимуществами? Более храбрый может на море более мужественно умереть, но умереть — еще не значит победить... И, кажется, никогда прежде ощущение авантюристического характера всей этой затеи с посылкой эскадры на Тихий океан не было у Егорьева таким отчетливым и определенным, как сейчас.

Туман, почти не рассеявшийся и к полудню, таил в себе неизвестность: что за ним? Какие силы накапливает неприятель? Что он замышляет? Говорят, адмирал Того — большой поклонник лобовых ударов, — так, во всяком случае, утверждал Рожественский на вчерашнем совещании командиров кораблей: расставит, дескать, свои корабли в одну сплошную линию по диспозиции и бьет, бьет, пока снарядов хватит. Но в этой наивной сказочке было, конечно, не больше верного, чем во всех наших суждениях о почти неведомой островной империи.

Вот они, результаты беспечности: неприятель где-то рядом, а что о нем известно? Ровным счетом ничего. Эскадра, выражаясь фигурально, идет на ощупь, разведка поставлена из рук вон плохо, да ее, по-честному говоря, и вообще нет, и за это тоже еще придется заплатить. О, до какой степени ненавидел сейчас Егорьев всех этих тупых, чванливых, поразительно далеких от жизни чиновников из Главного морского штаба, вершащих судьбы целого флота!..

Егорьеву вспомнился недавний случай, заставивший его горько усмехнуться. Рожественский пригласил к себе командиров кораблей, как раз в это время принесли газеты из свежей почты, и адмирал, пробежав глазами заголовки в «Новом времени», воскликнул:

— Господа, господа, послушайте, что опять пишет о нас этот Кладо!

И он прочел звучно, будто любуясь собственным голосом: «Дерзайте, и кажущееся невозможным — свершится!»

— А что ж, — сказал адмирал, отодвигая газету в сторону. — А что ж, и будем дерзать. Будем!

Как это все легко и просто получается на словах, а ведь Рожественский — не из тех простаков, которые

обольщают себя несбыточными надеждами. На что же он, в таком случае, рассчитывает?

Он, Егорьев, тогда набрался смелости — спросил напрямик:

— Как дерзать будем, Зиновий Петрович? У Того поди раза в полтора-два больше артиллерийская мощь, и маневренность, и новейшие приборы управления огнем?

А Рожественский вдруг побагровел так, что даже глаза налились кровью, и начал кричать, что это — трусость заранее признавать превосходство врага; что он не потерпит ни в ком этой трусости!..

И вот тогда-то Егорьев понял главное: и этой неуместной бравадой, и этим еще более неуместным криком адмирал хочет скрыть собственную растерянность перед лицом предстоящих испытаний. А командир «Ушакова» Миклухо-Маклай, родич знаменитого исследователя неведомых земель, когда разъезжались с флагманского «Суворова», сказал Егорьеву с легкой укоризной:

— Что ж вы этак оплошали, Евгений Романович? Можно сказать, в самое больное место нашему адмиралу угодили!..

...Заметив корабельного врача Кравченко, который неторопливо поднимался на мостик, Егорьев посоветовал ему:

— Вы бы, Владимир Семенович, прошли по каютам, посмотрели, все ли готово на случай боя... И потом вот еще что: пожалуйста, проверьте от моего имени, чтобы матросы переоделись во все чистое.

— А что, — стараясь не показать своей встревоженности, деланно-равнодушным тоном спросил Кравченко, — а что, Евгений Романович: предстоит что-нибудь серьезное?

И он выжидающе посмотрел на Егорьева. Всегда спокойный и уравновешенный, с мягким украинским юморком, он и сегодня оставался таким — во всяком случае, для постороннего глаза: невозмутимым, чуточку ленивым, будто происходящее нимало его не тревожит: подумаешь, эка невидаль!

— Горячее дело будет, считаете? — переспросил Кравченко.

Егорьев пожал плечами: он ценил в докторе его выдержку и спокойствие, но даже врачу задавать такие наивные вопросы, право, не к лицу.

Кравченко понял это, смутился, но Егорьеву тут же стало жаль этого доброго человека.

— Где вы разворачиваете главный перевязочный пункт? — спросил он.

— В церковном. Правда, отец Филарет...

Егорьев чуть приметно поморщился.

— Вот и отлично, — остановил он врача. — Санитаров у вас достаточно?

— Опытных четверо, а вообще-то санитарный отряд — двадцать девять человек.

— Маловато, — заметил Егорьев, и, кажется, тут впервые Кравченко понял, что предстоит действительно что-то очень серьезное. Но своей невозмутимости он не изменил даже и теперь. Постояв еще — для приличия — несколько минут на мостике и перебросившись с Егорьевым двумя-тремя фразами, он лениво козырнул и начал неторопливо спускаться с мостика.

Внизу Кравченко подозвал своего помощника, такого же, как и он сам, невозмутимого, флегматичного фельдшера Сашу Улласа.

— Давайте-ка, Сашенька, заглянем в каюты.

Молчаливый Уллас вразвалочку зашагал вслед за Кравченко.

Впрочем, можно было и не проверять: в каждой каюте на койке уже лежало запасное чистое белье, полотенце, в тазах поплескивала налитая на всякий случай вода. Это вещественное, молчаливое напоминание о предстоящем бое невольно заставило доктора Кравченко задуматься. Признаться по совести, он ожидал, что при первом же столкновении с противником — и это вполне естественно — на корабле появится ну, если не паника, то уж наверняка растерянность, скрытая боязнь; смерть рядом, не шутка. А тут матросы смеются, беззаботно подтрунивают друг над другом, так, словно до предстоящего боя им и дела никакого нет и словно происходит все это где-нибудь в Петербурге или в Ревеле, а не на самом краю света, в далеком океане, под носом у неприятеля.

Кто-то ворчит: брали бритву — значит, надо на место класть; кто-то вслух мечтает: вернемся в Питер —

всё, держись, девчонки, герои шагают; кто-то неумело, по-мужски, крупными стежками зашивает тельняшку, мурлыча под нос немудрящую песенку про то, как пошла девица в лес по ягоды и какой грех с нею приключился...

Все мирно, спокойно, буднично — может быть, слишком спокойно для такой решающей минуты.

«И ведь вот что интересно, — с уважением подумал Кравченко, — идет все это не от бессмысленной рисовки — ее доктор ни в ком терпеть не мог! — а от большой, спокойной внутренней силы». Впоследствии, работая над записками, которые были затем изданы отдельной книгой, он не раз возвращался к этой мысли *.

— Эх, братцы, пропустим сейчас по чарочке! — шутливо-мечтательно произнес чей-то голос.

— Как же, держи карман шире! Небось, не у тещи на именинах: приказано обедать без чарки.

— Оно, может, и к лучшему, — покладисто согласился матрос, мечтавший об «адмиральской чарке». — Жив останусь — после боя сразу две получу. А помру — ты, Никита, за меня выпей. Не откажешься?

— Это можно.

Обед был прерван сигналом тревоги. Палуба загудела от топота десятков ног, комендоры почти на бегу сорвали чехлы с приборов, крутнули начищенные до блеска медные штурвалы и доложили о готовности к бою; быстро и без суеты заняла свои места прислуга подачи.

Все замерли в ожидании.

Японские броненосцы и крейсера показались в одной кильватерной колонне. Сначала их возникло из тумана четыре, потом еще столько же, потом еще три; они шли, по-утиному переваливаясь с борта на борт, огромные, молчаливые, ощерившиеся всеми своими орудиями.

Впереди колонны — флагманом шел эскадренный броненосец «Микаса», колосс в пятнадцать с половиной тысяч тонн водоизмещения.

Несколько поодаль от него, строго соблюдая дистанцию, следовали броненосцы: «Чин-Иен», «Фудзи», «Сикисима», «Фусо» и «Асахи»; еще дальше угадывались

* В. Кравченко «Через три океана». СПб., 1910.

по скраденным за туманом очертаниям два больших броненосных крейсера.

Евдоким Копотей даже присвистнул от изумления.

— Ну, теперь будет дело! — нараспев безбоязненно произнес он. — Микадо, кажись, не поскупился. Все, что было у него, собрал нас встречать.

Сблизившись с кораблями русской эскадры на дистанцию, достаточную для открытия артиллерийского огня, суда неприятеля пошли почти параллельно курсу эскадры.

С флагманского броненосца «Суворов» передали приказ: правой колонне перестроиться в строй пеленга, и крейсера начали постепенно отворачивать в сторону, так что вскоре «Ослябя», шедший в середине колонны, оказался фактически головным кораблем, а «Суворов» с тремя броненосцами как бы выпал из строя, отходя к востоку.

Первый выстрел сделал «Суворов».

Дорош машинально поднес часы к глазам. Он вспомнил, что забыл утром завести их, но, как ни странно, они еще шли. Было без одиннадцати минут два.

Почти в ту же минуту, сотрясая воздух до горизонта, ожесточенно рывкнули орудия японских броненосцев, снаряды взметнули высокие фонтаны воды возле «Нахимова» и «Осляби».

«Суворов» тем временем все еще вдвигался, входил в строй кораблей, но входил как-то медленно, непростительно медленно, и японцы сразу заметили это. Стволы орудий на японских броненосцах подались в его сторону, нащупывая борт «Суворова». Еще мгновение — и вся неприятельская эскадра сосредоточила огонь на этом броненосце. Вода возле него закипела, заклокотала от бесчисленных всплесков; зелено-голубые столбы ее то взметались вверх, чуть не до низких, стремительных серых туч, то оседали вниз, разбрызгивая пену; а орудия все били и били, и в этом сплошном, прижимающем к палубе грохоте невозможно было разобрать — отвечают русские корабли или еще молчат?

Даже не искушенный в военной тактике человек мог бы понять, что японцы сейчас, идя на пересечение курса русской эскадры, хотят одного: заставить русские броненосцы уклониться вправо, непременно вправо! —

тогда строй кораблей будет нарушен, а расчлененные, разрозненные, они были бы японцам уже не так страшны своим массивным огнем.

И они все усиливали и усиливали огонь по «Суворову», осуществляя в то же время свой маневр.

В течение короткого времени — а сколько его прошло, никто, кажется, уже не мог определить — на «Суворове» были сбиты обе мачты, снесена задняя труба, все задние мостики и шканечные надстройки. Затем снаряд попал в переднюю трубу, она накренилась и рухнула на палубу, и тотчас весь корабль, от носа до кормы, заволочло густым черным дымом. В носовой части, там, где смутно угадывалась боевая рубка, сквозь дым пробились высокие багровые языки пламени, нервно дрожавшие на ветру.

Мичман Терентин, которому Егорьев приказал находиться поблизости от него на случай каких-нибудь срочных распоряжений, до боли стиснул зубы:

— Что же это?.. Да что ж это такое! — исступленно бормотал он. — Ведь это расстрел, а не бой!..

В это время снова заговорила артиллерия «Суворова». Это было страшное, но величественное зрелище: ураганный огонь с почти затонувшего, но все еще живого корабля.

Да, броненосец жил!

Внезапно сигнальщик крикнул сверху:

— «Ослябя» тонет!

Мичман молниеносно перенес бинокль в сторону «Осляби», но было уже поздно. На том самом месте, где всего лишь несколько минут назад находился могучий красавец-корабль, по воде расходились широкие круги, образуя в центре бурлящую, страшную черную воронку.

С «Ослябей» было все кончено.

В детстве Андрюша Терентин любил играть в «морской бой». Отец-адмирал принес ему десятка полтора крохотных деревянных суденышек, сделанных руками какого-то матроса-умельца, и вдвоем с отцом в пруду, что был выкопан посреди сада, неподалеку от их загородного дома, они разыгрывали настоящие морские баталии. Суденышки летели навстречу друг другу, сталкивались, шли ко дну, но через минуту, легкие и увертливые, всплывали снова.

«Ослябя» не всплывет...

Мичман снял фуражку и, обернувшись, взглянул на палубу «Авроры»: офицеры и матросы молча обнажили головы.

Приблизительно до двух часов дня русские крейсера активного участия в бое не принимали. Охраняя фланги эскадры, они курсировали милях, должно быть, в трех от броненосцев.

Но вот в начале третьего часа с правой стороны острова, что виднелся невдалеке, зубчатого, похожего на древнюю хмурую крепость, показался еще один японский крейсер. В то время как эскадра была увлечена боем с основными силами противника, крейсер, не замеченный никем, подкрадывался к плохо защищенным русским транспортам. По-лисьи он подбирался к ним сбоку; еще минута — и его орудия обрушили бы на транспорты десятки своих снарядов.

— Ваше благородие! — исступленно крикнул Евдоким Копотей Дорошу. — Транспорта!..

Но лейтенант уже и сам понял опасность, грозящую им.

— Всем плутонгом!.. — забывая требующиеся в этом случае уставные слова команды, охрипшим, чужим голосом крикнул он. — По крейсеру... Огонь!..

Аким Кривоносов едва успевал наводить орудие на цель; замковый Листовский неведомо откуда взявшимся у него басом то и дело оглушающе выкрикивал: «Товось!»; тело орудия откатывалось, устремлялось вперед и снова откатывалось, посылая снаряд за снарядом. Почти оглохший от гула и рева Кривоносов не слышал выстрелов соседних орудий, и только мгновениями каким-то боковым зрением ловил вспышки пламени слева и справа. Из сорока орудий «Авроры» по крайней мере двадцать били сейчас по японскому крейсеру.

К огню «Авроры» присоединилась артиллерия крейсера «Владимир Мономах», и японский корабль, затянутый дымом пожара, возникшего на его палубе, поспешил снова отойти за остров.

— Уф, кажется, наша взяла! — облегченно вздохнул Дорош, не замечая, что он фуражкой, которую только что снял, вытирает лицо. — Что-то будет впереди?..

А впереди было вот что.
Из-за острова, в небольшом расстоянии друг от

друга, выходили два отряда японских крейсеров: в одном было четыре, в другом — пять кораблей. Угрожающими были стволы их орудий, нащупывавшие борта русских почти невооруженных транспортов.

На «Олеге», который неотступно следовал за «Авророй», взлетел сигнал:

— Внимание! Девять кораблей неприятеля!..

Расстояние между неприятельскими крейсерами и «Авророй» сокращалось с каждой минутой.

Выход был один: заслонить транспорты собой и принять на себя весь огонь.

Отсюда, с кормы, Дорош, конечно, не мог видеть, как Егорьев вдруг широко распахнул дверь боевой рубки, снял фуражку и, шагнув вперед, зычно, на всю палубу выкрикнул:

— Матросы! Будем драться до последнего...

Но по каким-то совершенно неуловимым признакам — по той ли минуте тишины, которая вдруг наступила на корабле, среди этого невыносимого грохота и гула, или по той суровой подтянутости, с которой матросы вновь взялись за свои дела, или, может быть, по каким-то еще, ему самому неведомым приметам — он безошибочно определил: вот оно, приближается самое главное!..

— Братцы, слушай меня!.. — выкрикнул он, но не успел закончить: почти одновременный залп со всех девяти японских кораблей заглушил его слова.

Огонь оказался метким: весь правый борт «Авроры» был в одно мгновение изрешечен осколками; снаряд, попавший в борт возле носа корабля, разворотил обшивку, на шкафуте вспыхнул пожар. Кто-то упал, кто-то вскрикнул, кто-то протяжно застонал.

Дорош — он уже не слышал собственного голоса — автоматически подавал команду за командой, и орудия плутонга били, били, били...

Лишь иногда, всего вероятнее сознанием, чем слухом, Дорош улавливал грохот на носу и вдоль бортов и тогда удовлетворенно улыбался: значит, и на других плутонгах все в порядке! Нич-чего, «Аврора» себя еще покажет!..

Он бросил взгляд на Копотея, который стоял к нему ближе других: матрос был сурово сосредоточен, от на-

пряжения закусил нижнюю губу, а скуластое, рябоватое лицо его казалось каким-то просветленным.

Вдруг Дорош заметил бегущего, будто обезумевшего от ужаса лейтенанта Старка: он был в расстегнутом кителе, ветер трепал его рыжеватые волосы.

— Кравченко!.. Где Кравченко? — исступленно кричал Старк на бегу. — Кто знает, где Кравченко?

«Да зачем ему быть здесь, на корме?» — недоуменно подумал Дорош, но Старк, видимо, и сам наконец сообразил, что ищет доктора не там, где нужно.

— Что случилось? — выкрикнул Дорош. — Для чего вам Кравченко?

Старк на мгновение остановился; было похоже, он не узнает Дороша.

— Командир убит!

«Какой командир?» — не сразу понял Дорош, и только через минуту до него дошло: Егорьев.

«Быть не может! — почему-то спокойно подумал Дорош. — Ошибка какая-нибудь...»

И уже через мгновение он забыл и о Старке, и о страшном известии, которое тот принес. Он весь сосредоточился на одном, продолжая подавать команды; и плутонг вел непрерывный огонь, и в эти минуты, ему, Дорошу, не было дела ни до кого и ни до чего: он просто не думал об этом.

Но вот уголком глаза Дорош увидел, как на палубе два санитары несли куда-то человека, залитого кровью. Рука его свисала с носилок и безжизненно покачивалась в такт медленным шагам.

Сзади шел третий санитар, маленький, низенький — его можно было принять за мальчишку. В руках он держал фуражку, неся ее так бережно, будто она была хрупкой или невесомой.

Человека на носилках Дорош не узнал, а фуражку узнал сразу: один командир крейсера носил такую — с высокой тульей и «нахимовским» козырьком; офицеры еще посмеивались, бывало, над этой его странной любовью к устаревшему фасону.

— Значит... правда, — беззвучно, одними губами произнес Дорош, и ему стало страшно: а как же «Аврора»?...

Огонь японских кораблей, между тем, становился все точнее. Если бы откуда-нибудь сбоку поглядеть сейчас

на то, как поднимаются около «Авроры» почти непрерывные, один за другим, высокие и шипящие столбы воды то справа, то слева от корабля, можно было бы понять, что неприятель берет «Аврору» в плотное кольцо огня: еще несколько таких пристрелочных залпов — и вся артиллерия перейдет на поражение, и тогда уже крейсеру из этого мертвого кольца не вырваться, не уйти...

В какую-то минуту Дорош скорее почувствовал, чем понял, что кормовое орудие на его плутонге умолкло. Он бросился туда. На палубе, возле орудия, никого из прислуги не было. Свернувшись как-то странно, калачиком, прижав руку к груди, лежал комендор Аким Кривоносов.

— Кривоносов! — испуганно выкрикнул Дорош, но тот не отозвался. Широко раскрытые глаза его были замутнены нестерпимой болью. Он закусил губу, чтобы не стонать. Богатырь, он выглядел сейчас совсем маленьким, беспомощным. Бескозырка его откатилась в сторону и валялась около самого борта.

Подошли санитары, молча уложили Кривоносова на носилки — он так и не вскрикнул.

А Дорош все стоял и растерянно смотрел им вслед, не понимая, что с ним и почему его охватило какое-то странное, тупое и тяжелое оцепенение...

«Еще волной унесет», — подумал он наконец и поднял бескозырку, недоуменно вертя ее в руках: к чему она, куда ее деть?..

Г Л А В А 16

1.

Теперь уже не в далеком Порт-Артуре, а здесь, во Владивостоке, с нетерпением ожидали прихода эскадры Рождественского.

Город, широким амфитеатром раскинувшийся над бухтой Золотой Рог, обычно веселый, пестрый, многоголосый, в эти дни выглядел сурово.

По-прежнему гудели, словно улей, кварталы «миллионки», где маленькие, вросшие в землю хижины и фанзы жались друг к другу и дым бесчисленных китайских харчевен смешивался с острыми и резкими за-

пахами восточной снеди; по-прежнему шла бойкая — от рассвета дотемна — торговля только что выловленной, трепещущей рыбой в тихом уголке бухты — Семеновском ковше; по-прежнему по утрам улицы оглашались пронзительными криками разносчиков ранней зелени, скрипом заставленных бидонами тележек, грохотом армейских повозок с фуражом.

И все-таки было в будничном, привычном облике этого города что-то такое, что настораживало и напоминало о войне, о боях, кипевших где-то совсем неподалеку, рукой подать от Владивостока.

По горбатым, неровным улицам, устремленным в сопки, едва начинало темнеть, расхаживали военные патрули: они останавливали запоздалых прохожих, проверяли документы. На Светланской, на Алеутской, где еще совсем недавно полно было моряков, теперь не часто можно было увидеть в толпе матросскую бескозырку или фуражку офицера; разве лишь иногда рысцой пробежит какой-нибудь матрос со срочным пакетом в штаб да прошагает, чеканя поступь, неторопливый и строгий комендантский наряд. Опустели синематографы, рестораны, притихли прокуренные портовые кабачки.

В вечерние часы, едва солнце скроется за дальними сопками, по ту сторону Амурского залива, город погружался в темноту и тишину, и только время от времени слышен был звон склянок на боевых кораблях, да где-нибудь на окраине, на Первой Речке или на мысе Чуркина перекликались своими басовитыми гудками паровые катера, да грохотали лебедки, да возникала и тут же испуганно умолкала протяжная, без слов, щемяще-грустная песня грузчиков китайцев.

Уходили засветло и возвращались перед самым рассветом корабли, непрерывно курсировавшие за Аскольдом, у Скрыплева, вблизи Русского острова *. Всю ночь с вершин сопки, где неясно темнели стволы крепостных орудий, артиллеристы вглядывались в темную, взлохмаченную морскую даль.

Отдаленный от столицы десятью с лишним тысячами километров город жил искаженными слухами, которые совершали в эти дни несколько необычный круговорот: сначала они шли отсюда в Петербург в виде зашифро-

* Острова на морских подступах к Владивостоку.

ванных штабных донесений, а потом оттуда возвращались по телеграфным проводам — измененными до неузнаваемости.

Телеграф сообщал о каком-то колоссальном японском десанте, якобы высаженном неподалеку от Владивостока, но успешно отраженном доблестными защитниками крепости, о невероятных пожарах, истребивших чуть ли не половину города, о прорыве вражеских кораблей к самой базе Сибирской военной флотилии.

Газета «Далекая окраина» — единственный «светоч цивилизации» в здешних местах, — боясь попасть впропуск, вообще избегала хоть как-нибудь комментировать события войны. Добрую треть страницы занимали в ней огромными буквами набранные сообщения о том, что товариществом «Седанка» выпущено в продажу пиво черное, мюнхенское и баварское; что в ресторане «Одесса» ежедневно играет оркестрион и к услугам посетителей имеется преотличнейший биллиард; перечислялись и подробнейше описывались всевозможные дамские галантерейные товары, полученные торговым домом «Чурин и К°». И только на самой последней странице, да и то мельчайшим шрифтом, газета время от времени отваживалась поведать о событиях на фронте.

Но уйти от правды или скрыть ее было все труднее: эскадре Рождественского, по всем данным, полагалось бы давно уже прийти в Золотой Рог, а ее нет и поныне. И тревога, закрадываясь в сердца, разрасталась с каждым днем.

Десятого мая, во вторник, молодой офицер Всеволод Евгеньевич Егорьев отправился к командиру отряда крейсеров — адмиралу, с которым был знаком еще в Петербурге. Он понимал, что визит этот не сулит ему ничего доброго, что он уже изрядно надоел адмиралу и что тот, как это было при последней их встрече, еще чего доброго раскричится, и все-таки это было лучше, чем вот такое томительное ожидание в полном неведении.

Адъютант у адмирала оказался новый, Егорьева он не знал. Прыщеватый, с девичьей талией и нагловатыми навывкате глазами, он довольно нелюбезно встретил молодого лейтенанта и долго не мог понять цели его прихода.

— Так как же прикажете доложить их высокопре-

восходительству? — в десятый раз переспросил он, насмешливо, в упор разглядывая Егорьева.

— Доложите, что я... — терпеливо начал было Егорьев, но тут обтянутая черной кожей дверь кабинета распахнулась, и на пороге показался сам адмирал, на ходу застегивая перчатки: он куда-то торопился. Еще не старый, высокий и молодцеватый, с седыми висками и заметной сединой в пышных усах, он производил впечатление человека, который умеет ценить свое время и отнюдь не намерен растрачивать его на праздные разговоры.

— А-а, Всеволод Евгеньевич, — радушно, однако с ощутимым холодком произнес он, увидев Егорьева. — С чем пожаловали?

Адъютант за своим столом почтительно вытянулся, насмешливую улыбку, с которой он еще минуту назад глядел на Егорьева, будто ветром сдуло с его лица.

— Ваше высокопревосходительство, — взволнованно воскликнул Егорьев. — Я опять относительно судьбы отцовской «Авроры»... и других кораблей эскадры. Ведь надо ж что-то предпринимать, поймите!.. А мы?

И он безнадежно махнул рукой. Все эти дни он жил ожиданием того, что владивостокские крейсера будут высланы навстречу эскадре Рожественского, чтобы увеличить ее мощность на случай боя, но дни проходили за днями, а приказа о выходе так и не последовало.

Адмирал улыбнулся через силу, страдальчески. «Только то тебя и извиняет, — казалось, говорил его вид, — что тебе двадцать три года от роду, а молодость — она всегда безрассудна и горяча!..»

— Ну и чего ж вы от меня-то хотите? — сдержанно спросил он.

— Вы обещали приказ!..

Адмирал внезапно нахмурился — это было уже дерзостью со стороны лейтенанта; но из уважения к его отцу, старому другу и соплавателю адмирала, он готов сделать вид, что не заметил этой дерзости.

Он подошел к окну, остановился, отодвинул край тяжелой шторы.

— Судьба эскадры меня волнует не меньше, чем вас, — уже совсем сухо произнес он. — Однако я же не теряю самообладания! А вы ко мне все по одному и то-

му же поводу приходите в который — в четвертый или в пятый — раз?

Он говорил отрывисто, не глядя на Егорьева, но когда случайно повернулся в его сторону и увидел, как лицо у того начинает медленно покрываться бледностью, что-то в голосе адмирала дрогнуло.

— Вот те на! — растерянно произнес он. — Да вы, оказывается, нервный человек? Не знал, не знал... Ну, хорошо, будем говорить обо всем откровенно.

Жестом он подозвал Егорьева к окну. Отсюда, из огромного окна второго этажа, была как на ладони видна вся бухта Золотой Рог. Неподвижно, словно огромные прибрежные скалы, возвышались на ней крейсера «Богатырь», «Громобой» и «Россия»; чуть поодаль от них жались к пирсам несколько миноносцев, похожих на серо-черные утюги; юркие буксирные катерки, казавшиеся отсюда совсем крохотными, сновали по спокойной зеленоватой поверхности бухты, оставляя за собой узенькие белые, долго не таявшие змейки вспененных винтами следов.

— Вот видите, — адмирал говорил так, будто вслух рассуждал с самим собою — медленно, глуховато и задумчиво. — Видите, это — все, чем мы сейчас располагаем. Отправить эти — слишком малочисленные! — силы навстречу эскадре? Но это значит — оголить Владивосток. Открыть врагу океанские ворота России. Это было бы на руку разве только неприятелю!

Он выдержал паузу, рывком стянул перчатку с руки.

— Встреча эскадры Рождественского с японским флотом... почти неизбежна. Если она уже не произошла! А мы ничем помочь эскадре не можем. Понимаете — не можем!..

И — уже совершенно глухо — спросил вдруг:

— На моем месте... Какое решение вы приняли бы на моем месте?

— Да, вы, к сожалению, правы, — тихо сказал Егорьев.

Искоса адмирал бросил на него внимательный, быстрый взгляд.

— Впрочем, кое-что все же попытаемся сделать. Послезавтра с утра «Громобой» выйдет в море. Будьте наготове, если, конечно, желаете пойти на нем.

— Благодарю вас, — так же тихо произнес Егорьев. Адмирал не отозвался. Он продолжал смотреть в окно, на корабли.

— Слабы мы пока здесь, на востоке... Слабы. А ведь Россия — испокон веков держава океанская!..

И молча, едва только кивнув Егорьеву, пошел к выходу.

В самом деле, через день крейсер «Громобой» покинул на рассвете бухту, чтобы совершить разведывательную вылазку в сторону Цугарского * пролива. Он шел, окруженный миноносцами, легко вспарывая форштевнем свинцово-серую гладь моря. Видимость была неплохая, да на мачтах крейсера к тому же были приспособлены для расширения горизонта наблюдателей специальные привязные баллоны; однако ни одного корабля за весь день так и не было обнаружено — ни своего, ни вражеского.

Со смутным, все усиливавшимся чувством тревоги Всеволод Евгеньевич ожидал хоть каких-нибудь известий об эскадре, об «Авроре», об отце.

А их все не было и не было.

Дома, в тесной своей квартирке, выходящей окнами на Амурский залив, который то полыхал голубым пламенем по утрам, то горел пурпуром на вечерних майских зорях, Всеволод Евгеньевич не находил себе места. Он вышагивал из угла в угол, снова возвращался к письменному столу, где в дубовой полированной рамке стояла особенно дорогая ему фотография. Отец запечатлен на ней рядом с инженером Крыловым ** на мостике «Океана»; оба — в солнечном свете и оба чему-то улыбаются...

Он подолгу рассматривал эту фотографию — единственное, что осталось в память о последней встрече с отцом здесь, во Владивостоке, когда «Океан», совершая кругосветное плавание, заходил сюда на несколько дней. Они тогда и наговориться-то вволю не успели, хотя и просиживали рядышком ночи напролет.

Потом он доставал пачку отцовских писем, перевязанную тесемкой: их было много, отец писал почти из

* Сангарского.

** А. Н. Крылов (1863—1945), впоследствии академик, выдающийся ученый-кораблестроитель, один из друзей Е. Р. Егорьева.

каждого порта, в который хоть ненадолго заходила эскадра Рождественского.

Последнее письмо было из Шанхая; в Шанхай эскадра так и не зашла, но письма были направлены туда с оказией.

Он читал, почти не заглядывая в письмо, потому что каждая строка уже давно и напрочно отложилась в памяти: «...Ужасно хотелось бы знать, как поживаешь ты, что делается во Владивостоке. Если мы придем туда, не разбив японского флота, то, пожалуй, обременим Владивосток: нас ведь около двенадцати тысяч человек; обмундирования давно не получали, провизия на эскадре — на исходе... Что ж, будем надеяться увидеть друг друга!..»

В письме не все названо своими именами, но было ясно: отец ни на минуту не сомневался в бессмысленности посылки эскадры сюда, в Тихий океан. Кто-кто, а уж он-то, офицер зрелый и опытный, превосходно понимал, что этим войну не выиграешь, когда она проиграна еще задолго до своего начала. «Экзему не припудряют, — писал он недвусмысленно, — экзему лечат!..»

Всеволод Егорьев подходил к окну, нетерпеливым движением распахивал настежь его скрипучие створки, в лицо ударяло свежим, иодистым запахом водорослей, ветер доносил мерный и гулкий рокот волн, где-то там, за заливом, за островами, был открытый, необъятный морской простор и там решалась сейчас судьба русского флота, судьба ненужной и нелепой войны...

2.

Это уж потом, в точном соответствии с инструкциями, заранее и подробно разработанными в тиши кабинетов бесстрастными штабными чиновниками, бой был расчленен на три этапа, и описание каждого из них было снабжено тщательно вычерченными схемами, на которых крохотные утюжки, выстроившись в цепочку, изображали собой расположение сил одной стороны, и такие же утюжки, но разбросанные по бумаге несколько иначе, — силы другой стороны.

А сейчас все выглядело хаотическим, чудовищным смешением всплесков за бортом, вспышек пламени, человеческих отчаянных криков и невыносимого скреже-

та стали, которая вырывалась из плена сковывавших ее заклепок...

Кто-то что-то делал, кто-то что-то приказывал, а кто и что — понять, кажется, было невозможно.

С того самого момента, когда на «Авроре» прозвучал сигнал боевой тревоги, привычный морякам еще с учебных дней, все как будто сместилось и перемешалось.

Уже ни на «Авроре», ни на «Олеге», кажется, и живого места не оставалось — так все было изрешечено осколками неприятельских снарядов — а поединок двух крейсеров с девятью японскими кораблями все не прекращался. Лишь к исходу третьего часа пополудни японские корабли немного подались в сторону, ослабив орудийный огонь.

Теперь «Аврора» металась с сумасшедшей скоростью по огромному морскому пространству, оберегая неприкрытые фланги эскадры. Возле нее, в точности копируя ее замысловатые маневры, с такой же невероятной скоростью неотступно следовал крейсер «Олег».

Неожиданно она остановилась, покачалась на крутой волне, будто сдерживая порыв, устремляющий ее вперед, и вдруг как-то странно, волчком, завертелась на месте. Со стороны, наверное, это показалось настолько непонятным и нелепым, — огромный корабль, вращающийся с легкостью жироскопа, — что японцы на мгновение даже прекратили стрельбу.

— Что случилось? Черт вас возьми, что случилось? — иступленно закричал выбежавший из рубки Небольсин, поправляя на бегу сползавшую на лоб марлевую повязку.

Офицеры, не успев ничего сообразить, недоуменно, переглядывались.

Первым опомнился старшина электроминной части Андрей Подлесный. Тихий и неприметный до сих пор, чуточку ленивый и неповоротливый на учениях, — такой спокойный увалень, которому все нипочем, — он в бою словно преобразился.

— Броневой кабель перебит! — выкрикнул он.

— Так какого же черта ты стоишь! — зло выругался Небольсин, но Подлесный, уже не ожидая приказа, бросился исправлять повреждение.

Кабель оказался перебитым возле боевой рубки, и

лишенная электрического управления рулем «Аврора» стала хорошей мишенью для японцев. Снова загремели, загрохотали их орудия, осколки разлетались возле самой рубки, но Подлесный, казалось, вовсе не обращал на них внимания.

А неожиданностям на корабле не было конца.

Сквозь рев канонады и скрежет осколков Небольсин вдруг услышал чей-то отчаянный, нечеловеческий вопль:

— То-о-нем!..

По палубе, выскочив из своей каюты, метался ошалевший от ужаса отец Филарет.

Крейсер действительно несколько накренился на нос, — там образовалась довольно большая пробоина, — но уже вскоре начал выравниваться: матросы успели подвести пластырь.

— Пойдите объясните батюшке, что так кричать... неприлично, — сквозь зубы процедил Небольсин, обращаясь к стоявшему позади него непривычно молчаливому мичману Терентину.

...Сколько же длилось это оцепенение?

Дорош все еще стоял, вертя в руках поднятую с палубы бескозырку.

Внезапно он тряхнул головой и тут же вспомнил: орудие продолжает молчать!

— Зиндеев! — крикнул он.

— Я тут, ваше благородие.

Оказывается, Зиндеев все время стоял позади него.

— Куда, к черту, весь расчет подевался?

— Пораненные, ваше благородие...

— Наводчиком можешь?

— Никак нет, не обучен... Только замковым.

— Становись!..

— Эх, ваше благородие! — вздохнул появившийся откуда-то сбоку Евдоким Копотей. — Кривоносова в лазарет понесли, видели? Какого комендора лишились!

— Становись, Копотей! — вместо ответа приказал Дорош. — Будем стрелять!

Но тут он увидел, как по трапу поднимаются два матроса из расчета подачи: вероятно, их спасло то, что в момент, когда разорвался снаряд, они находились внизу.

— Есть подача! — воскликнул Дорош. — Зиндеев, становись им в помощь на подачу... Зиндеев, ты здесь? Зиндеев молчал.

Дорош оглянулся и увидел, как Зиндеев старательно перевязывает себе левую руку у локтя: сквозь бинт проступала кровь. Залито кровью было и плечо.

— А-а, черт! — выругался Дорош и поискал глазами: кто же может заменить Зиндеева?

— Я готов, ваше благородие! — спокойно доложил тот.

— Да, ты что, с ума сошел? Марш на перевязку! Но Зиндеев отрицательно мотнул головой.

За бортом, возле самой кормы, разорвался еще один снаряд, дико скрежетнула сталь. Копотей схватился за плечо.

— Что, и тебя?.. — испуганно воскликнул Дорош.

— Зацепило маленько, — через силу, будто виновато улыбнулся Копотей. — Ну-ка, Зиндеев, полезь ко мне в карман, там корпия должна быть...

И он снова улыбнулся Дорошу виновато и растерянно.

— Я сейчас, в один момент перевяжусь, ваше благородие.

А орудие все молчало.

Прибежал встревоженный лейтенант Лосев. Фуражка у него была сбита на затылок, скуластое широкое лицо покрыто мелкими капельками пота. Он на ходу затягивал зубами узелок бинта на левой руке.

— Что у вас тут происходит? — хрипло спросил он, сдерживая дыхание. — Почему молчит орудие?

Дорош без слов, глазами показал на пятна крови, не успевшие засохнуть на палубной, сырой от тумана, металлической глади.

— Пон-нятно! — досадливо произнес Лосев. — Но ты, Алексей, все-таки что-нибудь... изобрети. Сейчас очень нужно!

Дорош молча кивнул: ясно.

И вот тогда-то снизу, отсчитывая ступеньку за ступенькой, все восемь железных ступеней, по трапу начали подниматься оставшиеся в живых матросы шестого плутонга. Они были наспех перебинтованы, некоторые из них ступали неуверенно, будто слепые, но все-таки шли.



— Добро! — обрадованно воскликнул лейтенант. — Значит, еще повоюем!..

И орудие снова заговорило. Матросы по двое подносили ставшие вдруг тяжелыми сорокакилограммовые стальные снаряды и зарядовые гильзы к ним, похожие на огромные папиросы с золочеными мундштуками. Дорош, став сам вместо замкового, рывком подавал на себя изогнутую рукоятку замка, выкрикивал «То-овсь!» и дергал за спуск.

Он окончательно потерял счет времени: сколько прошло — секунда, минута, вечность?

Он видел перед собой только широкий зев казенника, открывавшийся через одинаковые промежутки времени, и словно закоптившуюся, тусклую резьбу в нем, и мелькание бронзовых гильз, и мужские руки — одни, вторые, третьи! — привычно и ловко делавшие свое дело...

Орудие стреляло!

Один из матросов бережно отодвинул лейтенанта плечом:

— Отдохните в сторонке, ваше благородие. Мы тут и сами управимся...

И Дорош послушно отошел в сторону. Он почувствовал, что вот-вот свалится от усталости — так, словно только что закончил огромную, изнуряющую работу. Да это и была работа: тяжелая, однообразная, но нужная именно в эту минуту! И Дорош понимал это, и глаза его радостно сияли, и гордой радостью было озарено все его лицо: орудие стреляло!

...Как ни пытался потом Степа Голубь более или менее связно вспомнить, что же произошло в те страшные минуты, ничего не получалось. Воспоминания распались на какие-то отдельные короткие картины, плохо соединенные между собой. Они упрямо нагромождались друг на друга, а в промежутках между ними не было ничего — только усталость, страшная, нечеловеческая, валящая с ног усталость...

Он помнит, как разорвался на корме снаряд: осколки завизжали по палубе так, будто кто-то быстро и часто проводил гвоздем по стеклу: вз-з-з...

И почти тотчас неподалеку от кормового орудия, там, где были сложены приготовленные прислугой подачи зарядовые гильзы, вспыхнуло стремительное трепещущее пламя.

Оно было невелико — несколько робких, неуверенных желто-оранжевых язычков, взметнувшихся кверху, но уже через мгновение пламя разрослось, вспыхнули и дружным сухим треском затрещали деревянные стеллажи, на которых были уложены гильзы, еще минута-другая — и чудовищной силы взрыв сотрясет «Аврору»...

Как это часто случается, люди не сразу поняли всего значения происшедшего. Матросы растерянно переглядывались: что делать? — Гасить пламя? А чем? Инструкции, затверженные в мирные дни, как-то сами собой вылетели из головы.

А оно подползало все ближе, это страшное пламя, и теперь судьба корабля измерялась минутами, нет, меньше — долями минуты!

Опасность взрыва была так близка, что Степа в ужасе зажмурился, прислушиваясь к биению собственного сердца. А когда он открыл глаза — увидел: Евдо-

ким Копотей сбрасывает заряды за борт и пламя высокими колеблющимися языками пляшет вокруг него.

Степа растерялся: да он что, с ума сошел? — ведь это же верная смерть!..

А Евдоким работал молча, быстро, он то исчезал в пламени, то поднимался снова, и багровые отсветы оза-ряли его лицо.

— Сгоришь! — отчаянно дрожащим, почти детским голосом крикнул Степа Голубь. — Евдоким, голубчик, сгоришь!..

Но Копотей, кажется, не слышал его; он продолжал наклоняться к стеллажам, и зарядовые гильзы летели за борт одна за другой. Невысокий, совсем не богатырского телосложения, какой-то домашний, простой, стоял он среди этого дрожащего пламени и спокойно, может быть, даже слишком спокойно, расчетливо и хладнокровно занимался своим страшным делом. Одна рука была у него перевязана, и из белого бинт уже успел превратиться в грязно-черный; пламя ползло по матросской форменке; вот оно лизнуло воротник, вот перекинулось к волосам Копотея — и они как-то странно, все разом начали дымиться...

Степа застонал.

Со свистом, так, что Голубь пригнулся, пролетел над головой осколок, и в то же мгновение Копотей, взмахнув рукой, рухнул в самую середину огня. Кто-то вскрикнул отчаянным, срывающимся голосом:

— Ко-по-тей!..

На этом и обрываются более или менее связные воспоминания Степы Голубя.

Дорош не раз впоследствии задумывался: какая нечеловеческая сила подняла этого маленького, тщедушного синеглазого матросика? В два прыжка Голубь подскочил к горящим кранцам и бросился в огонь. Пламя мгновенно охватило и его волосы, на Степе тоже задымилась одежда, но он уже ничего не чувствовал, не помнил — он знал только одно: надо спасти, во что бы то ни стало спасти Копотея!

О том, что он может погибнуть сам, Степе думать было просто некогда: на ощупь он отыскал на палубе Копотея и рывком взвалил его себе на спину.

Так и дошел он до лазарета — в дымящейся одежде, с обожженным другом на спине...

К месту пожара спешили матросы, посланные Небольсиным.

Дорош стоял у орудия — задымленный, со следами копоты на лице.

Пошатываясь, он отошел несколько шагов назад:

— Плутонг, слушать мою команду!..

Неизменный Зиндеев молча остановился возле него.

— Я кому сказал: в лазарет! — сквозь стиснутые зубы крикнул ему Дорош.

— Но, ваше благородие...

— Застрелю! Марш в лазарет!..

Зиндеев нехотя пошел к трапу.

Орудия шестого плутонга продолжали вести огонь. За три часа непрерывного, неослабевающего огня они так нагрелись, что патронные гильзы после выстрела уже не вылезали из казенников, и приходилось то и дело пользоваться ручным экстрактором.

Японские корабли появились снова — их было по-прежнему девять, и они, еще не приблизившись к «Авроре» и «Олегу», с хода открыли интенсивную стрельбу.

Орудия крейсера переносили огонь с одной цели на другую, и гул артиллерийских залпов, сливаясь воедино, уже давно превратился в сплошной неразделимый рев.

«Владимир Мономах» вступил в кильватер «Авроре» и присоединился к ее огню.

Медленно, будто нехотя, японские корабли начали разворачиваться и опять отходить за прикрытие туманного острова.

Дорош на мгновение отвернулся от орудий и бросил взгляд на море. Оно кипело, клочотало, бурлило от снарядов; кораблей — до самого горизонта — было столько, что даже приблизительное их число невозможно было бы определить: должно быть, японцы вводили в бой все новые и новые силы.

Слева, в стороне от курса русских броненосцев, виднелся силуэт какого-то странного, очень большого корабля без мачт и без труб. На корабле полыхал поминутно разраставшийся пожар.

Это был броненосец «Суворов». Израненный, давно утративший свои прежние гордые и грозные очертания, лишенный управления, охваченный пламенем многочис-

ленных пожаров, он все-таки еще упорно держался на плаву, и другие русские броненосцы прикрывали его от неприятеля, как прикрывают в стае раненого вожака.

Лишь в пятом часу дня «Суворову» удалось справиться с пожарами и повреждениями, рулевое управление было кое-как налажено, и он снова занял место в строю кораблей, на этот раз концевым.

На глазах у авроровцев затонул буксир «Русь», пошел ко дну крейсер «Урал»...

В боевой рубке «Авроры» нервничал Небольсин. Он то и дело поправлял сползавшую на глаза повязку, покрикивал на сигнальщиков, если те хоть на секунду медлили с докладом, бросал Терентину короткие, отрывистые распоряжения и снова брался за бинокль, в котором не было нужды: в этом водовороте всплесков, ослепительном сверкании орудийных вспышек, в черном густом дыму, прижимавшемся к самой воде, все равно ничего разобрать было невозможно.

На миноносце «Буйном», который отвалил от «Суворова» и стал медленно отходить в сторону, взвился сигнал: «Адмирал передает командование Небогатову», и только тогда Небольсин разглядел, что «Буйный» уходит, сопровождаемый неприятельскими миноносцами.

Карьера Рождественского была окончена.

В седьмому часу, незадолго до захода солнца, по всему горизонту начали возникать силуэты японских миноносцев. Поддерживаемые крейсерами, они собирались в группы по четыре-пять штук и начали охватывать русскую эскадру плотным кольцом: адмирал Того готовил последний, завершающий удар.

В это время на «Бородино», который после выхода «Суворова» стал головным кораблем, до самых туч поднялось пламя. Впечатление было такое, что корабль весь, от носа до кормы, охвачен огнем; и, может быть, поэтому казалось непонятным, странным то, что броненосец все еще продолжал отстреливаться. Уже черный густой дым затянул его, сделав почти невидимым, уже он начал валиться на борт, а орудия его еще не умолкали!

В какое-то мгновение громадный корабль, будто был он игрушечным, вдруг перевернулся и скрылся под водой.

Небольсин дрожащей, неверной рукой полез в карман за платком...

Уцелевшие русские броненосцы повернули «все вдруг» на зюйд и, все еще пытаюсь сохранить строй, начали отходить к востоку.

...Тишина наступила внезапно.

Нет, это еще не была тишина, но уже не стучали по палубе осколки, не вздымались грузные всплески за бортом, не урчали снаряды над головой.

Легко, точно не касаясь ступеней, взлетел наверх мичман Терентин.

— Алеша, жив? — радостно бросился он к лейтенанту. — Я у Небольсина на минутку отпросился — посмотреть, как ты тут... Несчастье-то какое, знаешь? Командир убит, все, кто был в рубке, ранены, без исключения: Путятину обе ноги перебило, Яковлева — в плечо, один Аркадий Константинович легкой царапиной отделался... Ну, а у тебя как?

— Сколько сейчас времени? — полузакрыв глаза, тихо спросил Дорош.

— Семь без двадцати. А что?

Так и не ответив Терентину, будто не услышав его вопроса, Дорош постоял минуту, пытаюсь собрать ускользавшие мысли. Он глядел на Терентина и, казалось, не узнавал его.

— Значит, только без двадцати семь? — переспросил он тихо. Словно недоумевая, он пожал вдруг плечами и провел ладонью по лицу.

3.

...Теплые Катины руки осторожно и нежно ласкают Акима. Они гладят его по лицу, по плечам, они трогают лоб и снова спускаются книзу, к груди.

— Ну вот мы и вместе, Катюша. Когда-нибудь я расскажу тебе, как часто я думал об этой встрече. Но это — когда-нибудь, не сейчас. Мне сейчас что-то очень душно. Положи мне снова твою ладонь на лоб. Вот так. Какие у тебя прохладные руки! Знаешь, мой дружок Евдоким Копотей всегда говорил мне, что мы с тобой встретимся. И встретились — правда? погоди, дай я погляжу в твои глаза. Ведь я столько думал о них — о твоих глазах. Но где же ты, Катя?.. Вот придет Митрофан Степанович, обрадуется: а, скажет, Микула Селя-

нинович!.. Почему у вас тут так душно, Катя? Лето? Какое же сейчас лето — мороз на дворе!.. Катя, ты слышишь? Куда ты спряталась? Ваше благородие, господин лейтенант, скажите же ей, чтобы она не пряталась!..

Доктор Кравченко поднимает кверху руки в забрызганных кровью резиновых перчатках и делает знак матросам-санитарам: теперь этого на операционный стол... Так, осторожнее... Саша, давайте фонарь. Да нет, не сюда — светите сбоку. Чертовы осколки, они перебили все провода. Ого, какой богатырь! Это Кривоносов, кажется? Знаю, знаю: приходилось видеть на учениях. Ближе фонарь. Еще ближе. Да ближе, говорят вам!.. Умелыми, чуткими пальцами доктор ощупывает Кривоносова. Ага, понятно: сквозное ранение грудной клетки. Это еще чудо, что он до сих пор не умер от потери крови... Послушайте, Саша, вы русскую речь понимаете: светите сбоку! Вот так, хорошо. Где же это его угораздило? Бросьте чепуху молоть: с пробитой грудью нельзя оставаться целых полчаса у орудия да еще вести огонь. Больно? А здесь? Поня-ятно... Н-да, Сашенька, к сожалению, это тот случай, когда я вынужден сказать: медицина бессильна. Конечно, конечно, его уже можно убрать со стола. Вот туда на койку. Да осторожнее, говорят вам!

...Катя, ты здесь? Не уходи, ладно? Где твои руки? Положи их на лоб. И скажи — пусть откроют окна: очень душно... Вот, погоди, Катюша: дадут отпуск — махнем мы с тобой в Киев! Ты Днепра никогда не видела? Почему ты не слушаешь, Катя? Евдоким, расскажи, как вместе письмо ей сочиняли... Что ж это навалилось? Катюша, помоги мне... Ка-а-тя!..

Доктор Кравченко косится в угол, где на койке мечется в бреду Аким Кривоносов.

— Бедный парень, ему уже ничем нельзя помочь... Уллас, куда вы запропастились? Вон там, в шкафчике, морфин и шприц. Да, разумеется, это не спасение, но боль все-таки станет меньше... Господи боже мой, чему вас только учили, Уллас? Вы же не можете обыкновенного укола сделать. Дайте шприц, я сам. Видите, как это просто? Теперь он, быть может, уснет... Где тут

был пузырь со льдом? Положите ему на грудь... Бедные ребята, в какую мясорубку их бросили!

Аким на минуту открывает глаза, память возвращается к нему.

— Ваше высокоблагородие, по правде скажите... это что же, все?.. Помру я?..

Доктор Кравченко старается не глядеть в огромные, расширенные болью, ищущие глаза комендора.

— Чепуха какая, этакий богатырь, а лезет с дурацкими бабьими вопросами. Ты еще меня переживешь, понял? Вот то-то. И не мешай, пожалуйста, работать. Качает так, что тут ненароком и зарезать можно... У-лас, бестолковый вы человек, за каким чертом вы мне суете щипцы, когда сказано: пилу?.. Что, Кривоносов опять впал в беспамятство? Что ж, может это и к лучшему. У него сейчас дьявольское подчережное давление... Саша, пошлите кого-нибудь наверх, пусть узнают, как там. Мало света, зажгите еще один фонарь. Как скрежещет зубами этот богатырь! Попробуйте, Сашенька, дать ему еще дозу морфина...

Снова Аким открывает глаза, узнает склонившегося над ним друга:

— Это ты, Листовский? Как у нас там, на плутонге? Да что же ты плачешь, чудака-человек?..

В нечеловеческих мучениях, то теряя сознание, то снова приходя в себя, умирал в лазарете комендор Аким Кривоносов.

4.

Небольсин вконец потерял голову, получив предупреждение о возможных минных атаках.

Кое-как, можно сказать чудом, уцелели в этом страшном бою, а тут новая напасть. Он уже прикидывал в уме, нельзя ли как-нибудь прорваться, выскочить из пролива, но везде, до горизонта, все еще виднелись дымки неприятельских кораблей.

— Что будем делать? — поднялся на мостик лейтенант Лосев. — Из всей артиллерии крейсера невредимым осталось одно только 150-миллиметровое орудие, на баке. Сейчас «Аврора» фактически безоружна.

Небольсин поглядел на Лосева. Ему хотелось ответить грубо, по-мужицки: а, черт с нею, с вашей артиллерией, когда все погибло, понимаете — все!.. Теперь бы только выбраться из этого ада, только бы уцелеть, а на остальное наплевать! Честь, достоинство? Вот они, тут, в пучине бездонной, — и честь, и достоинство, и все на свете...

И ему показались смешными, нелепыми его собственные прежние мечты о боевой славе, о подвигах, которыми станет восхищаться весь мир!

Но спокойный Лосев ожидал ответа, и Небольсин поспешно взял себя в руки. Это был снова отчужденно-холодный, невозмутимый человек, но теперь уже — командир корабля.

— Долг и совесть, — произнес он торжественно, долг и совесть не дадут нам уйти отсюда, оставив товарищей в беде...

Почти до полуночи ходила «Аврора» вокруг места недавнего боя; трижды японские миноносцы окружали ее кольцом, и трижды «Аврора» ускользала от их атаки.

Крейсер шел наугад, не видя ничего ни позади, ни впереди себя, и только часа через полтора сигнальщик опознал прямо по курсу знакомые очертания «Олега». Поодаль от него шел «Жемчуг».

Небольсин облегченно вздохнул, у него словно гора с плеч свалилась: на «Олеге» — адмирал Энkvист, ему за все и отвечать, в случае чего...

Корабль, носящий имя утренней зари, уходил в ночь.

Было приказано огней нигде не зажигать, кроме как в офицерской кают-компании, где находился хирургический пункт. Да их все равно и невозможно было бы зажечь: электрическая проводка во многих местах оказалась перебитой уже в первые часы боя.

Люди стонали, ругались и, может быть, умирали в сплошной непроглядной темноте.

Поздно вечером, когда, кажется, последнему из тяжелораненых была оказана помощь, доктор Кравченко, покачиваясь от усталости, снял резиновые перчатки, швырнул их в угол и приказал Саше Улласу взять ручной фонарь и следовать за ним. Вдвоем они отправились в обход по кораблю.

Погруженный в темноту, без единого огонька, крей-

сер казался чужим, незнакомым, и если бы не фонарь, зажженный Улласом, доктор, пожалуй, заплутался бы в судовых помещениях. Он то и дело натыкался на тела раненых моряков.

— Светите, Саша. Светите, вам говорят!..

Раненые лежали повсюду: во всех офицерских, боцманских и кондукторских каютах, в жилой палубе, даже в бане, лежали не только на койках, но и прямо на палубе.

...Одни разметались, раскинув руки, другие, наоборот, согнулись, подтянув колени к подбородку. Усатый пожилой матрос сидел на корточках и, обхватив перебинтованную голову руками, раскачивался, скрежеща зубами. Возле него неподвижно и строго вытянулся на палубе другой матрос, остекленелым взглядом всматриваясь в темное, беззвездное небо.

Доктор перешагивал через тела и время от времени подносил фонарь близко к лицу кого-нибудь из лежащих. Луч желтого мерцающего света выхватывал из темноты затуманенные болью глаза, закушенные губы...

— Ну как: жив, братец?

— Жив, ваше... высокобродие.

— Значит, будешь жить!

И доктор шел дальше. «Бедные, бедные ребята! Сколько же их перекалечило!..» — бормотал он на ходу.

Возле одного из раненых Кравченко задержался: это был тот самый матрос, который, рассказывали, добровольно бросился в пламя и спас корабль от взрыва боеприпаса. Уллас, помогавший под вечер доктору вскрывать вздувшиеся на обожженном теле матроса бесчисленные волдыри, полушепотом спросил:

— Выживет?..

Ожог был смертельный, и надеяться на благополучный исход совершенно не приходилось, но как раз в эту минуту матрос открыл глаза.

— Этот выживет! — бодро сказал Кравченко, делая вид, будто не заметил этого немого взгляда. — Организм крепкий, сдюжит!

— Эх, зачем... вашскородие, обнадеживаете? — нутужно, с хрипом выдавил матрос, и во взгляде его доктор прочел укоризну. — Думаете, я не понимаю, что... это уже все!..

Кравченко смущенно пробормотал что-то и поспеш-

но приказал санитарам осторожненько снять раненого со стола.

Сейчас около обожженного сидел другой матрос — маленький, похожий на подростка-юнгу; он был тоже весь в бинтах, из-под которых кое-где виднелась черная, обуглившаяся кожа.

— Ну что, Евдокимушка?.. Что, родной? — почти неслышно шепотом повторял он; крупные слезы катились по его щекам, но он не замечал их.

— Что ты тут делаешь? — строго спросил Кравченко, поднося фонарь к лицу плачущего.

Тот не отозвался.

Он тоскливо вглядывался в обезображенное ожогами лицо лежащего возле него друга и шептал что-то медленно и беззвучно. Время от времени он поправлял бинты на голове матроса и снова всматривался в его лицо.

— Голубь, господин доктор говорит — в кубрик тебе надо идти, — произнес Уллас.

Голубь отрицательно качнул головой.

— Не троньте, ваше высокоблагородие, — сухо, не глядя на врача, сказал он. — Тут мой друг, Евдоким Копотей... кончается.

Саша Уллас положил ему руку на плечо:

— Слышь, Степа, отдохнуть тебе надо. Ты посмотри на себя: на тебе ж лица нет!.. Не упрямясь, пойдем в кубрик...

Уллас дал знак двум санитарам, стоявшим позади, те бережно взяли Голубя под руки и повели вниз: так водят детей, которые только учатся ходить, или больных, долгие месяцы пролежавших в постели. Но неожиданно Голубь отодвинул их от себя.

— Сам дойду, — спокойным голосом произнес он. — Мне Копотей такие слова сказал, что теперь я... всюду сам дойду!

Из «Исторического журнала крейсера 1 ранга «Аврора»:

«15 (28) мая 1905 г., воскресенье.

С утра занялись приборкой крейсера и приведением в известность выбывших из строя и повреждений. По семафору передали с «Олега»: адмирал Энkvист перенесет свой флаг на «Аврору». Ход постепенно все умень-

шали, идя курсом зюйд-вест 50°. В полдень определили место, так как до этого времени шли по приблизительному счислению за «Олегом».

В 1 час дня застопорили машины. Прибыл на крейсер контр-адмирал Энkvист со своим штабом. В 3 часа дали ход вперед; построились в кильватерную колонну: «Аврора» (контр-адмирал), «Олег» и «Жемчуг».

В четвертом часу начали готовиться к похоронам убитых в бою нижних чинов...»

Г Л А В А 17

1.

Ротмистр Власьев не обманывал Катю, когда говорил, что отец ее совсем заплошал. И хотя девушка старалась убедить себя, что это — ложь, не больше как новый прием следователя, рассчитанный на то, чтобы сломить в конце концов ее упорство, сердце подсказывало ей, что на этот раз Власьев говорит правду.

Как ни мужественно боролся Митрофан Степанович со своим горем, после ареста Кати он и в самом деле как-то поразительно быстро начал хиреть, по-стариковски разваливаться и слабеть. Целыми днями он бесцельно ходил по комнате, временами останавливаясь и мучительно напрягая память: да, так что же он собирался сделать?..

Случалось, что он забывал даже, ел ли что-нибудь в этот день.

Потом Митрофан Степанович и вовсе слег. Сердобольные соседки навещали его, убирали в комнате, готовили старику какую-нибудь пищу, пытались отвлечь его от невеселых дум своими разговорами, но он ко всему оставался безучастным.

Последние грошовые сбережения, которые с таким трудом копили они с Катей к ее свадьбе, сбережения, не тронутые даже в самые трудные дни, когда Катя оставалась безработной, были давно уже израсходованы, и ему теперь все чаще приходилось просить соседа привести перекупщика-татарина. Вещи, которыми и без того не богато было жилье старика, уходили одна за другой, и все-таки Митрофан Степанович жил впроголодь.

Несколько раз, правда, заглядывали сюда девушки — работницы с табачной фабрики; они расспрашивали, нет ли каких вестей о Кате, а уходя, словно невзначай, оставляли на столе два-три рубля, собранные, очевидно, в складчину. Митрофан Степанович обижался, от денег отказывался наотрез и уступил только когда девушки сознались, что собирали их по совету Ильи.

— А он что: бывает у вас? — приподнявшись в постели на острых локтях, спросил у Наташи Митрофан Степанович, и та замялась.

— Да что ты таишься? — обиделся старик. — Я ведь к чему спрашиваю: большое он дело поручил моей Катюше, а теперь оно что ж, выходит — заброшено?

Наташа посветлела.

— Нет, — понизив голос, доверительно сказала она. — Кружок работает.

Митрофан Степанович опустил на подушку.

— Ильи вы держитесь, — сказал он после некоторого молчания. — Это... настоящий человек!

— Илья помог нам провести еще одну стачку, — рассказывала Наташа. — И, знаете, сколько ни жались хозяева, а пришлось-таки им согласиться на прибавку жалованья.

— Уж если Илья взялся за дело, он добьется! — убежденно сказал Митрофан Степанович. Он вдруг вспомнил, как недоверчиво отнесся поначалу к этому однорукому парню, и виновато вздохнул: Катюша-то, оказывается, умела разбираться в людях лучше, чем он, старый человек.

Старик долго медлил, прежде чем решился высказать вслух то, о чем думал все последние дни.

— Как бы мне его хоть разок еще увидеть? — несмело произнес он наконец и был искренне огорчен, когда Наташа ответила, что это невозможно. Ильи сейчас в Петербурге нет, он скрывается от полиции.

— Храни его бог! — негромко сказал Митрофан Степанович, и Наташа невольно улыбнулась: уж очень не вязалось с образом Ильи это набожное пожелание старика.

В середине мая, вскоре после неожиданного посещения ротмистра Власьева (зачем тот приходил, так и осталось непонятным: посидел, расспросил о каких-то пустяках, посочувствовал стариковой бедности и

ушел), Митрофан Степанович почувствовал себя совсем плохо. Сначала он думал, что угорел: соседка готовила обед и, должно быть, слишком рано закрыла заслонку. Но гул в голове и слабость во всем теле не исчезли и после того, как он проветрил комнату, и тогда Митрофан Степанович слег окончательно. Три дня метался он в постели, беспрестанно повторяя имя дочери; три дня поочередно дежурили возле него соседки, к исходу третьих суток он впал в забытие, — лежал маленький, сморщенный, жалко беспомощный.

Умер он перед рассветом, так и не придя в сознание. Соседки обмыли его, обрядили в старенький штопанный костюм.

Никто не оплакивал старого рабочего. Мужья соседок сколотили большой, неуклюжий гроб, в котором старик казался особенно маленьким, почти ребенком, паняли, сложившись по гривеннику, дроги с полуслепой тощей лошадью и на закате дня проводили Митрофана Степановича на кладбище.

Молодая трава пробивалась на кладбище — еще не густая и невысокая, нежная, ярко-зеленая, той особенной свежей чистоты, какая бывает только в первые недели весны; перелетая с креста на крест, ликующе и звонко пела какая-то бесстрашная веселая птица; чуть слышно шелестели деревья; неподвижные кудрявые облака рдели над вершинами деревьев, озаренные закатным багровым солнцем.

Над могилой Митрофана Степановича неизвестно откуда появившийся однорукий парень, имени которого ни соседки, ни их мужья не знали, произнес скорбную и страстную речь.

Он говорил о человеке, который прожил большую, нелегкую, но честную жизнь труженика и за всю жизнь так и не увидел ни одного радостного, сытого дня. Он говорил о тысячах таких же людей, своими руками создающих все, что только есть хорошего на земле. И о том, что настанет время — оно уже не за горами! — когда раскрепощенная родина добрым словом помянет этих безвестных героев — творцов большого человеческого счастья.

— Настанет время! — парень взмахнул рукой с зажатой в кулак фуражкой и отступил на шаг от могилы.

Рабочие молча переглядывались: кто такой, откуда?

И говорит-то как: словно не о чужом человеке, а о самом близком и родном!.. Смелая речь однорукого парня пришлась им по душе. Но спрашивать имя на похоронах не принято, и парень, бросив на гроб первую горсть мягкой глинистой земли, отошел в сторону и как-то не приметно для всех исчез: когда оглянулись, на кладбище его уже не было.

Только девушки-табачницы, которые тоже пришли проводить Катиного отца в последний путь, бросали друг на друга понимающие, заговорщические взгляды.

Расходились с кладбища не торопясь; как всегда бывает в таких случаях, каждый думал о своей собственной жизни и судьбе, о том, как трудна и все-таки прекрасна жизнь.

Весна шагала по Петербургу.

Лопотаньем ручьев, гомоном в птичьих гнездах, какими-то особыми, бодрящими, радостными запахами, детским лепетом и девичьим смехом — всем, таким привычным и таким каждый год новым, она напоминала о своем приходе.

2.

...А в это самое время на другой половине земного шара, на разбитом и искаленном корабле, который продолжал упорно раздвигать морские громоздкие волны, тоже шли приготовления к похоронам.

На палубе «Авроры» матросы обряжали в последний путь своих погибших боевых товарищей. Тела их зашивали в парусиновые койки, к ногам привязывали металлический груз. Запеленутые в парусину, они казались странными: огромные, уложенные в ряд серые куклы...

Даже боцман Герасимчук приумолк, поглядывая на них. Его бледное, худое лицо сделалось сосредоточенным, тонкие брови-стрелочки страдальчески поднялись кверху, сойдясь там посередине лба.

— Хорошие ребята были, — окаяющим тенорком неуверенно, ни к кому не обращаясь, произнес боцман. — Царствие им божие...

И, вздохнув, трижды перекрестился.

Никто не отозвался на его слова, только Степа Голубь повел потемневшим от гнева взглядом в сторону боцмана: «Уж ты бы молчал, — говорил этот взгляд. — Пока живы были, сколько над ними измывался?..»

Боцман трусливо втянул голову в плечи, быстро огляделся по сторонам. Это напряженное молчание матросов, эти ненавидящие, угрюмые взгляды пугали его больше, чем если бы все матросы вдруг набросились на него. Рысцой, не решаясь обернуться назад, поспешил он с палубы, провожаемый гневным и страшным молчанием.

— Шкура! — не утерпев, бросил вслед Степа Голубь, но Листовский тронул его за рукав и молча, глазами показал на тела матросов, еще не зашитые в парусину: брось ты с ним вязаться, будь он проклят! Дружков обряжать надо...

И Голубь, поправив бинт, то и дело сползавший на глаза, послушно пошел за Листовским.

— А командира... когда хоронить будем? — вполголоса спросил он у Листовского.

— Командира, говорят, отдельно, — Листовский вздохнул. — А жалко мне его, знаешь. Строгий был, а... справедливый!

В устах вечно озлобленного Листовского это звучало как высшая похвала: мало в ком за всю свою жизнь встречал он истинную справедливость.

— Да уж не то, что старший офицер.. Или эта шкура боцманская! — Голубь снова сверкнул взглядом.

Отец Филарет, напуганный, побледневший, всем на удивление — трезвый сегодня, бестолково суетился тут же на палубе, подавая свои никому не нужные советы и сокрушенно качая рыжей бороденкой.

— Вот так и живем во грехе, и погибаем во грехе... Суета сует и всяческая токмо суета! — бормочет он. И вдруг набрасывается на одного из матросов: — Не так, братец, делаешь, не так!..

— Отошли бы вы пока, батюшка, — глухо произнес Епифан Листовский. — С этим мы и сами управимся.

— Да-да, — поспешно согласился отец Филарет. — Когда можно будет отпевать, вы меня кликните.

Дорош увидел Небольсина, стоявшего на палубе, — очевидно, капитан второго ранга хотел лично убедиться, как идет подготовка к похоронам, — и подошел к нему.

— Куда, если не секрет, курс держим, Аркадий Константинович?

Тот неопределенно повел плечами:

— Пока вперед. А там будет видно. Адмиралу известнее.

И вдруг с неожиданной резкостью он обернулся к Дорошу:

— Чего вы от меня хотите? Чего вообще все от меня хотят? Я знаю не больше вашего... Я нич-че-го не знаю. Понимаете? Идите обращайтесь к барону Энkvисту!...

Голос его сорвался на высокой, почти визгливой ноте. Дорош изумленно отшатнулся.

— Да что вы, батюшка, Аркадий Константинович! — успокаивающе пробасил сзади доктор Кравченко. — Нешто можно так? Эко, голубчик, у вас нервы расшатались. Беречь себя нужно, беречь...

— Что? — всем корпусом повернулся к нему Небольсин и в упор, непонимающе посмотрел на доктора остановившимися навывкате серыми глазами. — Что вы сказали?

— Беречь, говорю, себя надобно. Гляньте, как извели себя...

— Ах, да — беречь. Совершенно верно. Беречь...

Щеки у Небольсина конвульсивно подергиваются, он еще несколько минут, словно собираясь с мыслями, глядит на Кравченко, потом поворачивается и быстрыми, крупными шагами уходит к себе в каюту.

— Ка-ак его разобрало! — сочувственно покачивает головой Кравченко. — Ох, война, война... Скольких она уже надломила!.. Вы-то как: держитесь еще?

И похлопывает Дороша по плечу:

— Надо держаться! Самое страшное уже позади...

Дорош, все еще не сообразив, что же произошло, стоит неподвижно, с удивлением глядя то на Кравченко, то вслед уходящему Небольсину.

— Вы понимаете что-нибудь, доктор? — удивленно спрашивает он и пожимает плечами. — Я же вроде ничем его не обидел...

— Ах, мелочи, — к доктору успело вернуться его обычное скептически-невозмутимое расположение духа. — Обыкновенная нервная реакция.

Небольсин у себя в каюте некоторое время ходит из угла в угол, цепляясь ногами за подвернувшийся ковер и не замечая этого, потом садится к столу. Но со-

средоточиться ни на чем он не может, снова поднимается и, достав бутылку вина, наливает полный стакан.

Только после этого он возвращается к разложенным на столе бумагам.

Страшные это бумаги, и никогда б ему не прикасаться к ним, но — дело есть дело, и привычная педантичность берет в нем верх.

— Итак, займемся подсчетами, — вполголоса говорит он.

Он пододвигает к себе рапорты офицеров, представленные нынешним утром по его приказанию: каждый по своей части докладывает о потере в людях и о полученных во время боя повреждениях в технике. Небольсин бегло просматривает эти лаконичные, разными почерками написанные листки, покачивает забинтованной головой и делает пометки у себя в блокноте. Он убежден, что работа его хоть немного успокоит, и действительно успокоение постепенно приходит. Через несколько минут он уже не думает ни о чем, кроме донесения, которое нужно представить Энkvисту.

Отложив в сторону последний рапорт, Небольсин проводит в блокноте жирную черту итога. Есть в его действиях сейчас что-то, делающее его похожим на лавочника, и он, поймав себя на этой мысли, скупое усмехается.

Стало быть, так — убит командир, тяжело раненных офицеров — двое, серьезно раненных — один, легко раненных — пятеро... Нижних чинов: убито в бою и умерло от ран — четырнадцать, очень тяжело и тяжело раненных — восемнадцать, серьезно раненных — двадцать шесть, легко раненных — двадцать девять...

— Итого, — Небольсин шевелит губами, подсчитывая вслух, — умерших пятнадцать и раненых восемьдесят один.

Затем он берет лист чистой бумаги — теперь предстоит самое главное! — и подробно описывает все три этапа боя, рассказывает, при каких обстоятельствах погиб Егорьев: снаряд ударил в металлический трап и осколки срикошетировали в боевую рубку.

Небольсин делает несколько замечаний о преимуществах тактики противника, но тут же, спохватившись, старательно зачеркивает эти строчки: как знать, еще, чего доброго, сочтут, что он вмешивается не в свои де-

ла, выше головы прыгает. Нет уж, пусть всеми этими исследованиями да анализами занимается тот, кому это положено!

Обязательно надо написать что-то о себе. Но что и как? Тут требуется что-то такое, чтобы и сам он в тени не остался, и никто потом не упрекнул бы его в нескромности...

Он на мгновение — только на одно мгновение! — задумывается, потом пишет быстро-быстро:

«Когда загорелись гильзы, я побежал к месту пожара, где серьезно был ранен в голову и ногу, но остался на ногах, тушил пожар и положил временную повязку на голову...»

А что: недурственно получается!

«...Затем я спустился на перевязочный пункт в батареиную палубу, где на операционном столе увидел командира.

Я спросил доктора: какая рана? Он ответил: в голову — смертельная. Тогда я, поднявшись в боевую рубку, вступил в командование крейсером».

Небольсин пробегает глазами написанное, и удовлетворенная улыбка трогает его губы: и в самом деле недурно! И раненый, а поста не бросил, и о командире все время тревожился, и как ни тяжело самому было, возложил на себя тяжкое бремя командования кораблем, да еще в такую ответственную минуту!..

— Что ж это я еще упустил? — соображает он. — Ах, да: надобно перечислить повреждения, полученные крейсером.

И опять в блокноте начинаются арифметические выкладки. Небольсину одно ясно: повреждения огромны. Но понятно также и то, что в рапорте изобразить это надо по возможности в сдержанных тонах: документ может попасть в Главный морской штаб, а то — чем черт не шутит! — и к самому государю-императору: вдруг да он собственнлично заинтересуется, как это случилось, что вся эскадра разбита наголову?

А не столь уж приятно сознавать собственное поражение...

Егорьев, будь он жив, конечно, выразился бы в самых категорических тонах: таких результатов надобно было, мол, и ожидать. Ну да ведь, по правде сказать,

за то покойного и недолюбливали в верхах: всегда лез со своей прямотой!..

Нет, уж он, Аркадий Константинович, повторять его ошибок не желает.

И он подбирает наиболее осторожные, осмотрительные, на его взгляд, выражения.

«В течение боя, — пишет он, — в крейсер попало всего восемнадцать снарядов. Затем попало несколько осколков от недолетов; число пробойн от осколков определить нельзя, оно выше нескольких сот... Пожар был на правом шкафуте два раза...»

— Еще что? — задумывается он. — Писать ли о храбрости матросов в бою? Адмирал Энkvист не любит, когда очень хвалят нижних чинов. Поморщится поди, когда будет читать: уж это, мол, вовсе не обязательно!

И Небольсин заканчивает донесение осторожно, ни к чему не обязывающими словами: бог с ними, с героями!

«...Как во время боя, так и после него, в тяжелом напряжении минных атак команда и господа офицеры провели двенадцать часов бессменно на своих постах, прислуга у орудий и боевая вахта в машине».

«Так-то будет лучше, — чуть приметно, краешком рта снова улыбается он. — Похвалил всех — и никого в частности».

Он запечатывает донесение и вспоминает о том, что на верхней палубе должен сейчас начаться похоронный обряд. Перед тем как выйти на палубу, Небольсин торопливо, одним большим глотком выпивает еще стакан вина. Когда он ставит пустой стакан на стол, рука у него мелко дрожит.

Дороша разыскал Терентин:

— Алексей, тебя можно на минутку в мою обитель?

Дорошу в эти минуты хотелось бы побыть одному, — тяжело и печально у него на душе, — но он послушно идет за Терентиным: что там еще такое?

У себя в каюте Терентин смущенно говорит:

— Понимаешь, какое дело... Я тебе, кажется, рассказывал как-то, что отец поручил мне представить подробнейшую реляцию о сражении, если оно случится. Ну, старик, всю жизнь провел на морях, и прочее... Все-таки, сам понимаешь, наследство...

Терентин окончательно смущается и, не глядя на Дороша, нервно теребит какую-то довольно толстую тетрадь в черном клеенчатом переплете.

— Но при чем же здесь я? — недоумевает Дорош.

— Ну, вот я и хотел бы попросить тебя... Чтобы ты послушал, как я начал эту проклятую реляцию...

И он с поспешностью раскрывает тетрадь, но Дорош возмущенно перебивает его:

— Слушай, Андрей! Как же тебе не совестно: там, на палубе, сейчас будут хоронить наших матросов, а ты...

— Да-да, извини. Ты прав, — конфузливо соглашается Терентин и торопливо прячет тетрадь в ящик стола. — Конечно, конечно, пойдем туда...

Горнист на палубе играет «большой сбор».

Свежий ветер, пахнувший солью и еще чем-то, терпким и в то же время бодрящим, встречает их наверху. Дорош бросает взгляд на море и невольно зажмуривается: до того оно синее-синее, ослепительно чистое, спокойное. Даже ветер не трогает рябью его поверхности.

Матросы выстраиваются поротно. Словно унтер перед строем на вечерней поверке, отец Филарет ходит возле неподвижного ряда серых кукол, уложенных на палубе. Он помахивает кадилом, из которого вьется сизый дымок. Дымок сладковатый, он щекочет ноздри, и Дорошу почему-то вдруг вспоминается, как дома в весенние вечера разводили в саду под яблонями самовар и подбрасывали в него свежие сосновые щепки.

Отец Филарет тянет уныло, вразтяжку, как будто неохотно:

— Упокой, господи, рабов твоих и учини их в раи...

Тишина стоит настолько ощутимая, что Дорош поеживается.

«И здесь — рабы. Даже здесь!..» — думает он.

Терентин сзади шепчет ему на ухо по-французски:

— *Que diable emporte ce terrible moment!* *

Но скорби в его голосе нет.

Дорош досадливо поводит плечом: не может помолчать хоть бы десять минут!

* Черт бы побрал это ужасное время... (франц.).



И снова он переводит взгляд на море, лежащее неподвижно, полное успокаивающей синевы.

...И вот одно за другим уходят в воду тела, обернутые в грубую серую парусину, уходят в последнюю матросскую обитель.

Не шелохнутся приспущенные флаги. Комсндоры стоят у орудия, ожидая сигнала, чтобы дать прощальный салют.

А море — спокойное, беспредельное, усыпано мелкими серебристыми блестками; и они все время шевелятся, и легкое прозрачное марево дрожит над ними, и веселое облачко, проплывая в вышине, отражается в тихой синей воде.

Степа Голубь — маленький, худенький, с детски расширенными глазами стоит в строю и плачет, не стыдясь слез и не скрывая их. Другие матросы молча мнут в руках бескозырки — лишь видно, как желваки перекачиваются у них по скулам.

Они угрюмо, одним только взглядом прощаются с друзьями.

Какой-то матрос, а кто именно — Степа и не знает, кладет сзади тяжелую мозолистую рабочую руку на его худенькое плечо и тихо, раздельно говорит вполголоса:

— Слышь, Степа, плакать не надо. Не плакать нам нужно!..

3.

Три ночи кряду Элен проплакала в своей маленькой, затянутой шелками и надушенной спальне, а потом забылась в шумных предсвадебных хлопотах. По ее весело-озабоченному виду можно было подумать, что она вычеркнула из сердца всякое воспоминание о далеком флотском лейтенанте.

С утра до вечера сновали теперь по лестницам бойкие говоруньи-портнихи; в комнатах верхнего этажа, куда Элен больше не впускали, грохотали чем-то тяжелым мастера-мебельщики; из поездок по магазинам Элен возвращалась к вечеру утомленная до изнеможения.

Оба купца — и ее отец и отец Анатоля Теушева — не поскупились, и свадьба оказалась обставленной с такой роскошью, которая была неслыханна даже для привычной ко всему столицы.

В соборе пел хор, приглашенный из Мариинского театра; по дороге от собора к дому на всем пути вдоль Невского шпалерами теснился народ, и городские отдавали честь молодоженам, и дети — их было несколько сот вдоль всего проспекта — бросали охапки душистых цветов под звонкие копыта коней.

Был вечер середины мая, а теплынь стояла совершенно августовская, и окна были распахнуты настежь в цветущий сад, и откуда-то из глубины сада, иллюминированного сотнями разноцветных фонариков, лились звуки невидимого в полутьме оркестра.

Приглашенных набралось много, чуть ли не весь «деловой» Санкт-Петербург: сверкали ордена, безупречной белизной сияли накрахмаленные манишки, шуршали шелка дамских нарядов. Вышколенные лакеи едва успевали подавать на столы бесчисленные блюда и разливать вина.

После обычного тоста за здоровье и счастье моло-

дых отец Элен поднялся и сделал знак, прося внимания присутствующих.

— Господа! — чуть захмелевшим голосом произнес он. — Со времен древней Эллады, когда люди были добры, как боги, а боги жестоки, как люди...

Он иногда не прочь был блеснуть начитанностью.

— ...Со времен Эллады наивные простаки считали покровителем торговли и удачи жирного и ленивого бога Меркурия.

Он сделал заранее рассчитанную паузу.

— Однако русское купечество не боится ниспровергать богов, и нынче мы сказали Меркурию: ты слишком зажирел, старик, уступи место другому богу — молодому воинственному Марсу!..

Большинству присутствующих, дела которых были связаны со всевозможными поставками интендантству, аллегория эта пришлась явно по душе.

— И пока крепка наша дружба с молодым Марсом, — закончил весело отец Элен, — купечеству российскому цвести и укрепляться!..

И он, стоя, в один глоток опустошил бокал.

А Элен, которая внимательно слушала речь отца, вдруг снова вспомнила стремительно вращающийся глобус и руку отца на нем, резко обрывающую это движение...

— Остроумный спич, непгавда ли? — произнес вполголоса Анатоль, наклоняясь в сторону Элен. Она кивнула ему машинально — собственно, она даже и не слышала, о чем говорил Анатоль; она все думала об этой короткопалой сильной руке на глобусе.

Дружно и враз были осушены бокалы, кто-то потребовал, чтобы за русское купечество непременно выпили и молодожены, кто-то уже наливал вино в бокал Элен, и она тоже выпила с завидной храбростью и, поставив бокал на место, обворожительно улыбнулась всем сразу...

Гости захлопали в ладоши, кто-то хмельно закричал: «Виват!.. Виват русскому купечеству!» Отец Элен, довольный, опустился на свое место. А когда снова наступила относительная тишина, один из гостей — фабрикант, обойденный при размещении военных заказов, вдруг негромко, но так, чтобы слышали все, насмешливо бросил, не глядя ни на кого:

— Что-то стал изменять русскому купечеству этот ваш бог.

И рассмеялся злым, коротким смешком.

— Что вы имеете в виду? — резко спросил нахмурившийся отец Элен.

— Как, разве вы еще не слыхали, господа? — растягивая слова, произнес гость и обвел нарочито удивленным взглядом присутствующих. — Нынче поутру при дворе получено сообщение о том, что наша эскадра в Тихом океане полностью разгромлена. Да вы что, в самом деле ничего не знаете? — Рассказчик поминутно оживлялся. — Подробности — самые печальные. Почти все корабли потоплены или взяты в плен, тысячи офицеров и матросов погибли... Конечно, и японцам пришлось туго: говорят, они тоже потеряли множество судов, но что это в сравнении с нашими потерями! Была эскадра — и нет ее...

Элен вдруг побледнела. Держась за спинку стула, она с трудом поднялась из-за стола и, закрыв лицо руками, выбежала из зала.

— Ах, господа, — встревоженно воскликнул Анатолий Теушев. — Нельзя так неосторожно! Вы же сами понимаете: женские нервы...

И он поспешил к Элен.

Свадебное торжество, начавшееся с таким эффектом и рассчитанное еще на много часов, было испорчено; гости конфузливо переглядывались, перешептывались или молчали, кто-то досадливо крякнул, кто-то предложил первый пришедший в голову тост, так, впрочем, никем и не поддержанный. Затем, словно сговорившись, почти одновременно гости начали прощаться с хозяевами.

Старик Теушев не на шутку был встревожен происшедшим, отец же Элен всем своим видом показывал, что ничего, в сущности, не случилось: он шутил, острил и только, когда остался наедине с Теушевым, тяжело охватил голову ладонями.

А у себя в комнате сидела растревоженная Элен, и молодой муж, стоя возле нее, тщетно пытался воззвать к ее благоразумию.

— Поймите же, нельзя так, — вполголоса говорил он, на этот раз даже не грассируя. — Ваше... небезраз-

личие к судьбе эскадры уж слишком очевидно. Я не ревнив, однако условности света...

— Ах, оставьте, пожалуйста, — прервала его Элен и не по-девически устало и горько усмехнулась: теперь все это не имело для нее ровно никакого значения. Пусть думают и говорят, что им угодно...

Поднявшись, она подошла к туалетному столику: надо было запудрить следы слез на щеках.

Г Л А В А 18

1.

Контр-адмирал Энkvист был в отчаянии. Да и как тут не впадешь в черную меланхолию, если все складывалось совсем не так, как он мечтал об этом еще недавно?

Рождественский в плену у японцев, все его штабное окружение — тоже; выходит, теперь ему, Энkvисту, надо брать на себя ответственность за уцелевшие корабли.

Еще только три дня назад он страстно, до исступления завидовал Рождественскому, называл его про себя выскочкой и пролазой и не раз мечтал о том, как бы он развернулся, совсем по-иному повел дела, окажись флагманом всей эскадры, а не одного только крейсерского отряда. Но теперь командовать какими-то тремя несчастными полуразбитыми крейсеришками — фу, даже стыдно подумать!..

Честолюбивый и в то же время, подобно всем неудачникам, постоянно озлобленный, он давно уже приучил себя к мысли, что только несправедливость и чужие козни мешают ему раскрыть все его неоценимые таланты.

И вот теперь такая возможность наконец-то представилась, но — бог мой! — всего только три крейсера...

А командовать ими все-таки было нужно, и, после долгих раздумий и колебаний, адмирал наконец-то принял решение: уцелевшим кораблям идти в Шанхай. Ближе и удобнее было бы, разумеется, пробиться к своим, во Владивосток*, но при одной мысли о воз-

* Крейсер «Алмаз» и два миноносца после боя именно так и пошли и 16 мая были радостно встречены жителями Владивостока.

можном вторичном столкновении с японцами удлинённое лицо адмирала покрывалось холодным потом. Нет-нет, хоть к черту на рога, только не это!..

Бесстрастный флаг-офицер молча записал продиктованный бароном приказ и так же молча, почтительно склонил напoмаженную голову: он и в походной обстановке находил возможность следить за своей внешностью.

— Идите, голубчик, идите, — расслабленно произнес адмирал. — Пусть сейчас же передадут это на крейсера.

Флаг-офицер, ступая неслышно, вышел из адмиральской каюты, но тут же возвратился.

— Прошу прощения, ваше превосходительство, — он вновь склонил напoмаженный пробор. — Совсем запамятовал: Аркадий Константинович испрашивает разрешения предать погребению тело Евгения Романовича Егорьева.

— Да-да, разумеется, — поспешно согласился Энквист. — Скажите мне, когда это нужно будет, я тоже приму участие.

Он пожевал губами:

— Я очень любил... этого умного и храброго командира!..

Со времени своего перехода на «Аврору» адмирал Энквист так ни разу и не появился на палубе крейсера, не дождались его и офицеры в кают-компании. Даже Небольсин вынужден был сообщаться с ним главным образом через флаг-офицера. Зато почти ежечасно сбившиеся с ног адъютанты и вестовые тащили в каюту Энквиста то разведенный уксус, то остуженную пресную воду, то заваренный дочерна китайский чай: у младшего флагмана эскадры флота Тихого океана приключился острый приступ мигрени.

В полдень застопорили машины, спустили флаги, дали орудийный салют в семь выстрелов, и тело бывшего командира «Авроры» скользнуло с наклонно положенных досок за борт корабля.

И почти в ту же минуту сигнальщик, наблюдавший за горизонтом, выкрикнул так, что слышали все на палубе:

— Прямо по курсу дым!..

Энквист приказал поднять сигнал «Тревога!» и приготовить крейсера к бою.

Сначала был виден один дымок, потом к нему прибавилось еще четыре, а через полчаса уже без биноклей можно было разглядеть желтые трубы и белые корпуса кораблей; наконец на головном броненосце был опознан звездно-полосатый американский флаг.

Энквист распорядился произвести салют; с американского флагмана ответили тем же. Вскоре от броненосца отвалил катер и, лихо развернувшись, подошел к парадному трапу, спущенному с «Авроры». На борт крейсера поднялись четыре американских офицера, все четверо высокие, поджарые, с холодными, непроницаемыми глазами.

Не поздоровавшись ни с кем, кроме адмирала, они поспешили в его каюту и вышли из нее минут через двадцать. Вслед за ними вышел флаг-офицер Энквиста.

— Передайте крейсерам, — распорядился он. — Адмирал принял решение идти в нейтральный порт Манилу.

С броненосца, стоявшего к «Авроре» ближе всех, американские офицеры и матросы бесцеремонно разглядывали русских моряков. Они перебрасывались веселыми замечаниями, хохотали, и тогда кто-нибудь из них подносил ко рту мегафон:

— Хеллоу, рашен!.. Немного битый есть, а?..

И все заливались довольным смехом.

— Нет, ты посмотри, какие скоты! — возмущался мичман Терентин. — Они понимают, над чем смеются?

Дорош угрюмо отмалчивался.

Матросы «Авроры», занимаясь своими привычными делами, старались не смотреть в сторону «америкашек».

На «Авроре» был поднят сигнал: «Олегу» и «Жемчугу» идти за нею в кильватерном строю, вслед за американским броненосцем.

Так, окруженные непрошенным эскортом, и пришли русские корабли двадцать первого мая в Манилу.

С борта «Авроры» были хорошо видны домики, тонущие в океане тропической зелени; за невысокой крепостной стеной возвышался купол собора, построенного, как впоследствии узнали русские моряки, еще чуть ли не в шестнадцатом веке. Большая, глубокая гавань поражала своими размерами: в ней могли бы разместиться, пожалуй, все флоты мира.

К приходу крейсеров на берегу уже скопилась мно-

готысячная толпа горожан; виднелись китайские островерхие шапчонки и широкополые испанские сомбреро, английские пробковые шлемы и кокетливые соломенные шляпки француженок...

Едва русские корабли приближаются к линии внутреннего рейда и, громыхнув цепями, становятся на якоря, все эти шляпы, шлемы, шапки на берегу, точно по команде, взлетают кверху. Гул голосов доносится до моряков: испанские, китайские, французские слова приветствий сливаются воедино, люди рукоплещут, машут шляпами.

Внезапно впереди толпы появляется какой-то военный, он вскидывает руку, что-то угрожающе кричит, и вот толпа не сразу, понемногу, но все-таки послушно умолкает, лишь в задних рядах все еще шум и движение...

Один возле другого — страшные, опаленные огнем битвы, искалеченные, с зияющими рваными ранами в бортах, с развороченными палубными надстройками, иные без мачт, с покосившимися трубами — становятся крейсера. Американский броненосец располагается поодаль, жерла его орудий глядят своими черными стальными зевами на линию русских кораблей. Матросы на всех трех крейсерах выстраиваются вдоль палуб, почти все перебинтованные, многие — на самодельных костылях.

Толпа на берегу стоит в безмолвии минуту, вторую, пятую... Жители всех окраин Манилы — Бинондо, Тондо, Санта-Круц — молчанием приветствуют русских героев.

С кораблей видно, как у самой кромки воды солдаты в американской форме теснят толпу подальше от берега; она подается назад, продолжая хранить все то же красноречивое молчание...

И Дорош внезапно ощущает, как в горле у него начинает першить, а глаза застилает туманная влага. Вот оно, бессловесное людское признание победы побежденных!..

Матросы на крейсерах уже предупреждены: на берег никто из них не будет уволен впредь до получения специального на то разрешения. Небольсин, срочно вызванный флаг-офицером адмирала, сбегает с мостика и торопится в командирский салон.

Здесь в сборе уже почти все офицеры со всех трех крейсеров; Энkvист входит в сопровождении высокого, сухопарого седого адмирала, который холодно кланяется — всем сразу одним общим поклоном — и внимательным взглядом обводит собравшихся.

— Позвольте представить: господин адмирал флота Северо-Американских Соединенных Штатов, — как-то уж слишком торжественно произносит Энkvист; в его голосе нет привычных раскатистых начальственных ноток, напротив, он звучит смягченно, подобострастно. Энkvист нервно озирается по сторонам.

Все так же молча и холодно адмирал-американец отвешивает еще один поклон и первым усаживается в кресло, давая понять, что церемонию знакомства считает, таким образом, законченной. За его спиной становятся два дюжих адъютанта, длинные, поджарые, с бульдожьими челюстями боксеров.

— Я рад приветствовать вас здесь, в Маниле, — на неожиданно чистом русском языке, почти без акцента произносит американец. Голос его звучит настолько бесстрастно и отчужденно, что мичман Терентин, стоящий за спинкой кресла Небольсина, усмехается: не очень-то по этому тону похоже, что он действительно рад приходу русских!

— Битва, которую пришлось вам выдержать, — продолжает американец, — на мой взгляд, беспримерна в истории военно-морского искусства...

Это можно было понимать и как комплимент и как насмешку; впрочем, похоже, адмирала нимало не беспокоит, как именно будут истолкованы его слова: он здесь — хозяин.

— Пресса всех стран только об этом сейчас и пишет. Весь мир изумлен той... доблестью, с которой вашему флоту удалось выдержать это испытание судьбы.

Он на мгновение умолкает и снова обводит тяжелым, изучающим взглядом всех присутствующих.

— Однако я вынужден перейти от комплиментов к делу...

Энkvист пытается вмешаться в его речь: мы тоже рады сердечно приветствовать господина адмирала, — но американец нетерпеливым жестом останавливает его:

— Простите, барон, будем говорить только о деле.

И хотел бы знать, в чем в первую очередь нуждаются командиры и команды русских кораблей?

Он говорит, а сам продолжает тем временем в упор разглядывать русских офицеров, будто стараясь запечатлеть каждого в своей памяти; и этот цепкий, холодный взгляд настолько тяжел и неприятен, что Небольсин, сам того не замечая, поеживается.

Американский адмирал делает знак одному из сопровождающих его офицеров, и тот с поспешностью достает блокнот и перо, готовый немедленно записывать.

Командиры кораблей перечисляют нужды. Раненых, пускай не всех, а хотя бы самых тяжелых, надо бы отправить в какой-нибудь береговой госпиталь. Помочь в ремонте судов. Поделиться провиантом, так как запасы пищи на кораблях до крайности скудны, да и недоброкачественны. Вот, собственно, и все.

Адмирал выслушивает, сухо и коротко кивает в знак согласия.

— Хорошо. Все будет сделано после выполнения одного нашего условия.

— Какого?

— Видите ли... Все ваши корабли должны быть немедленно разоружены.

Офицеры недоуменно переглядываются: может быть, они ослышались? Но адмирал спокойно подтверждает:

— Именно — разоружены.

Мичману Терентину хочется крикнуть, что ведь это — оскорбительное глумление над русскими военными моряками; что помощь людям в трудную минуту, да еще и помощь-то вовсе не безвозмездная, все же до копейки будет оплачено, — никогда и нигде не обуславливалась никакими предварительными требованиями; что это наконец просто бесчестно — морально добивать людей, и без того вынесших такой ужас!

Но Небольсин, будто угадав его мысли, делает мичману предостерегающий жест.

— Но это еще не все, — продолжает американец. — Я вынужден поставить и второе условие: из машин на ваших кораблях должны быть изъяты некоторые детали... На то время, разумеется, пока вы будете находиться здесь. В противном случае...

Он обводит всех ледяным взглядом:

— В противном случае вам придется немедленно, —

он делает нажим на слове «немедленно», — покинуть Манилу. А по нашим сведениям, японцы проявляют к вам... усиленный интерес.

Томительное, долгое молчание наступает в салоне, слышно только тяжелое, прерывистое дыхание людей. Наконец Энkvист, склонив лысину в сторону американца, заверяет, что ответ американскому командованию будет дан немедленно по получении указаний свыше.

Американец поднимается. Он, так же как и при своем появлении, отвешивает молча общий поклон и неторопливо выходит из салона, сопровождаемый своими боксерами-адъютантами. Энkvист, распорядившись, чтобы командиры кораблей ожидали его, провожает американца до трапа и вскоре возвращается.

— Каких указаний свыше ожидаете вы, ваше превосходительство? — полюбопытствовал Небольсин.

— Я послал телеграмму государю-императору, — неохотно ответил Энkvист: очевидно, послав ее, адмирал сам испугался собственной смелости.

Отдав кое-какие распоряжения насчет подготовки раненых к эвакуации на берег, Энkvист отпустил офицеров.

— Видали? — горячился мичман Терентин, выходя из салона. — Хозяин-то какой, а? Выставил такие издательские условия да еще думает, что мы должны руки ему целовать — вот, мол, какой он добрый и гуманный...

Небольсин остановился и внимательным, долгим взглядом посмотрел на Терентина.

— Хотите, мой юный друг, воспользоваться одним советом? — отчужденно сказал он. — Никогда не высказывайте вслух того, что думаете.

И молча зашагал дальше.

...Двадцать седьмого мая на «Авроре» был зачитан приказ Энkvиста, для чего экипаж был выстроен на палубе. Приказ читал лично Небольсин.

«В ночь с двадцать пятого на двадцать шестое мая, — прочел Небольсин и сделал короткую паузу, — получена от его императорского величества следующая телеграмма: «Ввиду необходимости исправить повреждения разрешаю вам дать обязательство американскому правительству не участвовать в военных действиях».

Дальше в приказе подробно говорилось о том, что

надлежит со всех орудий снять замки и передать их представителям американских военных властей, которые с этой целью придут на корабли.

Матрос Дмитриенко, комендор единственного уцелевшего на «Авроре» орудия, поблелел от сдерживаемого волнения:

— Не отдам! — шептал он. — Я ее, мою орудью, телом в бою прикрывал... Не отдам!..

— А им больше всех нужно, американцам-то! — зло произнес кто-то в строю. — Везде свой нос суют!..

Небольсин обвел равнодушным взглядом матросов и дочитал:

«Надеюсь, что нижние чины во время пребывания отряда в Маниле... не дадут повода к применению мер строгости. Подлинное подписал контр-адмирал барон Энkvист...»

...А мытарства русских моряков между тем только начинались.

Двадцать восьмого мая, сразу после утреннего богослужения, на «Аврору» прибыл флаг-офицер американского адмирала. Он привез подписные листы, на которых по-русски и по-английски был напечатан текст обещания не принимать участия в военных действиях и не покидать Манилы без разрешения американского адмирала.

— Господа офицеры должны расписаться сами, за команду — господин адмирал, — бесстрастным голосом объяснил флаг-офицер. — Я буду ожидать ровно час...

Дорош, когда подошла его очередь расписываться, склонился над столом с непроницаемым лицом и сурово сжатыми губами, Терентин же учинил форменный бунт.

— Как угодно, Аркадий Константинович, а я под этим подписываться не стану! — горячился он. — Это унижает мое достоинство!..

— Мое тоже, — бесстрастно произнес Небольсин. — Однако я подписался. И вы... поставьте свою подпись.

Он говорил, отделяя слово от слова и глядя поверх головы Терентина.

— Хорошо, — пожал плечами Терентин. — Вынужден подчиниться!

Американец, между тем, сидел в стороне со скучаю-

щим видом и, развалясь в кресле, лениво дымил сигарой. Ровно через час он поднялся:

— Надеюсь, все готово?.. Гуд бай!..

И, простившись кивком головы, вышел из салона.

— Гуд бай, — зло повторил ему вслед Терентин. — Век бы с тобой не встречаться больше!..

Но флаг-офицер прибыл на «Аврору» ровно через два дня.

— Придется вам всем подписаться еще один раз, — как ни в чем не бывало, объяснил он. — Из Вашингтона получен уточненный текст ваших обязательств.

По этому, «уточненному», обязательству все русские моряки не имели права уезжать из окрестностей Манилы, а нижние чины — ступать на берег без личного разрешения американского адмирала; выезд же с острова — только по разрешению президента Соединенных Штатов.

— Чем не тюрьма? — пожал плечами Терентин, однако на этот раз поставил подпись без возражений.

— Чем бы дитя ни тешилось! — бездумно сказал он. — Подписывайся, Алеша. И береги свои нервы...

2.

Нет, Катя совсем не плакала, когда узнала о смерти отца. Она только как-то по-детски сжалась в комочек и так просидела молча в углу камеры до самого вечера.

А потом начала ходить по камере.

Похудевшая, с острыми скулами и глубоко ввалившимися огромными скорбными глазами, обведенными густо-синими кругами, она всю ночь проходила из угла в угол, зябко кутая плечи в старенький шерстяной платок. По временам она останавливалась, долго и надрывно кашляла, и тогда на лбу у нее проступали капельки пота, а щеки покрывались нездоровым румянцем, и снова принималась шагать из угла в угол: туда и обратно, туда и обратно.

Евгения Самойловна, новая Катина соседка по камере, пыталась, как могла, успокоить девушку:

— Да полно тебе, Катюша!.. Кто тебе об этом сообщил? Власьев? Нашла кому верить! Да ведь этому ротмистру солгать — раз плюнуть. От него какой угодно гадости ожидать можно!

Странная женщина — Евгения Самойловна. Под сорок ей уже, за плечами шесть лет тюрьмы и два побега — огромная жизненная школа, а она все еще наивно полагает, что вот такой святой ложью можно облегчить Катину боль. Многие узнала Катя от Евгении Самойловны, на многое раскрыла она девушке глаза, и теперь еще яснее видна Кате дорога по жизни. Но только, тетя Женя, родненькая, хорошая, сейчас не нужно успокаивать! Вот она походит еще немного, помолчит — тогда, может, чуточку отхлынет от сердца эта непереносимая, ни на мгновение не ослабевающая боль...

Катя припоминает все подробности сцены последнего допроса.

Ротмистр Власьев был мрачен и раздражителен с самого начала. Он даже не предложил сесть, а только глазами приказал Кате подойти поближе к столу.

Катя, еще не понимая, в чем дело, нерешительно приблизилась.

— Ввиду вашего категорического отказа давать какие-нибудь показания, — скороговоркой, будто заученное, произнес он, — следствие прекращается. Дело передается на судебное рассмотрение, копия обвинительного акта будет вам вручена... Подпишите ваш отказ от дачи показаний следствию.

Катя не удержалась от вздоха облегчения: пусть — суд, пусть какое угодно наказание, тюрьма, ссылка, но зато теперь прекратятся эти несносные, мучительные, как тупая боль, допросы.

Не-ет, у нее никогда не повернется язык сказать, что ротмистр Власьев был с нею груб, что он мучал ее какими-нибудь пытками; он и кричал-то на нее всего только однажды. Но уж лучше бы, кажется, он кричал каждый день, чем вот это его механическое, доводящее до иступления однообразие в приемах допроса!

И Катя, наклонясь над бумагой, даже не удержалась от того, чтобы улыбнуться Власьеву:

— Где расписаться? Здесь?

Пока она выводила подпись, он откинулся в кресле и с нескрываемым злорадством произнес:

— Ну-с, на прощанье позволю себе напомнить вам один мой совет, который я не уставал повторять во время всех наших... милых встреч.

— Пожалуйста, — улыбнулась Катя: ее теперь за-

бавляла напыщенная солидность тона следователя.

— А совет, милая фрекен, вот какой: перестаньте играть в революцию... Вашим ближним придется очень жестоко расплачиваться за это!

Катя невольно насторожилась:

— Что вы имеете в виду, если это не секрет? — встревоженно спросила она, и тут же у нее мелькнула мысль: может быть, с Акимом там, на корабле, что-нибудь произошло...

— Не что, а кого, — повторил ротмистр Власьев. — Вашего батюшку имею в виду... Скорбна его судьба!

Катя рывком подалась вперед:

— Что?.. Что случилось? Скажите!

— А отчего же? Скажу, конечно.

И ротмистр произнес с глумливой вкрадчивостью — он расплачивался с Катей за все неприятности по службе, полученные им из-за нее:

— Вот видите, пока вы здесь изображали собой фигуру умолчания, батюшка ваш, Митрофан Степанович, благополучно того... Приказал долго жить!

— Как? — побелевшими губами шепчет Катя. — Умер?!

Она цепляется за край стола, чувствуя, что все вокруг нее и она сама начинает плыть, плыть, кружиться, будто комната стала вдруг гигантской каруселью.

— Именно-с, умер, — слышит она доносящийся откуда-то издалика голос ротмистра Власьева. — Вот до чего доводит игра в революцию!..

...Снова и снова Катя начинает вышагивать камеру из угла в угол, широко раскрытыми, жаркими глазами вглядываясь в темноту.

Все с этим же странным сухим, горящим взглядом она садится наутро в тюремную карету и сопровождаемая конвоирами едет в здание суда.

Возвращается Катя поздно вечером. Она сбрасывает с плеч платок и торопливо хватается за стену: у нее начинается приступ кашля.

— Как? — встревоженно бросается к ней Евгения Самойловна. — Что дали?

— Шесть лет... На Енисей, — негромко говорит Катя и опускается на табуретку, прижимая ладонь к груди.

— Поселение?

Катя молча кивает головою; страшный кашель раз-

рывает ей грудь, она ловит ртом воздух и снова заходится в судорожном кашле.

— Милая девочка, — печально говорит Евгения Самойловна, и глаза ее полны слез. — Как же ты туда поедешь, больная? Не выдержишь ты там...

— Я выдержу! — Катя гордо вскидывает голову. — Я все выдержу!..

Она опускает голову в ладони. Ах, Аким, Аким!.. Не идешь ты, сказочный богатырь, спасти из плена свою Марью Моревну. Все зову я тебя, зову, а ты не откликаешься.

— Где же ты, Аким?

И откуда ей знать, что никогда она уже не дожидется ответа!

3.

Уже после полудня с берега было передано штормовое предупреждение. Почти одновременно на сигнальной мачте в порту взвились разноцветные флаги, означавшие: «Всем судам в море — немедленно возвратиться назад!».

Никто к штормовому предупреждению ни на «Авроре», ни на двух других крейсерах, стоявших по соседству, всерьез не отнесся. Вот уже четвертый день кряду поступали такие предупреждения, а ультрамариновое небо над Манилой продолжало оставаться безоблачным, ни один листок на деревьях у прибрежной полосы не шелохнулся, и даже легкая живая серебристая рябь, обычно пробегающая по поверхности огромной бухты, в эти дни не трогала морской глади.

Было так тепло, спокойно и солнечно, что мичман Терентин, получивший на своей вахте это тревожное предупреждение, только усмехнулся:

— Чудят синоптики, ей-богу! Делать им нечего, что ли?

Однако на всякий случай доложил Небольсину, и тот приказал крепить все по-штормовому. Недоумевающие матросы неторопливо выполняли это приказание, посмеиваясь про себя:

— Аркадий-то Константинович наш в последнее время все больше в рюмочку заглядывает, а там, известно, все штормы на дне видны!

Но вот уже почти к вечеру где-то далеко-далеко, у

самого края небосклона, возникло маленькое, чуть приметное темное облачко, похожее на курчавого барашка. Сначала на него никто не обратил внимания, но с каждой минутой оно все увеличивалось в размерах, стремительно приближаясь к гавани. Не прошло и получаса, а уже косматая лилово-черная туча заполонила почти все небо, наползая как-то наклонно, снизу вверх.

Стало вдруг резко холодно, по воде пробежала неизвестно откуда взявшаяся крупная зыбь, взлетели и заплясали на волне красноголовые буйки; тревожно, во всю ширину размаха закачались верхушки деревьев на берегу; обеспокоенные острокрылые чайки кричали все пронзительнее и громче; рыбаки в своих легких лодчках заторопились к причалам.

На «Авроре» сорвало ветром с орудия плохо закрепленный чехол и унесло так далеко, что комендор Дмитриенко, сколько ни вглядывался вдаль, так и не отыскал его.

В девятом часу сделалось до того темно, что на палубе крейсера в двух-трех шагах уже ничего нельзя было разглядеть; ветер, будто набирая голос, уже не стонал протяжно и тонко, как поначалу, — он ревел, грохотал, завывал. Волны поднимались до бортов и шипели угрожающе-угрюмо; море билось о корабли в необузданной ярости.

На Манилу надвинулся тайфун.

Хлынул проливной дождь — навесной, прямой, упругий, он сбивал с ног, холодными струями забирался за ворот, хлестал в лицо, казалось, от него нигде не было спасения. Дождевые стоки не успевали уносить в море всю воду, и вскоре на палубах образовались черные озера.

А на берегу тем временем творилось что-то невообразимое. Ветер выворачивал с корнями огромные деревья, срывал крыши с тростниковых приземистых хижин и, играючи, уносил их в море, поднимал и словно легонькие ореховые скорлупки выбрасывал на камни рыбацкие лодки.

Моряки с «Авроры» видели, как во тьме мелькали тут и там торопливые, стремительные огни на берегу, сквозь рев бури доносились отчаянные, иступленные человеческие голоса: люди взывали о помощи, а к кому

взывать — и сами, должно быть, не понимали. Чудились причитания женщин, жалобный детский плач...

Взволнованный, промокший насквозь, Епифан Листовский разыскал на батарейной палубе ротного командира.

— Ваше благородие! — срывающимся голосом выдохнул Листовский. — Там ведь... люди! Ратуют о помощи, слышите?..

Дорош, который в это время помогал своим комендорам закрепить на орудии вырывавшийся из рук гремящий брезент, крикнул, стараясь перекрыть рев тайфуна:

— Нельзя, Листовский, нельзя! Американцы... не разрешают нам... на берег!

— Да нехай они сгорят, те американцы! — чуть не со слезами в голосе продолжал выкрикивать матрос. — Ведь там детишки... бабы!

Дорош выпрямился и на мгновение задумался.

— Добро! Жди здесь, я сейчас...

Он бросился разыскивать Небольсина, но ни на мостике, ни в каюте капитана второго ранга не оказалось; Дорош бросился к вахтенному офицеру:

— Где Аркадий Константинович?..

— На берегу, где ж ему еще быть? — пожал плечами Терентин. — А что такое?

Но Дорош не ответил ему, он решил действовать на собственный страх и риск; возвратившись к Листовскому, он приказал:

— Собирай комендоров!

— Есть, ваше благородие! — радостно закричал матрос.

Спустить шлюпки на воду оказалось делом нелегким. Крейсер, даже здесь, у бочки, перекидывало с борта на борт; внизу, за бортом, все ревело, кипело, клокотало и дымилось...

Во вторую шлюпку Дорош прыгнул последним, и только тогда он не без труда разглядел, что и от соседнего «Олега» отваливают шестерки, направляясь к берегу. Их подкидывало, они проваливались в дымящуюся пучину, но все-таки продвигались вперед, к берегу.

...Это была, может быть, единственная такая ночь в жизни Дороша — ночь, в которой не было измерения времени, когда все сместилось, перепуталось, все стало

чудовищным, хаотическим нагромождением криков, беготни и рева тайфуна. Лишь изредка возникали из темноты чьи-то освещенные неверным светом факелов, в гримасе ужаса, незнакомые лица, и снова темень, снова рев, грохот и скрежет.

Матросы на руках выносили плачущих детишек из разрушаемых бурей рыбацких хижин, помогали обезумевшим от ужаса женщинам перебраться в сравнительно безопасные места, куда не доставала разливающаяся вода, гасили неожиданно возникавшие пожары и снова бросались туда, откуда доносились иступленные человеческие крики.

Дорош тоже что-то делал, а что — он и сам не отдавал себе отчета; иногда он сталкивался с Листовским: тот освещал лицо лейтенанта факелом, встряхивал мокрой головой, скалил белые зубы, озорно выкрикивал: — Пор-рядок, ваше благородие!..

И вновь растворялся в ночи, будто его и не было.

С моря, оттуда, где стояли русские крейсера, доносился непрерывный рев сирены: белые и красные огни штормовых сигналов, поднятые на мачтах кораблей, казались качающимися, смутно различимыми далекими звездами. На «Авроре» включили боевое освещение, но даже этот мощный поток света не мог пробить лиловую темень ночи.

Лишь перед самым рассветом тайфун начал понемногу терять свою дикую силу, а когда забрезжило серое, неприветливое утро, ни ветра, ни дождя уже не было, и только обрывки некрасивых, лохматых туч торопливо уплывали в сторону моря.

Дорош собрал своих возбужденных матросов, и только после того, как шлюпки отошли от берега, вдруг с необычайной остротой почувствовал, как нечеловечески он устал; его колотил озноб, саднило ушибленное где-то плечо, поташнивало...

Матросы, наоборот, были бодры и веселы — так, словно усталость вовсе и не коснулась их. Налегая на весла, они перебрасывались шутками, вспоминали подробности этой ночи.

— Ой, а что же с нами теперь америка-а-шки сделают! — безбоязненно, весело, нараспев произнес Листовский и подмигнул Степе Голубю. — Узнают, что мы без их разрешения корабль покинули, живьем съедят!

Но сверх ожидания американские власти сделали вид, что они не заметили нарушения их запрета. Небольсин, вычитавший Дорошу за самоуправство, — впрочем, сделал он это не слишком энергично, — ожидал разноса от генерал-губернатора. Однако прошел день, второй, третий, а губернаторский посланец так и не явился: «проступок» русских моряков остался незамеченным.

Правда, и благодарности за свои самоотверженные действия они тоже не дождались.

— А нам из их благодарности шубу не шить, — отмахнулся Листовский. — Детишки тутошние когда-нибудь добрым словом помянут — и ладно. Нам другой благодарности и не надо. Русский матрос — он такой: зла не помнит, похвал не ищет.

...А Дорош после этого три дня провалялся в постели: сказалась ночная простуда, и если бы не старательный Зиндеев, отпаивавший до седьмого пота своего ротного крепким чаем с огромными порциями рома, кто знает, как долго затянулась бы эта болезнь.

Мичман Терентин, все свои свободные часы в эти дни просиживавший у постели Дороша, не переставал восхищаться:

— Ай да Алеша! Тихоня-тихоня, а поди-ка ты!..

— Перестань, — шутливо останавливал его Дорош. — Ты наговоришь!..

— Ну, а как же: теперь ты, Алеша, по всем статьям герой!.. — И добавлял глубокомысленно: — Это даже хорошо — тайфун. Все-таки, знаешь, хоть какое-нибудь разнообразие. А то уж слишком застоялась у нас тут жизнь на корабле. Ни одного происшествия!..

Но он оказался не прав.

Г Л А В А 19

1.

События на «Авроре» начались неожиданно.

Утром с корабля на берег, в американский госпиталь отправляли часть раненых. Матросы растроганно прощались с товарищами, покидавшими корабль: кто знает, сколько пробудут они на берегу и что их там ждет?

Степа Голубь и Епифан Листовский ни на минуту

не отходили от носилок, на которых лежал Ефим Нетес.

— Как же это тебя угораздило? — в который раз печально спрашивал Голубь. — И рана вроде была пустячная, а поди ж ты, экая неприятность!..

Нетес улыбался через силу, но улыбка получалась жалкая, растерянная.

— Да, брат, нехорошо вышло, — соглашался он. Нетес и сам не думал, что все обернется так скверно. Царапина — его в бою зацепило осколком — была и впрямь самая что ни есть ерундовая, и он считал, что через неделю-другую все заживет. А вот — не затягивается, проклятая, — и теперь доктор говорит — надо на берег, в госпиталь, иначе заражение крови, а с этим шутить нельзя.

— Вы уж тут обо мне не забывайте, — глаза Нетеса становятся грустными. — Будет возможность, наведывайтесь в госпиталь...

— А ты как бы думал! — Листовский ободряюще улыбается. — Слыханное ли дело, чтобы матрос матроса в беде бросил?

Чтобы хоть как-нибудь отвлечь Нетеса от грустных мыслей, он шутит:

— На сестриц там поменьше заглядывайся. А то и моргнуть не успеешь — окрутят, а тогда пиши — пропало. Был матрос — и нет его.

Вскоре носилки с Нетесом были переправлены на берег. Отправили на берег и остальных раненых.

— Вот и осталось нас из всей артели только двое — ты да я, — грустно сказал Голубь, оборачиваясь к Листовскому.

— Ну, это ты брось, — возразил Листовский. — Нас тут еще гляди сколько!.. Помнишь, как Евдоким говорил: главное — найти к сердцу матроса подходящий ключик, а там оно раскроется — только успевай сей в нем правду. Вон ведь какая силища!

И широким взмахом руки он обвел палубу, на которой толпились матросы.

— А что это нынче все какие-то... странные, — удивился Голубь. — Праздник — не праздник, а на кого ни глянь, все радуются, шумят...

— Здравсте! — Листовский изумленно поглядел на Голубя. — Да ты что, Степушка, с луны свалился? Понту с берега привезти должны. Вот все и ждут.

— Почту? — обрадовался Голубь. — Нет, правда?

— Ей богу!

Почти в ту же минуту кто-то из моряков возбужденно воскликнул:

— Шлюпка идет!

К «Авроре» подходила шлюпка, в которой восседал на банке писарь Коротеев. Вид у него был такой гордый и солидный, что матросы дружно расхохотались.

— Везешь? — враз выкрикнуло несколько нетерпеливых голосов. — Есть или нет?

Писарь важно кивнул головой, и тогда в воздух полетели бескозырки, и десятки голосов слились в восторженном крике:

— Ур-ра! Почта идет!..

Усатые, пожилые люди вели себя точно дети: толпились у трапа, обнимались, выкрикивали какие-то бесвязные слова.

— Качать писаря!.. Качать!..

Коротеева действительно посылали за почтой. Прослышав о том, что в Маниле скопилось много писем для моряков русской эскадры, матросы с понятным нетерпением ожидали возвращения писаря: каждому хотелось получить хотя несколько долгожданных строчек — как там, дома, живы ли, здоровы ли?

Коротеев поднялся на палубу, волоком таща большой брезентовый мешок. На палубе он рукавом форменки вытер вспотевший лоб.

— Видите, какие страдания из-за вас принимаю.

— Ладно, будет тебе. Говори лучше, когда раздавать начнешь?

— Ишь, быстрые какие! — усмехнулся писарь. — Так уж сразу и раздавать...

— Но-но, ты не шуткуй! — возмущенно закричали матросы. — Раздавай да зубы не заговаривай!..

— Да чего вы привязались! — отмахнулся Коротеев. — Мое дело десятое, что прикажут, то и делаю, понятно? Их высокоблагородие, господин капитан второго ранга приказали всю почту доставить прямо к нему.

— «Приказали», «приказали»! — озлобленно передразнил Листовский. — А ему-то какое дело до наших писем? Пусть своими распоряжается.

— Но-но, ты потише, — предостерегающе крикнул Коротеев и поспешил в каюту Небольсина.

Капитан второго ранга и впрямь отдал такое приказание: всю почту доставить к нему. Предшествовало этому вот что.

Накануне на «Аврору» прибыл американский офицер в пробковом шлеме и коротких, до колен, брюках.

— Капитан Гарпер, — небрежно откозырнув Небольсину, представился он. Не удостоив взглядом других офицеров и матросов, он бесцеремонно взял Небольсина за локоть: — Нам нужно поговорить без свидетелей.

Небольсин понимающе кивнул и повел его к себе в каюту. Там Гарпер снял шлем, обнажив наголо выбритую голову, блестящую, как огромный бильярдный шар, и без приглашения устроившись поудобнее в кресле, сказал:

— Послушайте, кэптен, у нас имеется много писем из России, полученных в адрес вашего корабля. Как распорядиться этой почтой?

— То есть как это — распорядиться? — не понял Небольсин. — Я нынче же пошлю за нею человека.

— О, разумеется, — прервал Гарпер. — Но я не об этом. Дослушайте, будьте любезны, до конца.

Он на мгновение, всего только на мгновение замялся, будто подыскивая нужные слова.

— Не тревожат ли вас, что в этих письмах могут оказаться известия об этих... неприятных зимних событиях в вашей столице, о революционных волнениях. Может быть, вы сочтете нужным предварительно...

— Да-да, совершенно верно, — растерянно согласился Небольсин. — Мне, знаете, это и в голову не пришло. Благодарю вас за предупреждение. Я сам лично займусь этой почтой.

Капитан Гарпер одобрительно кивнул: правильное решение.

— Мы, разумеется, не вмешиваемся ни в чьи внутренние дела, — он произносит это с лукаво-почтительным видом. — Однако должен прямо сказать, всякого рода... эксцессы были бы в нашем порту чрезвычайно нежелательны.

Небольсин еще раз заверил, что примет все необходимые меры.

...И вот он третий час сидит, запершись у себя в каюте, и с каждой минутой, с каждым новым прочитан-

ным письмом ему становится все страшнее. Он чувствует, как ледяной ужас охватывает его.

«Милый Петенька, а у нас намерен были казаки, всех перепороли, искали помещичью пшеницу...» «Дядя Ваня вот уже третий месяц безработный, потому как и у них в мастерских тоже произошло сокращение...» «Андрюшенька, сыночек, помолись богу за отца: не вынес он этой страшной муки, умер в тюрьме, там его и похоронили...»

Фразы, выхваченные наметанным глазом Небольсин из разных писем, давно уже переплелись в его мозгу в какой-то кошмарный, чудовищный клубок. Небольсин то поднимется из-за стола и начнет шагать по каюте, зябко поеживаясь, то снова возвратится к этой груде страшных конвертов и, оттопырив мизинец, надрывает их один за другим. Первые прочитанные письма он рвал на мелкие кусочки, потом стал просто разрывать надвое, и бумажная гора все росла и росла в корзине под столом.

Небольсин задыхался от бешенства, удушьем подступавшего к самому горлу. Казалось, вся Россия, далекая и жуткая, двинулась на него языками пожаров, лесом острых, отточенных кос, шеренгами молчаливых рабочих из заводских решетчатых ворот...

Расстегнув ворот кителя, Небольсин крикнул хрипло: — Архипов!..

Вестовой матрос Архипов молча возник на пороге.

— Убери все это... в топку! — приказал Небольсин, пнув ногой плетеную корзинку. Он достал большой клетчатый платок и дрожащей рукой с облегчением отер лоб. Ах, ну какой же умница этот Гарпер! Ведь это подумать страшно, что было бы...

Между тем в кочегарке Архипов начал перегружать бумагу из корзины в распахнутую настесь топку, удивляясь: за сколько же это времени у их высокоблагородия накопилось столько писем, что он решил их рвать и жечь? И вдруг рука матроса, снова потянувшаяся в корзину за бумагами, остановилась. Вестовой увидел надорванный конверт, который был надписан знакомым, слишком знакомым почерком.

«Ни-ко-диму Ар-хи-пову» — с трудом, по складам прочитал матрос и вскрикнул. Он начал лихорадочно рыться в корзине.

Так, с корзиной в руках, бледный, потрясенный, он и выбежал на палубу.

— Бра-атцы! — едва переведя дыхание, закричал он. — Братцы, что же это делается! Небольсин наши письма изничтожает!..

— Как — изничтожает? — Архипова обступили недоумевающие матросы.

— А вот как!..

И Архипов вытряхнул на палубу содержимое корзины. Ошеломленные матросы стали быстро сортировать разорванные письма, подбирая одну к другой половинки конвертов.

Ропот негодования прокатился по кораблю.

— Небольсина! Старшего офицера сюда!..

— Пусть ответит за самоуправство!..

— Хватит издеваться над нами!..

Небольсин вышел из каюты не сразу. Он распахнул дверь и с порога крикнул на всю палубу:

— Мо-о-лчать! Бунт?!

Но его никто уже не слушал.

— За борт, шкуру! Напился нашей крови!.. — раздавались выкрики из напивавших задних рядов. Небольсин попятился и торопливо захлопнул за собой дверь. Трясущимися руками он достал из стола револьвер.

В каюту к нему, однако, никто не ворвался. Толпа матросов растекалась по верхней палубе, пытаясь подобрать разносимые ветром обрывки почты, которую они так ожидали...

— Степа, пора! — шепнул Елифан Листовский Голубю и взбежал на ступеньку трапа.

— Матросы! — выбросив руку вперед, зычно выкрикнул он. — Слушайте меня!.. В России революция, а от нас это держат в секрете!..

Бочком, стараясь, чтобы его не заметили, Небольсин прошмыгнул из каюты. Через несколько минут над «Авророй» взлетели сигнальные флаги: «На корабле бунт», а еще через мгновение черные жерла орудий американского броненосца, стоявшего невдалеке, описали полудугу и уставились в «Аврору».

Гарпер прибыл на крейсер минут через пятнадцать. Не глядя на матросов, он торопливо прошагал в каюту капитана второго ранга, — впрочем, матросы и не обратили на него внимания.

Как и Небольсин, Гарпер был не на шутку перепуган происшедшим.

— Вот видите, кэптен, — раздраженно проговорил он. — События опередили нас... Адмирал прислал меня уладить это досадное недоразумение.

Небольсин подавленно молчал.

— Что же делать? — прошептал он наконец. — Ведь эти... бунтовщики разнесут весь корабль!

— Положим, — жестко усмехнулся Гарпер, — до этого мы не допустим. Тут уж речь будет идти о престиже Соединенных Штатов, а в таких случаях мы пощады не знаем!..

Он выдержал паузу.

— Адмирал просил заверить вас, что во имя вашей безопасности и спокойствия мы ни перед чем не остановимся.

По правде говоря, американскому адмиралу было в высшей степени безразлично, произойдут ли какие-нибудь волнения на «Авроре». Пусть матросская орда хоть перебьет всех своих офицеров — он даже пальцем не пошевелит для их спасения. Больше того, подобный инцидент, если уж на то пошло, был бы ему даже на руку: тогда имелись бы все основания отнестись с полной строгостью к этим разбитым в бою, но по-прежнему гордым морякам. О, этих гордых русских он ненавидел давно и последовательно.

Пугало его другое: пример русских мог губительно повлиять на местное население и в особенности на гарнизон, с которым и без того в последнее время стало нелегко управляться. Нет, бунт на русском корабле ничего хорошего не сулил.

Так думал адмирал, а значит, так должен был думать и он, капитан Гарпер. Мысли адмирала — всегда и его мысли, а как же иначе?

Гарпер покусал нижнюю губу и, словно размышляя, поглядел на Небольсина.

— Видимо, все-таки придется, — сказал он бесстрастно, — раздать остатки почты. Как это у вас, русских, есть пословица: «Шило в мешок не утаишь».

— В мешке, — механически поправил Небольсин.

— Совершенно верно, благодарю вас, — любезно улыбнулся капитан. — Почту в мешке, видимо, тоже не утаишь.

И, довольный своим каламбуром, заразительно расхохотался; Небольсин принудил себя улыбнуться, хотя ему было совсем не до смеха.

— Я сейчас же, при вас отдам распоряжение о почте, — говорит он. — А господину адмиралу прошу передать мою сердечную признательность... за помощь.

— О, пустяки! — снисходительно восклицает капитан Гарпер.

...Матросы стоят молчаливо-настороженным, плотным кольцом, в середине которого — писарь Коротеев. Только прерывистое дыхание да поскрипывание подошв, когда задние приподнимаются на носки, чтобы заглянуть в середину круга, выдают волнение моряков. Коротеев неторопливо вытаскивает конверт за конвертом и выкликает:

— Павел Иванов Безбородько!..

— Убит. Ложи в сторону.

— Комендор Морозов!..

— Списан в госпиталь. Валяй дальше.

— Аким Никитин Кривоносов. Еще Аким Кривоносову... И еще!..

Коротеев пытается отбросить и эти письма в грудку почты, которая никогда уже не будет доставлена адресатам, но тут вперед из круга решительно выходит Степа Голубь.

— Давай сюда. Не для тебя писано. Сами сохраним.

И он отходит с пачкой конвертов, надписанных одинаковым мягким, почти детским, девичьим почерком.

2.

Дни тянулись однообразно, медленно, уныло.

В последних числах июня нежданно-негаданно пришла госпитальная «Кострома». Во время боя она была захвачена японцами и приведена в Сосебо, теперь же, после каких-то переговоров, должна была возвратиться в Россию.

В Россию...

Ни в дни похода, когда океаны за кормой ходили ходуном, а усталость валила с ног, ни в часы перед боем, когда воспоминания о милых сердцу далеких краях отзывались щемящей болью, — никогда еще тоска по ро-

дине не была у моряков так остра, как сейчас, здесь, под этим картинно-голубым небом, отраженным в дремوتной, прекрасной, но чужой воде.

Когда через неделю «Кострома» покидала рейд, и раненые, уходившие на ней, — кроме тех, которые вынуждены были еще остаться в госпитале, — в последний раз обошли на катерах строй крейсеров, грустно махая бескозырками, не одно матросское сердце сжалось от острой, почти непереносимой тоски.

Что там, в России? Вспоминают ли о них, верят ли в их возвращение?

Чужое теплое море шуршит у чужого берега...

Несмотря на обещание американского адмирала, ремонт русских кораблей затягивался на неопределенное время. Почти каждый день теперь на «Аврору» приезжали американские офицеры в сопровождении каких-то штатских, они бесцеремонно лазали по крейсеру, что-то вымеряли, выстукивали, выщупывали, обмениваясь малопонятными фразами и делая какие-то записи в своих блокнотах.

Адмирал Энkvист большую часть времени проводил теперь на берегу, и обязанности гостеприимного хозяина ложились, таким образом, на Небольсина. Аркадий Константинович не уставал угощать американцев обедами с обильной выпивкой; гости, разумеется, не отказывались. Они пили, ели, рассказывали за столом довольно скабрзные анекдоты и сами хохотали над ними, потом выпрашивали у офицеров «Авроры» сувениры на память — пристрастие к сувенирам было у них редкостное, — заверяли на прощание, что теперь уже скоро начнутся ремонтные работы, и с тем отбывали.

Они именовались техническими экспертами, но можно было поклясться, что разведчиков среди них было куда больше, чем специалистов по ремонту.

Частенько — теперь уже не по какому-нибудь случаю, а так, запросто, «по-свойски» — наведывался на «Аврору» капитан Гарпер. Он быстро сдружился с Небольсиным, привозил ему последние политические новости и все уговаривал:

— Зачем вам возвращаться в Россию? Что вас там ждет? Крестьяне бунтуют, рабочие бастуют. Русский флот возродится теперь разве что лет через семьдесят —

восемьдесят. Никак не раньше! Переходите к нам, Америке нужны знающие, опытные офицеры.

И Небольсин уже начал не на шутку колебаться: а не принять ли ему и в самом деле американское подданство? Возвращаться в Россию, как ни тянуло его туда, он боялся.

С матросами «Авроры» капитан Гарпер был подчеркнуто внимателен и даже ласков, так что кое-кто из матросов начинал недоумевать:

— И отчего бы это американцы так нас охаживали?

Листовский, если ему случалось слышать это, насмешливо говорил:

— Лиса курчонка тоже охаживает перед тем, как слопать. Вы что ж думаете: и впрямь нужен им русский матрос с его горестями-печалями? Черта лысого! У них — одно, свое на уме: поди рассчитывают сорвать крупный куш с России за... помощь, которую нам оказывают. Вот и ластятся. А на матросика со всей его тоской по родине им наплевать с высокого дерева, ясно?

Затянувшаяся подготовка к ремонту начинала злить матросов:

— Пусть разрешат нам только поставить «Аврору» в док. Мы и сами управимся! Ну их к дьяволу с их помощью.

А когда наконец-то на крейсер прибыла первая партия рабочих, которым предстояло ремонтировать корабль, матросы бросились помогать им с таким рвением, что капитан Гарпер только головой покачивал в неподдельном изумлении.

После «почтового бунта» матросы со смутной тревогой ожидали, чем обернется это происшествие, но все обошлось, к общему удивлению, благополучно. Небольсин даже не наказал никого: видно, понимал, что тут он сам с головы до ног виноват.

— Знает кошка, чье сало съела! — усмехались матросы.

Длительная стоянка в Маниле и вынужденное бездельничанье начали быть тягостными и для офицеров корабля.

Небольсин, и прежде не отличавшийся общительным характером, теперь уединялся по целым дням — достучаться к нему в каюту было в такое время невозможно. Исключение он делал только для Гарпера. Лейтенант

Старк сделался каким-то придирчивым и раздражительным, беспричинно кричал на матросов и унтеров, стаканами глушил тепловатый французский коньяк, пахнувший клопами. Лейтенант Лосев решил не терять времени даром и, обложившись учебниками, просиживал у себя в каюте с утра до вечера: он рассчитывал по возвращении в Россию «пробиваться» в академию.

Но тяжелее всех, пожалуй, переживал задержку в Маниле Дорош. В нем еще теплилась скрытая надежда, что Элен, может быть, не успела выйти замуж что, вот он вернется в Петербург и сумеет, черт возьми, убедить ее в безрассудности ее решения: ведь он любит ее, любит, и она это знает!

На берег Дорош почти не сходил, разве только с каким-нибудь поручением Небольсина к портовым властям, и как ни уговаривал его Терентин, восторженно повествовавший о веселых вечерах в манильских кабачках, где, право же, экзотика-натурель, Дорош в ответ усмехался:

— Кесарю — кесарево...

И только мичман жил, не замечая, быстро или медленно идет время. На берегу он познакомился с хорошенькой черноглазой француженкой, женой местного почтового чиновника.

— *Quelle délicieuse personne que cette petite* * Жаннет! — непременно по-французски, как всегда, когда речь шла о женщинах, говорил он Дорошу, сияя восторженными глазами.

Чиновница сначала делала вид, что настойчивые ухаживания молодого русского офицера оскорбляют ее достоинства верной жены и любящей нежной матери. Но когда мичман принял это всерьез, махнул рукой и перестал появляться на берегу, она сама прислала ему на «Аврору» записку, умоляя о свидании. Теперь Терентина беспокоило одно: слишком уж темпераментной оказалась черноглазая почтмейстерша.

— И смех и грех! — бездумно посмеиваясь, рассказывал он Дорошу. — Представляешь: сидим за обеденным столом. Супруга бросает в мою сторону такие томные взгляды, что одному дураку их не понять, ножкой под столом сапог жмет, а супруг тем временем все пе-

* — Что за прелестная особа эта маленькая (франц.).

речисляет, какие издания пришли к нему с последней оказией.

У этого-то чиновника Терентин и добывал свежие иностранные газеты.

— Смотри, — не на шутку тревожился Дорош, — не кончилось бы это скандалом, а то еще, чего доброго, и дуэлью. В здешних местах она, говорят, в моде.

— А ты что ж думаешь, — хохотал Терентин, — стану я, русский дворянин, драться с каким-то чиновником? Ну, нет, этого он от меня не дождетя!.. Да и Жаннет, — Терентин лукаво подмигивал, — бедная Жаннет этого не перенесла бы: от одной мысли, что я могу быть раненым, она своему Менелаю горло перегрызет!

— Мало же, гляжу я, нужно тебе в жизни! — покачивал головой Дорош.

Однажды Терентин возвратился на корабль особенно возбужденным.

— Ты взгляни, Алексей, — закричал он, врываясь в каюту Дороша. — Послушай, что говорит о нашей матушке-России просвещенная Европа!

Он развернул последний номер французской газеты «Le Siecle» *.

— Статейка называется «Конец одной эпопеи», автор некто Корнели — умный, бестия, видать!..

И он прочел несколько торжественно, тут же бегло переводя с французского на русский:

«Теперь, когда русские разбиты на море после ряда поражений на суше, на их правительство ложится обязанность заключить мир и преобразовать свои военные силы...»

Терентин пробежал строчки глазами:

— Ну, дальше не очень интересно: он проводит исторические параллели насчет того, в какое трудное положение попадали правительства, ввязывавшиеся в авантюристические войны. Ага, вот самое главное. Слушай...

«Наоборот, — продолжал он читать, — положение русского правительства именно не таково, оно держится за самые недра русского народа, и общие несчастья не разъединяют правительство и народ... Несчастный царь может остаться священным и популярным царем».

* «Век» (франц.).

— Видишь, — торжествующе заключил Терентин, сворачивая газету. — Стоило пожертвовать многим при Цусиме, чтобы вызвать к себе такие симпатии в Европе!

Он взглянул на Дороша и удивленно спросил:

— Что с тобой, Алеша? Ты так побледнел...

— Послушай, Андрей, — Дорош говорил очень медленно, тихо, но отчеканивая каждое слово. — Как же тебе не совестно было нести на корабль, столько выстрадавший, израненный в бою... на корабль, который ты любишь и который тебе дорог... эту гадость?

Терентин вскочил.

— Ну, знаешь!.. Недаром я всегда говорил, что ты законченный социалист. Оно так и есть. Впервые о нас говорят с таким состраданием, впервые нам — побежденным! — сочувствуют, и кто — Европа, а ты еще и недоволен?

Но Дорош уже взял себя в руки.

— Дурень ты божий, — только и сказал он. — Это счастье, что наши матросы не знают французского и не читают твоей дрянной газетенки. Они показали бы, как «спаяла» их с домом Романовых эта самая Цусимская битва!..

Дорош оказался не прав, когда высказывал уверенность, что статья господина Корнели останется неизвестной матросам.

Месяца через полтора после разговора Терентина с Дорошем Листовский был послан с каким-то поручением на берег, в портовую мастерскую. Под вечер, возвратившись на «Аврору», он отозвал в сторону Степу Голубя и тихо сказал:

— Новость-то какая, Степушка! В мастерской, оказывается, есть наши, русские. Ты только погляди, что они мне дали!..

Осмотревшись по сторонам, он извлек из-под фланелевки тщательно свернутый номер какой-то газеты.

— «Пролетарий». Большевистская, из Петербурга привезена, — еще тише объяснил Степе Листовский. — На вот, прочти тут одну статью, она карандашом отчеркнута...

Голубь спрятал газету под робу и долго разыскивал

укромное местечко на корабле, прежде чем снова извлек ее.

— «Разгром» *, — медленно, по складам прочитал он название статьи, на которую указывал ему Листовский. Через минуту он забыл о всем окружающем: статья поразила его смелостью и силой. Вот она, страшная и беспощадная правда о том, зачем посланы были они в далекий Тихий океан, правда о том, почему погибли Аким Кривоносов, веселый Копотей, тысячи таких же, как они, молодых, полных сил, умных...

В этой статье, между прочим, приводились выдержки из рассуждений господина Корнели, восхитивших Терентина, и дальше насмешливо говорилось: хвастовство французского лавочника, его уверения, будто война не разъединила русское правительство и народ, — это сказка, в которую не верит сам господин Корнели...

«Война оказалась грозным судом, — читал Голубь, и каждое слово будто обжигало ему самое сердце. — Народ уже произнес свой приговор над этим правительством разбойников. Революция приведет этот приговор в исполнение».

«Какие слова! — восторженно думал Голубь. — Какой силищи слова!.. Непременно надо, чтоб и другие матросы прочитали...»

Он снова запрятал газету на груди, под холщовой матросской рубахой, и вышел на ют.

Да, теперь он многое начинал понимать, и Степа снова и снова вспоминался Копотей, который первый помог ему по-новому, смелым и пытливым взглядом поглядеть на всю жизнь.

Морская неприветливая волна шумит сейчас над Копотеем...

Степа Голубь стоит задумчиво у леера, к нему подходит Листовский.

— Ну как, — спрашивает он шепотом, — прочитал?

Степа молча кивает: слишком велики чувства, переполняющие его в эту минуту, чтобы можно было передать их словами.

«Революция приведет этот приговор в исполнение... — мысленно повторяет он. — Приведет!»

* Статья В. И. Ленина, посвященная поражению русского флота при Цусиме. Опубликовано в газете «Пролетарий» № 3, 9 июня (27 мая) 1905 года.

— Завтра пустим газету по рукам, — все так же шепотом продолжает Листовский. — Пусть все матросы правду знают...

Они стоят у борта, и на фоне вечеряющего южного неба четко вырисовываются их фигуры: стоя плечом к плечу, матросы молчаливо и сурово вглядываются вдаль.

ЭПИЛОГ

Из «Исторического журнала крейсера 1 ранга «Аврора»:

«19 февраля (4 марта) 1906 г., воскресенье.

...Борнгольм не был виден: маяки были видны только на траверзе, хотя проходили от них в 4-х милях.

В 12.30 ночи взяли курс на Либаву.

В 5 часов дня открылся берег. В 7 часов вошли в аванпорт и стали на якорь. Крейсер никем не был встречен, сообщение с берегом не разрешено...

Как только стали на якорь, нашел густой туман».

Неприветлива и сурова была столица в эту пору года.

По всем календарям полагалось бы начаться весне, но почти каждый день кружила поземка вдоль прямых и широких петербургских проспектов; холодный ветер забирался под пальто и шубы прохожих, густой иней серебрился на мраморных строгих дворцовых колоннах, лежал на оголенных ветвях деревьев Летнего сада, на плечах Петра, вздыбившего своего коня над скованной льдами Невой.

Степа Голубь, после долгих хлопот получивший краткосрочный отпуск домой, на Херсонщину, отвез на вокзал свой дощатый сундучок, получил в железнодорожной кассе проездные документы и, выйдя на площадь, остановился в нерешительности. До отхода поезда оставалось не так уж много времени, а ему хотелось побывать еще в одном месте...

Бросив взгляд в сторону часов, что виднелись на башне напротив вокзала, он махнул рукой — была не была! — и решительно зашагал вдоль Невского проспекта.

Он окликнул какого-то однорукого рабочего:

— Скажите, господин хороший, пройду ли я здесь к Гавани?

Рабочий с любопытством оглядел его:

— В первый раз в Питере?

— Впервой, — вздохнул Степа.

— А с какого, ежели не секрет, корабля? Летом у вашего брата проще — на лбу название, а сейчас и захочешь, да не узнаешь.

— С «Авроры» я, — охотно отозвался Голубь. — Она в Либаве, а меня, вишь, в отпуск домой пустили...

— С «Авроры»? — почему-то изумленно переспросил рабочий и даже замедлил шаг. — Нет, слушай, ты правду говоришь?

— Да, а что? — в свою очередь удивился Степа Голубь. — Врать-то мне какой резон?

Помолчав, рабочий неожиданно спросил:

— А скажи, ты не знаешь там такого — Акима Кривоногова, комендора?

Теперь пришел черед Степе остановиться в изумлении.

— А вы его... знали? — тихо спросил он.

— Почему — знал? — насторожился рабочий.

— Погиб Аким... Геройской смертью погиб при Цусиме.. — так же тихо отозвался Степа. — Дружок он мой был... Первейший дружок!

И Степе вдруг захотелось рассказать этому чужому человеку, как до сих пор не может позабыть ни Акима, ни Копотея, ни Ефима Нетеса, и как хранит письма, которые пришли Акиму, когда его в живых уже не было, и как дал он, Степа, слово отыскать ту самую девушку, что, должно быть, пишет эти нераспечатанные письма, — отыскать, чтобы рассказать ей всю горькую правду...

— Около Гавани где-то, говорил Аким, живет она. Рабочий вдруг испытующе поглядел на матроса.

— Вот оно что, браток! — задумчиво, протяжно сказал он. — Никогда прежде в чудеса не верил, а теперь хочешь не хочешь, а поверишь...

И решительно добавил:

— Видать, сама судьба тебя со мной столкнула... Вот что: ты к этой девушке не ходи, не ищи ее. Все одно не найдешь. Далеко она теперь отсюда, девушка...

Расширенными от удивления глазами Степа смотрел на странного незнакомца: откуда знать ему это? А тот подумал и сказал:

— На улице — что за разговор? Пойдем ко мне — все узнаешь. Верю тебе!

...Так они и познакомились — матрос Степа Голубь и большевик Илья Коростелев. И всего только три часа просидели они вдвоем в тесной, прокуренной комнате Ильи, а показалось Степе, словно обновленным вышел он из этой комнаты и словно весь мир внезапно распахнулся перед ним.

— Значит, решено, — сказал Илья на прощанье. — Вернешься, будем держать связь. С Листовским меня познакомишь. И с другими. Правильно Копотей говорил: нет у нас в жизни другой дороги, кроме дороги борьбы!

От Ильи узнал Степа Голубь и о Кате.

Пролегла нелегкая Катина дорога через Урал, через Сибирь, в тихое таежное селение на берегу широкой и могучей реки.

Только два-три раза в год, да и то лишь тогда, когда от долгого ледяного покрова освобождает свои воды могучая река, прибывает в селение свежая почта. Собственно, какая она свежая? Газеты — трехмесячной давности, письма — по десятку сразу.

Катя с жадностью перечитывает эти письма; не прямо, намеком, иносказаниями, а все-таки ухитряется Илья сообщить ей о больших и желанных событиях, зреющих в России.

Ничего не говорит Илья в своих письмах о чувствах к ней, но знает девушка: хоть и далеко он сейчас, хоть и нелегко ему в стремительном круговороте подпольной революционной работы, а помнит он ее по-прежнему, помнит, верит и ждет.

...Этот день сулил Степе много неожиданностей.

На перроне, почти перед отходом поезда, Голубь столкнулся с лейтенантом Дорошем.

— А-а, Голубь! — обрадовался тот. — И ты едешь?

— Так точно, ваше благородие. Домой, на побывку.

— Ну вот, и я тоже... на побывку, — как-то странно, с грустной задумчивостью произнес Дорош. — И в Петербург, вероятно, больше не вернусь.

— Что так? — встревожился Голубь.

— Так, братец, судьба сложилась.. Двоим в одном городе нам тесно...

Голубь не понял, о ком это втором говорит лейтенант, но почувствовал, что на сердце у Дороша какая-то большая, неизбывная печаль.

Ударил станционный колокол, и Дорош сказал:

— Что ж, Голубь, иди...

* * *

В Ленинграде, на реке Большая Невка, как раз напротив входа в Нахимовское училище, поставленный на вечный якорь возвышается Краснознаменный крейсер «Аврора» — ныне учебная база нахимовцев.

Редкий человек, впервые приезжающий в город Ленина, не мечтает побывать на этом корабле, имя которого близко и дорого всем честным людям во всех странах мира.

У трапа гостей встречает старый авроровец, сейчас офицер этого корабля, Тимофей Иванович Липатов. Он ведет их по кораблю, где, зачехленные, мирно дремлют оружейные стволы.

В одной из кают, где теперь устроен музей, люди подолгу стоят у снимков, запечатлевших корабль на Манильском рейде после боя 14—15 мая 1905 года. Рядом с этим снимком под стеклом лежит обращение одного из матросов «Авроры» — участника Цусимского боя — к юным нахимовцам. Хорошие, сердечные слова есть в этом обращении — слова, сказанные и от имени тех, кто геройски погиб, и от имени живущих:

«...Хочу подчеркнуть, что мы, русские люди, даже в тяжелое старое время и в безнадежном Цусимском бою честно служили своей Родине и народу!»

Ленинград — Владивосток. 1954 г.

О Г Л А В Л Е Н И Е

[illegible]

Георгий Георгиевич Халилецкий

«АВРОРА» УХОДИТ В БОИ

Редактор О. Черепанов

Художественный редактор Н. Горбунов

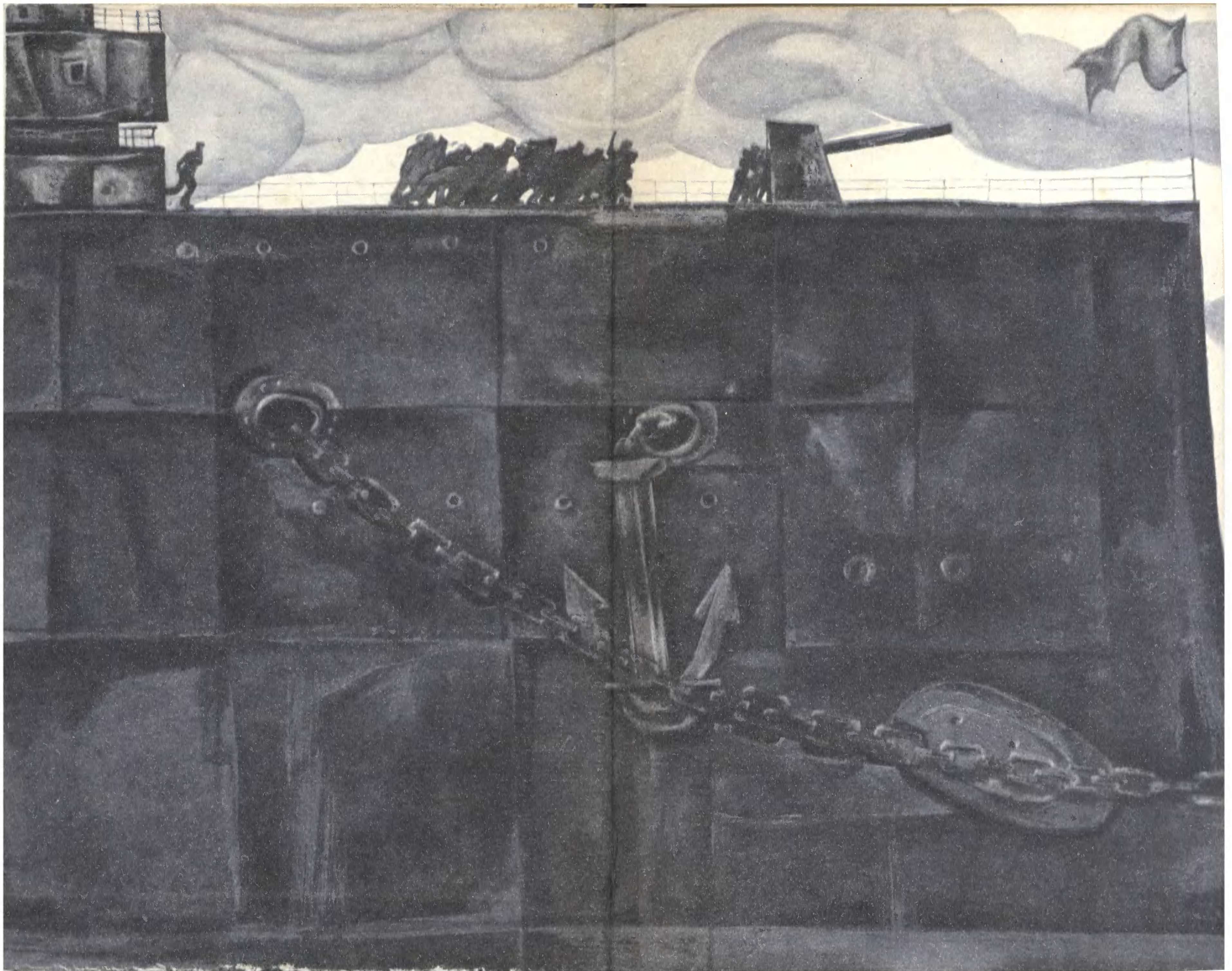
Технический редактор Р. Збродько

Корректоры В. Краснова и Н. Крайтер

Сдано в набор 20/VI-71 г. Подписано к печати 30.IX-71 г. Формат $84 \times 108/32 = 19,32$ усл. п. л. 20,45 уч.-изд. л. Тираж 30 000 Бум. тип. № 3
Цена 76 коп. Заказ 115

Дальневосточное книжное издательство управления по печати при Совете Министров РСФСР.
Владивосток, Ленинская, 43.

Полиграфический комбинат Приморского краевого управления по печати. Владивосток, Океанский проспект, 69.



76 коп.